

# АВРОРА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 1 2014

Основан в 1969 году

## СОДЕРЖАНИЕ

### СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

**Валерий НОВИЧКОВ.** “Авроре” исполняется 45 лет! .....3

### БЫЛОЕ И ДУМЫ

**Геннадий СТАНКЕВИЧ.** Некоторым образом размышление...  
о Кутузове Евгении Васильевиче. *Эссе* .....6  
Полуденная шутка. *Рассказ* .....10  
Ужин в корчме “Веселый пилигрим”. *Рассказ* .....15

### ПАМЯТЬ

**Геннадий КАПЫШЕВ.** Валя-Валюша-Валентина .....32

### НАСЛЕДИЕ

**Николай КАРАМЗИН.** Мы... любим отечество; желаем ему  
благоденствия еще более, нежели славы... .....42  
**Илья БОЯШОВ.** Почему нужно читать Карамзина .....45  
**Петр ЧААДАЕВ.** Размышления о русском народе (*отрывок*  
из “Философических писем”) .....51

### ПРОЗА

**Михаил ЗАРУБИН.** Бабочка. Птица вольная. *Рассказы* .....62  
**Тарас ДРОЗД.** Кровельщик. *Рассказ* .....86  
**Игорь ШНУРЕНКО.** Великолукский блюз. *Рассказ* .....104  
**Александр БАБУШКИН.** Значит, зачем-то нужен. Гвоздь.  
Последняя любовь. Богомол. Ехало-болело. *Рассказы* .....109

### ПОЭЗИЯ

**Виктор ФЕДОРОВ-ВИШНЯКОВ.** Мы уезжаем на немножко... .126  
**Алексей ПОРВИН.** Посвящение .....129  
**Владимир БЕЛЯЕВ.** Собирается облако говорить... .....131

<b>Дмитрий ТРУНЧЕНКОВ.</b> Все мое — сказало золото .....	133
<b>Владимир ШЕМШУЧЕНКО.</b> Событий у нас маловато... ..	136
<b>ВЕРНИСАЖ</b>	
<b>Е. ГРИГОРЬЯНЦ, А. РАСКИН.</b> И мир как храм... ..	142
<b>ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ</b>	
<b>МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА ПИСАТЕЛЬСКИХ СОЮЗОВ</b>	
<b>Елена ЯБЛОНСКАЯ.</b> Детство, которого не было. <i>Рассказ</i> .....	152
<b>Михаил ДАДАШЕВ.</b> Тайна. Болезнь. Мешок. Лекарь. Чума. <i>Рассказы</i> .....	162
<b>Виктор КИРЮШИН.</b> Истина. <i>Стихи</i> .....	178
<b>Марина ПЕРЕЯСЛОВА.</b> Поэзия как зеркало души. <i>Критика</i> ....	182
<b>ПОДОРОЖНИК</b>	
<b>Валентин КУРБАТОВ.</b> Наша сборная. <i>Страницы</i> <i>из записной книжки</i> .....	188
<b>ХРОНОГРАФ</b>	
<b>Валентин РАСПУТИН.</b> И снова вниз по течению... <i>Очерк</i> .....	194
<b>Анатолий ПАНТЕЛЕЕВ.</b> На родине Валентина Распутина. <i>Очерк</i> .....	202
<b>Адмирал Колчак.</b> <i>Рассказ</i> .....	215
<b>100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ</b>	
Российское военно-историческое общество .....	226
<b>Игорь ПОЛЯКОВ.</b> 100-летний юбилей Великой войны .....	227
<b>Юрий МУДРОВ.</b> Лицеист. Поэт. Воин .....	230
<b>Евгений АНТАШКЕВИЧ.</b> Драгуны. 1915 год. <i>Роман</i> .....	242
<b>ДЕБЮТ</b>	
<b>Юлия БОДНАРЮК.</b> Квартирник. <i>Рассказ</i> .....	308
<b>НАШИ АВТОРЫ</b> .....	318

---

**ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ** на Альманах «Журнал „Аврора“» Вы можете **в любом отделе** связи.

Подписной индекс в каталоге «Пресса России» — 42468

В каталоге «Прессинформ» — 70033

Через редакцию Вы можете подписаться на любое количество экземпляров журнала, начиная с любого номера.

По вопросам приобретения номеров за предыдущий период обращаться в редакцию.

---



## «АВРОРЕ» ИСПОЛНЯЕТСЯ 45 ЛЕТ!



В этом году мы отмечаем сорок пять лет со дня основания нашей дорогой «Авроры»!

Созданный в 1969 году журнал быстро обрел популярность: с ним сотрудничали и начинающие писатели, поэты, журналисты, и маститые классики. В первом же номере были опубликованы рассказ Д. Гранина, повесть А. Володина (кстати, единственная у автора: впоследствии он писал только сценарии), и очерк С. Довлатова. В 70–80-е годы в журнале активно печатались Ф. Абрамов, В. Конецкий, В. Кунин, В. Голявкин. В. Попов, В. Высоцкий,

В. Белов, С. Михалков, О. Берггольц, Г. Горбовский, А. Кушнер. Список знаменитых авторов можно продолжать почти до бесконечности.

В конце 80-х, начале 90-х годов, благодаря острым злободневным публикациям, ярко выраженной гражданской позиции «Аврора» становится одним из самых читаемых журналов в стране. Тиражи издания переваливают за миллион экземпляров, авроровские журналисты присутствуют во многих «горячих точках», каждый новый номер вызывает неподдельный интерес читателей. Казалось, эра популярности никогда не закончится.

Увы, в начале 2000-х наступили тяжелые времена. Долгое время журнал находился на грани закрытия, полностью прекратилось его финансирование, один за другим уходили из жизни старые сотрудники. Некоторое время он существовал только благодаря узкому кругу энтузиастов, людей совершенно бескорыстных, искренне любящих литературу, которые не давали ему пропасть...

И все-таки журнал выстоял! В настоящее время вновь сложился круг авторов, среди которых немало молодых литераторов. Выпуск «Авроры» не прекращается, печатаются злободневные, вызывающие отклики, статьи. Журнал, как и в прежние времена, превратился в «творческую площадку» не только для известных ныне мэтров — поэтов, писателей, философов — но для тех, кто впервые пробует свое перо в «большой литературе».

Конечно же, редакция «Авроры» не может не откликнуться на дату сорокалетия своего детища! Начиная с этого номера, мы будем печатать мемуары, очерки о людях, которые создавали журнал и жизнь которых нераздельно с ним связана. Так, одним из авторов «Авроры» был писатель и журналист Евгений Васильевич Кутузов. Петербургский литератор Геннадий Станкевич, сын писателя, любезно согласился поделиться с нами своими воспоминаниями об отце. С эссе Станкевича «Некоторым образом размышление...» и его рассказов мы начинаем новую рубрику «Былое и думы», посвященную прошлому журнала.

В 2014 году наш город вместе со всей страной празднует 70-летие освобождения его от блокады советскими войсками. В журнале появятся материалы, посвященные и этому историческому событию (рубрика «Память»).

Мы не оставляем без внимания и историю Отечества! Статья о выдающемся русском историке Н. Карамзине, его собственные размышления и отрывок из «Философических писем» П. Чаадаева откроют рубрику «Наследие»: в ней пойдет речь о философском, культурном, религиозном прошлом России, без которого не может быть и будущего.

С начала своего существования журнал приглашал к сотрудничеству авторов всех республик бывшего Союза. Продолжая эту славную традицию, мы активно сотрудничаем с *Международным сообществом писательских союзов* (рубрика «Литературные страницы МСПС»).

Кроме того, по договоренности с *Российским военно-историческим обществом* «Аврора» готовится печатать материалы, посвященные столетию Первой мировой войны, к сожалению, долгое время остававшейся «забытой» в нашей стране. Вместе с *Обществом* мы стараемся восстановить историческую справедливость (рубрика «Сто лет Великой войне»).

Надеемся, что, открыв журнал, наш читатель, как и прежде, скучать не будет.

**Валерий НОВИЧКОВ**

# БЫЛОЕ И ДУМЫ

---



**Геннадий СТАНКЕВИЧ**

## Некоторым образом размышление... о Кутузове Евгении Васильевиче (07.09.1932–10.11.2005)

...Был ли он, этот летний полдень, или привиделось? Город обезлюдел на время: пустые троллейбусы, трамваи, такси. Прохладно и необычно тихо в магазинах. Дачный сезон...

В воздухе, пронизанном солнцем и тонкой летучей пылью, — аромат не-вской воды и бензина. И еще почему-то пахнет лентой для пишущих машинок. Впрочем, совсем рядом Союз писателей. А чуть дальше, левее по набережной, «Детгиз».

Именно оттуда, через крошечный переулок вдоль зданий офицерских казарм лейб-гвардии 1-й Артиллерийской бригады бодрым шагом выходит на улицу Воинова молодой бледно-смуглый брюнет с ранней проседью в густой шевелюре. В одной руке у него связка книг, в другой доверчиво покоится ладошка белобрысого мальчугана в шортах и летней панамке, украшенной пестрым ястребиным пером — что тебе Чингачгук!

Остановившись у светофора, мужчина, склонясь, что-то говорит мальчугану. Тот согласно кивает, отчего ястребиное перо сбивается набок. Мужчина бережно поправляет перо — между прочим, подарок одной доброй миловидной редакторши, но налетевший порыв легкого летнего ветерка...

Стоп!.. Пристыженный, я откладываю ручку... Ну что за притча! Собирался же сухо и деловито, в формате двух-трех страниц поговорить о своем отце, питерском литераторе Евгении Васильевиче Кутузове. И вот — нате вам! — сходу попадаю в тенета собственных детских воспоминаний, где немного города и добрый мой папа, ну и сам я любимый, конечно... Почему так? Ответ прост. Во-первых, потому, что это мой отец. Во-вторых, потому, что трудно, ох как трудно говорить о Кутузове-литераторе. Да ведь и не был отец литератором в общепринятом смысле этого слова, то бишь, по-старинному, — сочинителем, а значит, фантазером. Писателем — был. Сочинителем — нет. В отличие от таких собратьев по «несчастью», как грустный скоморох питерских мостовых Радий Погодин или Юрий Томин. Они-то смело входили в прохладное царство зазеркалья, имея там прочную пожизненную прописку. Отец же только раз осмелился приблизиться к заветной двери (рассказ «Пишите письма»), может, даже чуть приоткрыл ее — но и только.

«...Мне сказали: Женя, это не твое. Перечитал и вижу — действительно не мое...» — заметил он однажды в одной из бесед...

Errare humanum est — человеку свойственно ошибаться... Мне кажется, дело тут, скорее, в другом: в какой-то — врожденной ли? — осторожности,

чтобы не сказать страхе перед стеклянными коридорами чистого вымысла. Вот и лукавил отец — мол, «не мое», предпочитая наблюдать, оценивать и, прочувствовав (а последнее-то как раз и есть главная «болевая точка» его творчества), записывать.

Писал он, кстати говоря, почти всегда от руки, и только в особых случаях, когда был абсолютно уверен в себе и хотел поскорее увидеть результат, сразу же начинал печатать.

...Вообще, если говорить начистоту, странный он был человек в сообществе своем, этот Евгений Васильевич Кутузов. Вроде бы всегда на виду (кто из ленинградских писателей старшего поколения не помнит раскатистого кутузовского хохота!) и вместе с тем где-то в тени, где-то на самой периферии жанра... Многим, очень многим был он нужен, и многим, очень многим бывал в доуку, подчас обижая рискованными шутками, в которых — что греха таить — было слишком много от военного детства, от рабочих курилок. Утомляя шумливым, избыточным дружелюбием, не понимал, не хотел понимать, как можно не любить хорошего, — а что может быть лучше дружбы и веселой, непринужденной болтовни от полудня до вечера и с вечера до полудня... Не понимал, не хотел понимать, что людям свойственно желание порой побыть в одиночестве или же в узком кругу единомышленников.

Дичком пришел отец в мир литературы, как, впрочем, и большинство его ровесников. Дичком и остался. Чужаком, человеком из другого мира. Уж слишком не походил он на хрестоматийный портрет интеллигента: спокойного, уверенного в себе, мягко-ироничного. Даже борода, когда он отрастил ее, росла у него как-то удручающе неинтеллигентно. Вот и прослыл он среди собратьев рабочим парнем и писателем о рабочем классе. Кстати сказать, это почти признание... Но так ли это?

Рискну дать краткую справку.

Мать отца, моя бабушка, Евгения Самсоновна, действительно родилась в старинной состоятельной семье потомственных рабочих-домовладельцев. Слыла красавицей, прекрасно пела, весьма прилично играла на гитаре. Отец, мой дед, Василий Иванович Кутузов, принадлежал к совсем иному, дворянскому сословию... До сих пор в архиве города Смоленска хранится невестребованная потомками дворянская грамота. В шестнадцатом еще веке, когда в Казанском царстве бушевала с легкой руки Ивана Васильевича Грозного перестройка, появляется на Руси первый Кутуз — в переводе с тюркского «бешеный»... Впрочем, после Октябрьской революции 1917 года отрекается Василий Иванович от дворянского звания, отправляется в столицу искать счастья в ином, коммунистическом, мире. И находит, становясь вначале офицером авиации, затем уполномоченным НКВД по Северо-Западу.

...Ну, хватит, пожалуй, тем более что для желающих знать чуть больше — «Дом на Карповке» и последний роман Евгения Васильевича «Игра в бильяры» — автобиографические.

...О рабочем классе как о таковом отец никогда не писал и не слишком-то уважал это сословие. К дворянскому же своему происхождению относил-

ся более чем равнодушно, разве что с легкой иронией. Сам он считал себя люмпеном, перекасти-поле, день-ночь — сутки прочь... Жила в нем эта неутоленная страсть к бродяжничеству. Где только ни пришлось ему побывать по самым разным причинам. Здесь и дороги войны, Колпино, Питер, Тауда — причем без документов, то пешком, то в теплушках. Тут и работа журналистом: маленькие города России, Северный полюс, Тянь-Шань, откуда, путешествуя в составе археологической экспедиции, привез он руку древней мумии. Оймякон — полюс холода, где «только плюнешь — и сразу льдинка»... Словом, напутешествовался, казалось бы, всласть — садись и пиши воспоминания, о чем я, кстати говоря, неоднократно его просил. Увы, безрезультатно. Почему — до сих пор остается для меня загадкой. Жаль, конечно, но ничего не попишешь — уж таким он бывал порой, не по делу, прямо скажем, упрямым. Может, не хотел пускать воспоминания по ветру, приберегал для личного, так сказать, пользования? Что ж, имея в виду возраст — а было ему тогда сильно под семьдесят, — это и понятно и, уж конечно, простительно...

Как-то раз, когда мы сидели и курили, каждый занятый своими мыслями, отец, пуская синеватый дымок дешевой сигареты (а курил он только очень дешевые сигареты), эдак задумчиво произнес:

— Красивая в этом году осень... Если бы не ты и не мама — ушел бы куда глаза глядят..

— Муха умеет летать, я не умею летать... — процитировал я в ответ стихок, написанный им в молодые годы.

— Да, — каким-то трагическим шепотом отозвался отец, с тоской глядя в окно на синий скол неба в изломах крыш. Вдруг встрепенувшись, словно бы отгоняя некие видения, уже совсем по-будничному спросил. — Может, по рюмашке пока мамы нет?..

В сущности, он был очень похож на излюбленных персонажей своих рассказов, которые, даже находясь в гуще, казалось бы, событий, остаются одинокими мечтателями (рассказ «Аэропорт Тальянка»). Люди, которые лишь «под занавес» с ужасом осознают, что прожили жизнь не так, как хотелось бы. Но самый-то страх не только и не столько в этом, а в том, что не знают они, как именно хотелось бы... И не то чтобы жизнь мимо проходит: есть и счастье — свое, домашнее, родное и даже выстраданное. Но на поверку-то оказывается оно несправедным, это счастье, ложью оборачивается оно (рассказ «На родину жены»). И даже если совершает герой «по поступок» (одно из любимых словечек Евгения Кутузова), способный вырвать его из паутины опостылевшей повседневности (рассказ «Сапожник»), даже тогда чувства освобождения отчего-то не возникает. Напротив, какая-то осенняя тоска, почти безысходность. Потому что жизнь, «по Кутузову», хоть и прекрасна сама по себе, но — увы! — бессюжетна. И то ли стоя простоять, то ли сидя просидеть — не все ли едино...

Вот снег сошел, листва зазеленела, щи на столе дымятся — это радость. Остальное же так, суета сует... И при такой-то философии хранить мечту о горьком хлебе странствий!.. А почему бы и нет? На мой взгляд, все как раз



очевидно и объяснимо: здесь имеет место всем известная двойственность человеческой натуры — ни больше, ни меньше.

...Вот так он и жил, точнее говоря, метался от одного берега к другому, то почитая себя как домоседа, то вдруг исчезая, не сказав ни слова, иногда надолго, иногда на какие-нибудь сутки. Вот взял и улетел однажды с Виктором Голявкиным в Коктебель. Улетел с утра, а к вечеру уже сидел на крылечке дачи в Комарово, сидел, опустив уже изрядно поседевшую голову, и тихо напевал себе под нос:

Бродяга, скажи мне, бродяга,  
Чей ты родом, откуда ты...

Вот и снова бродяга... Если верить заключению питерского прозаика Владимира Алексеева, то это болезнь души. Мне же нравится думать о некоем, слава богу, неизжитом атавизме, общем для всех рас и народов: тоске по изначальному — ведь все мы, в сущности, кочевники. И до сих пор кочуем, только кочуем все по-разному. Но у каждого из нас на пути кочевий есть свои жертвенные рощи и темные источники.

В случае с Кутузовым — скорее, последнее. Ибо название им — привокзальные рюмочные, грязные и теплые, как дедовский тулуп... Запах опилок и «сивухи», угля и потной одежды, сизо-бурый табачный дым и приглушенные, хрипловатые голоса посетителей... А там, за окном (как сладко щемит сердце!), мелкий дождь и одинокий фонарь на полустанке, и проносятся куда-то, стуча колесами, поезда... Куда несутся они, где остановят свой бег? В какой-нибудь Вологде, может быть? Или Череповце? А то, так у самого Тихого океана... Путешествие, не отходя от замусоренной, залитой сивухой стойки, этакий «дао» по-русски — вот о чем бы писать Кутузову, как подумаешь... Но нет, не стал он писать об этом. Может, боялся, что не сумеет нашептать бумаге те единственно верные слова, которые бы открыли бы любопытному читателю тайные тропинки в мире его мечты, его глубинного «я». Впрочем, может быть, я ошибаюсь. Об этом писали многие, и несть им числа...

А Кутузов... Ну что же... Каждому, как говорится, свое... Что же до тяги нашей к земному пространству, которую лишь очень немногим удастся изжить с годами, есть у славянских народов такое поверье: души умерших отправляются в последнее странствие по неведомой реке, туда, куда улетают по осени птицы, — может быть, там, отбросив частности, смиряются наконец Судьба и Мечта.

Ну а здесь, в мире живущих...  
Кружатся снежинки в причудливом танце,  
Метут по дорогам опавшие листья,  
Звенит колокольчик, затерянный где-то...

*Санкт-Петербург, декабрь 2013*

## ПОЛУДЕННАЯ ШУТКА

**Петербургская сказка из новых времен,  
имеющая целью показать,  
что в центре города, при ярком освещении,  
порой случаются не совсем обычные вещи...**

...Это случилось в один из ярких летних дней в скверике у Михайловского замка. Дело шло к полудню. На одной из двух скамеек — а скамеек в тот день было ровно две — пожилой, основательный гражданин весьма скептического вида сидел и читал газету. Рядом с ним примостился некто невзрачный и неопределенный — эдакий всегда и везде третий. На супротивной скамейке двое мужчин средних лет, очень похожих и одновременно не похожих друг на друга, вели неторопливую беседу. Это были числитель и знаменатель, существительное и глагол — это были Режиссер и Сценарист. Вот такое-то общество и собралось в тот жаркий летний день в скверике у Михайловского замка.

Без трех минут двенадцать, по улице Кленовой, со стороны Невского проспекта, пришел молодой человек. Он опустился на скамейку рядом со Скептиком, которого не заинтересовал, огляделся, вздохнул и остался сидеть, скрестив руки на груди, — жест, надо сказать, символический, ибо все: и трепетные ноздри, и шевелюра, и огненный взгляд — выдавало в нем романтика.

Ослепительно сияло солнце. Становилось все жарче. Какое-то напряжение повисло в воздухе, когда между двух скамеек прошли двое нищих. И, как раз в тот самый момент, когда они проходили, в Петропавловской крепости ударила пушка. «Двенадцать часов», — подумал каждый.

— Слышал? Двенадцать, — сказал один нищий другому.

Да, друзья, наступил полдень — загадочное, волшебное время, время чудес и превращений.

Легкий ветерок подул и стих. И тогда в эту знойную, звенящую тишь скользнула Полудница. Она прошла, никем не видимая, и рядом с каждым посидела, и каждого погладила по макушке, и, легонько дунув в глаза, устроилась в кроне дерева смотреть, что будет дальше.

Нищие приосанились. Можно было подумать, что на них не ветхие обноски, а фланелевые «двойки», и у каждого с локтя свисает трость с набалдашником из слоновой кости.

— Что до меня, — сказал один нищий, — то я предпочитаю хорошую гаванскую сигару после чашечки крепкого кофе. Это здорово прочищает мозги. И черт меня подери со всеми моими потрохами, если я не прав!

— Согласен, дружище, — ответил ему второй нищий. — Но мне по душе хорошо прожженная вересковая трубка и табачная смесь с ароматом осеннего сада. Добавь к этому добрый старый коньяк...

— Или ликер «Мокко»...

— Или грог..

— В холодную погоду.

— О, да!..

Полудница засмеялась и проводила нищих воздушным поцелуем. Затем она обратила шаловливый взор на Романтика.

— Нет, я не могу, не хочу больше молчать! — воскликнул Романтик.

— Простите?.. — молвил Скептик, снимая очки.

— Нет, нет, это вы меня простите! Простите великодушно!.. Но мне просто необходимо выговориться, поделиться наболевшим, излить, так сказать, душу..

В другое время Скептик сказал бы: «Извольте. Но только не на меня». Он непременно сказал бы так, а если бы не сказал, то подумал, что одно и то же... В любое другое время. Но не сейчас.

— Я слушаю вас! — воскликнул Скептик так радостно, что можно было подумать, будто он мечтал об этом если и не всю свою сознательную жизнь, то уж с утра — по крайней мере.

И Романтик принялся «изливать душу». Он говорил страстно, ноздри его раздувались, а в глазах бушевало пламя. Он был прекрасен.

— Я ходил... Нет, я метался по городу, — говорил он. — Я искал человека. И я его не нашел. Ни одного человеческого лица. Ни одного!.. Это ужасно...

— Да что выговорите... — пробормотал Скептик, испуганно озираясь.

— Вот именно! Людей больше нет — одни философы. — И красивое бледное лицо Романтика исказила страдальческая гримаса почти физической боли. — А вы... вы, случайно, не философ? — Взор его вдруг сделался колючим и подозрительным.

— Чтобы я... — Скептик ткнул себя пальцем в грудь. — Нет, никогда в жизни. Впрочем... Да нет, нет, я не философ. Определенно не философ.

Подозрительность на лице Романтика сменила ласковая улыбка. Он взял Скептика за могучие плечи и с чувством произнес:

— Я вам верю! — И это было посвящением. — Нет, подумайте, — продолжал он, — каково мне было в этой толпе куда-то бегущих Чаадаевых... Не лица — маски. Ни одного человека с простой и доброй улыбкой, человека, с которым можно запросто, как вот с вами, перекинуться парой слов, согреть душу ненарочной беседой... Лица, запертые на замок! Ужасно, ужасно...

— Да, да, да! Вы знаете. Я тоже стал замечать, что наблюдается некоторая обособленность. Но вы так красиво, а, главное, так живо и точно все это сказали, что лучше, пожалуй, и не скажешь...

— Что мои слова! — С горькой улыбкой на устах воскликнул Романтик. — От слов мало проку, если даже эти вот деревья настроены философски.

— Даже эти деревья... — повторил Скептик, как зачарованный. — И действительно, поразительная наблюдательность!.. Я восхищен.

— Философия, — продолжал между тем Романтик, — тем страшна, что выхолащивает душу, лишает человека отрадной веселости. Жизнь теряет всякий смысл, когда ее коснется ледяное дыхание философии... Поэзия — вот счастье, вот истина, к которой стремится свободный духом человек! Но свет поэзии, свет истины померк. Философия торжествует!..

Третий и так слишком долго молчал, хотя и не мог не слышать пламенной речи Романтика. Наверное, восторг сковал ему уста. Но теперь он поспешил заглядить свою оплошность и присоединился к интересной беседе.

— Вы поэт? — обратился он к Романтику с простодушной улыбкой на круглой, как солнышко, физиономии. — Вы знаете, я раньше не любил поэзию, вернее, я ее не понимал, потому что и не читал вовсе. Мне казалось, что... не знаю, как и сказать... Но недавно я прочитал случайно одно стихотворение — мне понравилось. Если вы поэт, то, наверное, должны его знать. Очень хорошее стихотворение. Оно начинается так...

— Я человек! — гордо произнес Романтик, и величественный пафос, с которым он это произнес, до некоторой степени извинял его бестактность.

— Ах вот как... — сказал Третий и понимающе качнул головой.

— Весомо, — заметил Скептик.

Полудница все это время провела на дереве. Уютно устроившись в зеленой кроне, она внимательно слушала Романтика, подперев кулачком изящную кудрявую головку, и, можно сказать, заслушалась. «Как мило», — проговорила Полудница, когда последние слова Романтика растаяли в горячем воздухе, и захлопала в прозрачные ладошки, отчего у всех зазвенело в ушах. «Жара, однако», — подумал каждый из людей, а Полудница подумала, что Режиссер и Сценарист засиделись без дела на своей скамейке...

— Дружище, — сказал Режиссер, поглаживая макушку и топорща густые, слегка подкрученные на кончиках черные усы, — вот ты мне все толкуешь о несовместимости твоего героя с натурой...

— Ну да, толкую и буду толковать, — ответил Сценарист. — Потому что это так и есть. Мой герой — это порыв, он воплощение всей гаммы человеческих чувств и переживаний — от космоса до женских ножек и шерри-бренди. Он — Коперник, Шиллер, Казанова и Олег Попов в одном лице. Он страстен... А что вижу я? Полное отсутствие не то что страсти, но какой бы то ни было информации. Я не знаю, о чем думают эти молодые люди, которых ты мне представляешь... По-моему, они ни о чем не думают...

— Ну, это я уже слышал... А теперь посмотри напротив, на того вон молодца с бетховенской гривой. Хорош, не правда ли?..

— Это он!.. Клянусь всеми фуриями ада и нимфами священных рош Аркадии — это он! — вскричал, бледнея, Сценарист.

— Вот видишь, старина, — заметил Режиссер. — Есть натура. Надо только уметь ее найти.

— Так не будем терять ни минуты, — сказал Сценарист. — Туда, мой друг, туда!..

И они поднялись и сделали пять шагов по направлению к соседней скамейке.

— Друзья! Прекрасные незнакомцы! — с чувством произнес Сценарист, прижимая ладонь к сердцу. — Позвольте разделить с вами драгоценный фиал этого чарующего полудня...

Режиссер заметил, что присоединяется к словам товарища.

Их предложение было принято «с восторгом» — именно так выразился Романтик. Скептик обозначил свою мысль в более приличествующей ему форме, а именно сказал: «Вполне». Третий ответил широкой радушной улыбкой, но, если озвучить его внутренний голос, то прозвучала бы такая фраза: «Надо же, чего только не увидишь, выйдя из дома в хорошую погоду...»

Итак, союз был заключен, и, сгрудившись на одной скамейке, вновь испеченные знакомые весело болтали о том о сем, как старые добрые друзья.

— А что это мы тут сидим, как куры на насесте? — вдруг сказал Режиссер. — У меня, например, в глотке пересохло...

— Так смочим наши глотки! — поддержал его Романтик.

Предложение было шумно одобрено обществом. Все встали и пошли туда, где можно утолить жажду живительной влагой.

Полудница со вздохом сожаления покинула дерево, где так уютно устроилась. Но что поделаешь — приходится чем-то жертвовать ради любви к искусству. Она полетела вслед за ними, а они, обогнув Михайловский замок, прошли по Марсову полю и дальше, минув Дворцовую площадь, покуда не устроились в бистро на набережной.

Они сидели за белым пластиковым столиком, на белых пластиковых стульях — эти друзья полудня, — курили хорошие сигареты, потягивали золотистое бодрящее пиво. И говорили, и шутили, и смеялись... Светило солнце, с Невы дул легкий соленый ветер, он подхватывал их шутки и смех и разносил по городу. И жители города, сами не зная почему, становились чуточку веселее, чуточку талантливее, чем обычно.

— Нет, это все-таки чертовски здорово, что мы встретились! — воскликнул Романтик. — Мне даже как-то не по себе... Просто не верится...

— Это все он, он! — Сценарист потряс пальцем в сторону Режиссера.

— Протестую! — сказал Режиссер. — Это фатум. Судьба. Она нас соединила, так воздадим же ей хвалу. Да, друзья мои, прекрасен наш союз!..

— Здорово... — восхищенно произнес Третий. — Это похоже на стихи.

— Так выпьем за наш священный союз, — продолжал Режиссер. — Союз Друзей Полудня!

— Виват! — вскричал Романтик фальцетом.

И они выпили и за то и за другое... Они говорили, говорили и говорили, не зная усталости и не замечая бега времени...

Меж тем жаркий полдень миновал, и прохладой потянуло с Невы. Полудница все чаще зевала в крошечную ладошку. Воспитанные Полудницы в это время уже спят, так что эта, можно сказать, припозднилась. Наконец она, тряхнув кудрявой головкой, соскользнула с парапета, где провела все это время, и полетела над водой — все выше и выше — покуда не растворилась в синей дымке...

...Режиссер, надув щеки, откинулся на спинку стула. Он посмотрел вокруг, посмотрел прямо перед собой, заглянул внутрь себя и сам себе сказал: «Однако...»

«Друзья Полудня» переглянулись, и у каждого во взоре сквозило сонное недоверие и настороженность и испуг.

Как бы то ни было, недавние веселые собеседники испытали острую потребность в уединении. Каковое намерение и не замедлили осуществить...

Вечерело. Становилось все прохладнее. «Надо же, а днем было так жарко», — слышались замечания прохожих.

Был уже очень поздний вечер, когда от Невского проспекта к Михайловскому замку подошел нищий. Он сел на скамейку, где уже ожидал его приятель, и сказал, вынимая из кармана некий предмет:

— Сигару купил... Дорогая, черт, зато крепкая...

— А у меня вот что есть, — ответил ему второй нищий, показывая трубку. — Вересковая... Не обжег еще, правда...

— Я свою трубку отдал. У меня трубка почему-то не курится.

— Тут навык нужен.

— Это точно... Как и во всем.

— Ну так!..

Совсем стемнело, давно ушли нищие. Луна свершала по небу свой печальный путь. В ее призрачном сиянии вставал из темноты Михайловский замок — фата-моргана питерской ночи. Подул теплый ветерок, прошелестел сонной листвой и стих. Ночь обнимала город.

Две кудлатые дворняжки пересекли пустынную мостовую. Остановились покусать блох, посмотрели в разные стороны и затрусили дальше, тесно прижимаясь друг к дружке...

## Ужин в корчме «Веселый пилигрим»



А. Дюрер. Три крестьянина. Гравюра на меди. 1497 г.

**В** полночный час, когда все сном объято, когда даже мышки угомонились за стеной и старый ленивый кот Тимофей, добрый товарищ моего уединения, дремлет на диване, свернувшись пушистым серым клубком, — в этот час я один не сплю.

Я жду гостей.

Полная луна сияет в ночном небе, раскачиваются за окном, тихонько поскрипывая, огромные черные ели, горит свеча на моем столе. Я смотрю, слушаю, жду...

Потянулось в сторону пламя свечи. Загудело в еловых лапах, прошумело в зарослях душистого хмеля, что окаймляет мое оконце — это мой старинный приятель и собеседник, ночной ветер. Он прилетает ко мне на огонек чуть не каждую ночь, и уж конечно, каждый раз в полнолуние. Иногда мы с ним болтаем запросто обо всяких пустяках, иногда разговор наш касается материй серьезных — любви, жизни, смерти. Но бывает — и это самое волнующее в наших встречах — он принимается рассказывать мне истории, саги и руны минувших времен...

Он великий и неутомимый бродяга, этот ночной ветер. Где только он не был, чего только не видел, не слышал! Случается, он и меня берет с собою в странствие. Вот и ныне зовет меня ветер в дорогу, далеко-далеко, в другую страну. В другую эпоху — в старую Германию. Была когда-то такая страна, которой больше нет. Что-то ждет меня там? — посмотрим...

А теперь — в путь, туда, где несет свои воды красавец — Неккар, на самый запад Германии, в Швабию...

\* \* \*

Стояла первая декада сентября, то причудливое время, когда лето и осень будто брат с сестрой рука в руку ходят. Еще шумят на ветру рощи, еще полным-полно в садах плодов и не все нивы сжаты. Но уже собираются в стаи перелетные птицы, и спешит набить закрома полевая мышь.

Близился вечер. Багровое солнце неуклонно подвигалось к вершинам швабских гор. Тяжко каркали вороны, собираясь в родные гнездовья. Малые пичуги, нашедшие приют в царственных кронах деревьев, славили Творца в последнем перед наступлением темноты мадригале.

Налетевший ветер всполюшил ворон и пробудил ото сна бродягу, что уютно устроился в траве под сенью раскидистого дуба. Это был обычный на первый взгляд бродяга, один из тех гонимых судьбой, что во множестве скитаются по дорогам в поисках хлеба насущного да кратковременного пристанища. Однако внимательный наблюдатель уж верно отметил бы злосчастное несоответствие между жалкими обносками бродяги и гордым блеском его синих глаз. Некая тайная мысль, подобно тени, запечатлелась на физиономии скитальца, сообщая облику его какую-то нездешнюю печаль.

Все это не преминул бы отметить внимательный наблюдатель, а отметив, пришел бы к выводу, что от подобного субъекта лучше держаться подале: как знать, может, он из тех, кто водит компанию с духами ночных дорог. А то и с самим Черным Михелем?.. Спаси и помилуй, Господи, грешные души!..

Бродяга меж тем размял онемевшие члены, разгоняя застоявшуюся кровь. И, стряхнув с ресниц последний сон, принялся шарить в карманах залатанного плаща некогда зеленого, а ныне, подобно листве дубрав, изрядно побуревшего благодаря стараниям времени и капризам погоды. Зная, что в карманах у него так же пусто, как и в желудке, бродяга не терял спасительной веры в чудо: вдруг да закатился куда-нибудь в прореху старый сухарь, который он припрятал на черный день. Сухаря, пожалуй, хватило бы, чтоб обмануть голод...

Но, видно, черный день давно миновал, и всего-то поживы оказалось несколько хлебных крошек. Аккуратно слизнув их с ладони, бродяга в который уже раз пожалел о том, что не дал ему Господь всесокрушающих челюстей свиньи: ведь под дубом столько изумительных желудей, аппетитных на вид... Но увь! — он не свинья, а всего лишь человек, жалкий и ничтожный.

— А хороши были те плавающие в соусе перепела и жирные колбасы, что видел я во сне минувшей ночью, — проговорил он с насмешливым ви-



дом ко всему привыкшего человека. За годы странствий и одиночества привык он и к тому, что общаться приходилось не иначе как с самим собой. — Но, видно, так уж устроено: если один вкушает пищу наяву, то другой лишь во сне... Зато и выгода немалая: ведь если какой-нибудь обжора только толстеет, как боров, то бедолага вроде меня ширится изнутри. И в этом, если подумать хорошенько, есть несомненное благо и некий посул: по крайней мере, не соскучишься, всегда есть о чем поразмыслить на досуге, да и досуга сколько душе угодно...

Минутная веселость его улетучилась, и, глядя с тоскою в сторону гор, бродяга подумал или произнес вслух такие слова:

— Как далеки теперь от меня эти горы... Кажется, вовек мне до них не добраться. А все потому, что я голоден, и силы мои на исходе. Добрый ужин поправил бы дело — уж это я знаю наверняка! Хотя бы горбушку черного хлеба да немного масла — глядишь, и прибавилось бы ражу, и зашагал бы я тогда быстрее быстрого. Охо-хо... Вот так-то судьба и корежит, и волтузит человека, все норовя повергнуть его в прах. Но ничего, сударушка-судьба, мы с тобой еще поборемся, посмотрим кто кого. Уж от меня-то, как ты ни старайся, как ни лютуй, не услышать тебе покаянных слов!..

\* \* \*

Золотистый свет сумерек объял дольний мир, но в золоте угадывался грозный багрянец — предвестник бури. Над травой стлался косматый туман. Носился в вечерующем воздухе легкий запах дыма. Слышались вдалеке слабые звуки благовеста. А чуть поближе, с большой дороги, раздавался перезвон коровьих колокольцев.

Внимая звукам и запахам, шел бродяга навстречу неведомому. Стояла первая декада сентября 14\*\* года.

В наступившей темноте уютно светились оконца корчмы, что весьма удобно расположилась у развилки дорог, в тени могучей старой липы. Называлась корчма «Веселый пилигрим», о чем и сообщала всем и каждому деревянная, покрытая свежей краской, вывеска под коньком крыши.

Хозяином в корчме был добрый мастер Иоганнес Шпис. И если бы вы, милейший, спросили хоть кого из местных жителей, где вольготнее всего, да и дешевле, скоротать вечерок, то вам непременно указали бы на «Веселого пилигрима». Хоть всю Швабию обойдите из конца в конец — а уж земля наша славна едоками: нигде более не сыскать вам таких колбас с кислою капустой, таких сыров и омлетов. Что уж говорить о жирных окороках с чесноком и перцем, о нежных курочках, обильно сдобренных укропом и петрушкой! Что и говорить о душистых зеленых салатах, о гусях под яблочным соусом! И, конечно же, нельзя не упомянуть настоящий швабский хлеб и настоящие швабские клецки. К тому же всегда в достатке у мастера Шписа пенистого, терпкого пива и доброго шнапса — хоть тебе на тминных зернах, хоть на жгучем перце или укропе. А в темном погребе, окутанные паутиной, хранятся пузатые бутылки с вином. И не только наших виноградариков то

вино — есть у мастера Иоганнеса и рейнское, и мозельское, и даже венгерское, а также из соседней гордячки — Франции, из Дижона и Бордо... Так-то вот, сударик вы мой! Мастер Иоганнес Шпис туго дело знает, всем корчмарям он корчмарь — уж вы мне поверьте!

Вот что сказали бы вам словоохотливые местные жители. Сам же мастер Иоганнес мог, пожалуй, добавить: «Иной ведь как рассуждает: содрал с человека поболее звонких монет — и ладно, и хоть трава не расти! Но я-то не из таковских, для меня, да будет вашей милости известно, едок что твой князь или епископ: что ему хорошо, то мне и подавно, оттого ведь прямая выгода и есть. Я, сударь вы мой, так рассуждаю: малое к малому, глядишь — и полон сундучок, за другой принимайся. А поспешность и жадность до добра не доведут. Нет, не доведут...»

Таким вот человеком был добрый этот мастер Иоганнес Шпис, оттого и сыскал он уважение сельчан и благодарность людей пришлых, оттого не зарастала бурьяном тропинка к гостеприимному его дому, и денежки малопомалу наполняли сундуки.

Минувший день, впрочем, не принес ему особенной выгоды, но мастер Иоганнес и не думал унывать: подумаешь, эка важность! Сегодня — пусто, завтра — густо. Всякое бывает, на все воля Божья.

Сидя у очага в неизменном своем фартуке и шерстяном колпаке, ворочал он на вертелах жирные колбасы. Довольно морща массивный горбатый нос и весело поблескивая маленькими серыми глазками под кустистыми черными бровями, мастер Шпис поглядывал искоса в соседний угол: там за большим столом вели беседу двое оставшихся на ночь посетителей. Их загорелые обветренные лица, кажущиеся в полумраке столь значительными и даже таинственными и зловещими, выражали целую гамму противоречивых чувств: от добродушной насмешливости до едва скрытого гнева.

— Все-то вы, мастер Томас, насмешничаете надо мной за невинную мою слабость к чревоугодию. Вольно вам, конечно, с колючим вашим нравом! Однако, говоря по совести, грех-то невелик, и даже вовсе не грех, ибо даровав человеку желудок, Господь тем самым вменил ему в обязанность и заботу о нем, чтобы, елико возможно, содержать сей обширный предмет в изобильном достатке. К тому же вам, человеку ученому, ведомо должно быть, сколь сие зависит от прихоти фортуны, как любят говорить еретики. Я же говорю — от заботы провидения, что несомненно верней, да и звучит лучше. И ежели сегодня посчастливилось мне, грешному, набить как следует брюхо, то завтра, глядишь, и маковой росинки не перепадет, а то еще придется лакать такую дрянь, что и сам Вельзевул отворотил бы свой нос! Да еще к тому же буду ночевать в густом лесу или во чистом поле, укрываясь заместо одеяла звездами небесными и наминая нещадно бока шишками да кореньями, да острыми камнями... Дрожа от страха, стану я ожидать лютого зверя, а пуще всего — веселых молодцов, славных разбойничков, коих много развелось нынче в наших лесах... Что ж за грех, повторяю я,

если, пользуясь благостной заботой провидения, подкреплю я доброй едой свое немощное брренное тело, чтобы с тем бóльшим усердием нести людям утешительное слово?..

Так говорил один из собеседников, тот, что казался постарше: коренастый, крепко сбитый человек, рыжебородый и краснолицый, одетый в коричневую шерстяную рясу с капюшоном и подпоясанный веригами, что свидетельствовало о его принадлежности к братству святого Франциска Ассизского. И если по могучему телосложению капуцина можно было судить о его физической силе, то ум и доброта, светившиеся в маленьких его медвежьих глазках, свидетельствовали о нежности души.

— Все так, милейший брат Леонардус, — отвечал монаху его визави, молодой человек в кафтане бакалавра. Он хотел казаться спокойным и постоянно кривил в усмешке тонкие губы, но жаркий огонь, пылавший в глубине его черных глаз, и легкое подергивание левой щеки выдавали сугубо нервную организацию этого человека, подверженного меланхолии и мировой скорби. — Все так, — повторил он, постукивая тонкими пальцами по столешнице, — но вы, кажется, почитаете себя родней птицам небесным — к чему же тогда эти пени? Тем паче, что бываете вы вознаграждены с лихвой за временные неудобства: поистине недурные гнездышки для малых пташек — ваши монастыри с их кладовыми и трапезными!.. А сундуки, что ломаются от монет? Собрать ли столько сороке-воровке?.. Между тем мужик, который и сеет и жнет, не имеет порой и куска хлеба на ужин... Да не обидел ли я вас, часом, брат Леонардус?

— Нисколечки, брат Томас, нисколечки! — отвечал капуцин, качая массивной головой. — Уж я знаю ядовитый ваш язычок, знаю, к чему вы клоните постоянно, и даже — хотя сие великий грех! — готов согласиться с вами, что мир устроен не лучшим образом, и жаль до слез всех несправедливо обиженных... Однако же, милейший мой мастер Томас, столь пристальное ваше внимание к желудку удивляет меня и печалит несказанно. Сам-то я люблю поесть, как вы изволили заметить, но сей процесс обращен лишь к вящей пользе тела. Душою же тянусь я к иным предметам — лучшим... А случилось ли вам, милейший мастер Томас, слушать, замирая от восторга, песенку коноплянки? Или скрип козодоя в ночи?.. Когда тихая мгла объемлет мир, и высыпают звезды на небесах, и слышно лишь дремотное лепетанье листвы да шорох от передвиженья невидимых обитателей ночных... Разные мысли приходят тогда в голову, и сердце тревожится и бьется эдак часто-часто... Недавно провел я ночь в лесу под Вюртембергом и сочинил там небольшой стишок, совсем крохотный стишок... Вот послушайте-ка, пожалуйста:

Дремотной тишиной наполнен старый сад,  
Но иногда коснется слуха  
Деревьев тихий шум —  
И ты поверить рад в присутствие Святого Духа...

— Вы, мастер Томас, не в обиду будь сказано, слишком погрязли в мелких распрях и невдомек вам, при всем вашем недюжинном уме, сколь великое это блаженство просто ходить по дорогам земным, неся слово истины, и ничем иным не обременяться и не знать иного расточительства, кроме щедрости душевной. Оттого ведь и другим польза — уж я-то знаю! Справедливости несть в человеках, одно лишь служит утешением — тихая радость свободы и тот мимолетный восторг, что возникает в минуты благословенные при созерцании красот этого дольного мира. И тогда, сыт ли, голоден — все едино!.. А, допустим, устроится все по вашему хотенью, и каждый станет сыт и ухожен, но, принужденный крутить некий вечный жернов или железное колесо, не утратит ли он свободу духа, не потеряет ли счастья человеческого? Глядишь, и надломится что-то несказанное в людских душах, и радость купно с печалью исчезнут на веки вечные... Что же, скажите на милость, в этом хорошего? Не лучше ли смиренно положиться на волю Божью и, радуясь жизни, — уж какая она есть, — все принимать за благо, ибо все, что есть — благо... И страждущий бывает счастлив, и счастливый горе мыкает...

— Слова, брат Леонардус, все это только слова! — вспыхнул молодой бакалавр. — Но кто-то должен, послав однажды к чертям всю вашу софистику, пойти и добыть справедливость! Дать каждому необходимое, никого не обходя вниманием и никого не награждая сверх меры. Сие есть великий и священный труд, а не злобная химера, как полагают некоторые. И разве не об этом пекутся лучшие наши умы, и не об этом ли говорится в притче о хлебах и рыбе? Нет-нет, брат Леонардус, вначале — дело, все остальное — потом!

— Торопитесь попасть в святые, а роете между тем крысиный лаз в бездну адаву... — пробормотал капуцин.

— О-о! Я уже вижу этот день, когда погуляет-таки Господь железной дубиной по глиняным горшкам!.. — воскликнул мастер Томас, словно бы и не слыша бормотания капуцина.

Тем временем добрый корчмарь принес и поставил на стол ужин, да и бутылочку вина к тому ж, и кусок сыра, истомленного слезой и приправленного укропом и сельдереем.

— Вы, верно, слышали, дражайший мастер Иоганнес, о чем мы тут толкуем? — спросил монах, добродушно посмеиваясь и разливая вино в глиняные чарки. — Так примирите же мудрым словом враждующие стороны, ибо глас ваш есть и остается глас народа, хотя и народа сытого.

Мастер Шпис действительно слышал весь разговор, но счел, однако же, за благо получить разъяснения по этому вопросу. Получив оное, добрый корчмарь отвечал так:

— Дело, думается, непростое. И тут уж, как говорится, кому что и кто во что горазд... Что до меня, то нет и не бывает лучшего счастья на свете, нежели жить по-тихому в собственном доме да кормить-пить добрых людей, сохраняя при этом прибыль... Но знал я одного винодела: в достатке жил

человек, а счастье — спросишь — знал ли? Нет, отвечу, не знал! Почему — спросишь? Да бес его поймет — почему. Он и сам толком разобраться не мог: все чего-то хотел, а чего — так и не понял. Правда — я иной раз так думаю, что с бабой ему не повезло. Была бы женушка кроткая да нежная, аки голубица, глядишь, иначе бы жизнь сложилась. Но, видно, судьба такая... От судьбы не уйдешь...

— Бог дал человеку женщину, чтобы не забывал он о царствии небесном, — заметил слегка захмелевший капуцин.

Тут содрогнулись небеса, выпуская огонь, грянул гром, и град забарабанил в окна. Неистовый ветер потряс стены корчмы, завыл в печной трубе. Разразилась буря.

И в эту самую минуту растворились двери и в корчму, подобно призраку или аллегории голода, вошел бродяга.

— Мир сему гостеприимному дому и всей вашей честной компании, добрые люди! — проговорил он, оглядывая сотрапезников, и во взгляде его было немало искренней доброжелательности, но ни на йоту того слезливого умиления, что свойственно нищим бродягам.

Имея склонность к людям, но не имея склонности платить по их счетам, мастер Шпис был застигнут врасплох и немного смущен при появлении незнакомца, чей внешний вид яснее ясного говорил о состоянии его карманов.

Выручил мастер Томас:

— Накормите же бедолагу, мастер Иоганнес, — произнес бакалавр, — да посытнее! Ведь бог знает, когда еще ему придется отужинать по-человечески: уж такого-то ужина, как в вашем «Веселом пилигриме» он нигде не получит, — клянусь бороною апостола, как бы сказал наш добрый брат Леонардус!

С этими словами бакалавр развязал свой кошелек и выложил на стол несколько звонких монет — необходимую плату за гостеприимство.

К чести мастера Шписа, который при таком раскладе не заставил себя уговаривать, он не только принес ужин — полную миску гороха с колбасой и салом, но и присовокупил от себя лично добрую чарку перцовки.

— Ишь как разыгралась буря-то... — проговорил он некоторое время спустя. — Не сорвало бы мне вывеску. Я ведь ее только что заново выкрасил... И так славно удалось мне на этот раз выписать все буквы, что любого дорого глядеть!

Продолжая в глубокой задумчивости смотреть в окно на непотребства стихии, мастер Иоганнес заметил вслух, что не позавидуешь теперь тем, кто шляется по дорогам, не имея крова. А уж встретить в такую ночь Черного Михеля — спаси и помилуй, Господи, грешные души!..

— Вы помните эту детскую сказку? — оживился бакалавр. Своим глубоким и звучным голосом принялся он читать старинный детский стишок.

Дети, дети, полно вам — к дому поспешайте!

Черный дядька по долам бродит — так и знайте!

Вас с собой он заберет, в ад крошечный уведет!  
Там, во тьме, которой нет ни конца, ни краю,  
Духи бледные одне жалобно стенают.  
Не избудешь ту тоску: нет ни булок, ни кваску,  
И не бегать уж с утра в лес да на полянку..  
Вот узнаете тогда, как не слушать мамку!

— Любит наш народ страшные назидательные истории... Не правда ли, мастер Шпис? Не правда ли, брат Леонардус? — спросил бакалавр, закончив декламировать.

Мастер Шпис вполне с ним согласился, заметив только, что назидательные истории весьма полезны бывают при воспитании подрастающего поколения.

— Малость пострадать будущего жеребчика да укоротить юную кобылку, чтобы не слишком брыкалась, — дело доброе, — заметил мастер Иоганнес.

Что до брата Леонардуса, то он ничего не мог заметить, поскольку имел привычку отправляться после сытного ужина в объятия сладкоустого, нежного бога сновидений.

Тут в разговор неожиданно вмешался бродяга. Как-то весь подобрившись и глядя по сторонам блуждающим взором, он произнес:

— Это правда, не сойти мне с места!.. Я видел Черного Михеля!..

— Ба!.. — воскликнул бакалавр, весело сверкнув глазами. — Какая необыкновенная удача! Рассказывай же скорее свою историю!.. Мастер Шпис, присоединяйтесь к моей просьбе!

И мастер Шпис присоединился, прибавив к просьбе бесплатный завтрак и снеди в дорогу.

Ободренный вниманием, бродяга не стал испытывать терпение этих добрых людей и начал свою историю такими вот словами:

— Родился я и вырос на севере, в марке Бранденбург, что вы уж, наверное, успели заметить по моему выговору... Отец мой был мельником — стало быть, и мне надлежало стать мельником и всю-то жизнь таскать на горбу тяжеленные мешки с мукой. Кому-то подобная жизнь, может, и по нраву, но мне она не слишком-то улыбалась — по крайней мере, с тех пор, как я достаточно окреп, чтобы помогать отцу и понял, что за судьба меня ожидает.

С малолетства обрел я привычку сиживать ввечеру у мельничной запруды, для чего и облюбовал один славный такой тенистый уголок. Слушая, как квакают лягушки и стрекочут кузнечики да шумят тихонько старые вязы, я размышлял о разных разностях и частенько спрашивал себя: почему так устроено, что должен я стать мельником и оставаться здесь, на этой мельнице, до конца дней своих, когда в лесу и в поле полным-полно причуд?..

Тут, кстати, надо, наверное, заметить, что направо от запруды, за горбатым обомшелым мостиком, начиналось широкое поле, простирающееся до самого горизонта. Иногда со стороны поля через этот самый

мостик приходили к нам на мельницу нищие бродяги или же странствующие монахи — вроде того, чья милость теперь изволит сладко почивать за этим столом... Они приходили и уходили, получив вспомоществование от доброго моего батюшки. Я же подолгу смотрел им вслед, и мне казалось таким поистине чудным делом, что, вот, живые люди из плоти и крови, такие же, как я и мой батюшка, приходят невесть откуда и уходят невесть куда...

Годы бежали своим чередом. Минуло мне уже двадцать годков, и был я к тому времени помолвлен с дочкой деревенского пекаря — и, значит, окончательно смирился с судьбой. Я будто бы задремал на этой мельнице.

Но судьба не дремала, нет. Располагая мною всецело, она плела свои козни в одной ей ведомых целях.

Помню, был тихий, необычайно красивый вечер — из тех вечеров, что запоминаются надолго, если не на всю жизнь... Вязы мои лениво перешептывались о чем-то в вышине, танцевала над запрудой мошкара, сонным, горьковатым дурманом полнился воздух сумерек.

В тот вечер я и увидел Черного Михеля — свободный и гордый, он стремительно шел через поле, и полы его дорожного плаща развевались на ветру. Что-то невыразимо волнующее было в этом его облике, настолько, что восторг обуял меня, и зависть впилась клещами в бедное мое сердце. Затрепетало оно и забилось часто-часто, и я сказал себе тогда с небывалой горечью: «Увы!.. Видать, такой уж ты жалкий и ничтожный человек, что не в силах оторвать свой зад с насиженного места и вынужден поэтому лишь наблюдать, как другой — сильный и смелый, не ты! — умеет наслаждаться жизнью, упиваясь вдосталь воздухом свободы, что веет над полями и всех и каждого зовет в дорогу. Да, не у каждого достанет на то силенок! Кто глух и слеп от рождения, кто по глупости или по лености не внемлет зову свободы... Вот и ты, несчастный, сиднем сидишь на своей мельнице. Так и жизнь пройдет — не заметишь». Вот что говорил я себе, и сердце мое обливалось при этом желчью.

Черный Михель давно скрылся за горизонтом, все гуще ложились тени. Матушка моя зажгла свечу в окошке и растопила печку. Скоро, совсем скоро позовет она меня к ужину... Ах знать бы вам, что за чудные оладьи с грибной или луковой подливой умела она готовить! А какие блинчики с требухой и салом!..

Но тут на меня словно бы что-то накатило. «Теперь или никогда!» — сказал я себе и, поднявшись с места, навсегда покинул родимую мельницу.

Уж не знаю, что сделалось с моей матушкой, когда пошла она проверить, отчего не откликаюсь я на зов, а обнаружила, что и след мой, как говорится, простыл... По сей день сердце у меня не на месте из-за этого из-за самого... Но что делать — чем-то всегда приходится жертвовать во имя мечты...

Выйдя в сумеречное поле, испытал я такой восторг, что просто невозможно описать словами! И всю ночь и весь следующий день шагал я без усталости, сам не ведая куда... Но одиночество и долгие переходы

вскоре утомили меня. С непривычки я натер на ногах кровавые мозоли и вынужден был надолго останавливаться, отмачивая ноги в холодной воде ручейков, когда мне так хотелось идти дальше! Я надеялся сыскать Черного Михеля, чтобы вместе с ним, опытным ходоком, отправиться дальше, хоть на край земли. Но Черный Михель будто в воду канул.

День да ночь — сутки прочь... Добрался я таким образом до Тюрингии. Скитаясь в тамошних дремучих лесах, вышел я однажды на берег озера, что подобно прекрасной чаше сияло в лунном свете среди темных еловых дебрей. Там-то и увидел я Черного Михеля во второй раз.

Он сидел на берегу и наигрывал на пастушеской свирели томительно грустную мелодию. Осторожно, боясь помешать, уселся я рядышком и стал слушать эту его песню без слов. Но вот он кончил играть, опустил свирель и сунул ее в карман своего кафтана. И тогда-то осмелился я обратиться к нему с такими словами:

— Сударь мой, Черный Михель! Вы, конечно же, вольны разгневаться на меня за дерзкую назойливость и прогнать прочь. Но дело в том, что, проходя мимо нашей мельницы, вы косвенным образом стали причиной моего окончательного и бесповоротного разрыва с прежней спокойной и сытой жизнью под крышей родимого дома, где не знал я недостатка ни в чем, кроме, разве что, свободы. Так что, обладая в известной мере правом на толику вашего участия, прошу вашу милость как о снисхождении взять меня в подмастерья — ибо бродяжничество, по моему убогому разумению, тоже не что иное, как ремесло или, если угодно, наука. До сих пор не было у меня никакой возможности обучаться этой мудрой науке, но теперь-то, с вашей помощью, надеюсь я восполнить пробел в образовании. Так не гоните же меня прочь, мастер Черный Михель. Не лишайте благодетельной своей поддержки!..

Так лопотал я бессвязные эти слова, трепеща от волнения и страха. Он же, кинув на меня сумрачный взор, спросил:

— Знаешь ли ты, о чем просишь, дитя?

Я ответил, что знаю и готов повторить свою просьбу, ибо чувствую с давних пор несомненное призвание к бродяжничеству, которое ни с каким иным призванием не спутаешь.

— Хорошо, будь по-твоему! — сказал Черный Михель и, достав из переметной сумы хлеб, разделил его на две равные части.

Так был я посвящен в пилигримы больших дорог и лесных дебрей.

Вы спросите, пожалуй, где я был и что видел за время, проведенное с Черным Михелем. А спросив, подумаете о таких славных городах как Майнц, Кельн или Нюрнберг, вспомните, конечно, и папскую столицу — Рим, куда, как известно, ведут все дороги земные. Но вы ошибетесь, ибо довелось мне увидеть — ни много ни мало — весь наш обитаемый мир и даже более того... Но об этом после.

Измерив шагами всю нашу старую добрую Германию, а также и соседнюю Францию, и Фландрию — страну изобилия и великой скарденности, и



благословенную Италию, чье ярко-лазурное небо и нежный климат поистине дар Господень, достигли мы острова Сицилии.

Сей с древних времен обитаемый остров отделен от Африки лишь небольшим проливом, так что нам не составило труда перебраться на противоположный берег, где начинаются владения арабов и черных нубийцев. Когда-то высились там башни гордого Карфагена, где языческие жрецы чтили мерзостного Ваала и даже были столь неразумны и испорчены, что приносили ему в жертву невинных младенцев. Теперь этого нет и в помине. Местные арабы радуются жизни в аккуратных своих белых домиках, что теснятся под сенью пальм и олив, торгуют на базарах, где продается все, чего только не пожелаешь, весьма уважают астрономию и алгебру, а также алхимию, что не мешает им чтить с великою покорностью Аллаха, хвалу которому возносят с высот минаретов, похожих на гигантские, расписанные бирюзой и золотом, свечи, муэдзины, визгливые и гнусавые голоса которых долго-долго не смолкают в этой знойной африканской тишине, нарушаемой лишь шорохом пальм да вздохами прибоя...

Детей же у них нынче не только не приносят в жертву, но холят и лелеют по-всякому и даже почти совсем не трогают розгой, позволяя делать все, что ни заблагорассудится. Чадолюбие поистине в крови у арабов, равно как и склонность к женскому полу, ибо они — люди плоти...

Оттуда направились мы с Черным Михелем в Египет, где в знойной пустыне, никогда не орошаемой благодетельным ливнем, высятся грандиозные сооружения из прекрасно обработанного камня, называемые пирамидами, входы в которые охраняют высеченные из камня же чудовища с туловищами львов и человеческими головами. Служат сии пирамиды гробницами древних царей, но также обладают они могущественным свойством продлять человеческую жизнь и помогают прозревать будущее...

Долго можно рассказывать обо всех поразительных вещах, что удалось мне узреть: видел я и несметные стада слонов, носорогов и полосатых лошадей, видел змей, столь чудовищных, что способны они поглотить целого быка... На далеких островах в безбрежном океане видел я черепах размером с мельничное колесо и птиц ростом с башню. Одно яйцо такой птицы может насытить сразу дюжину голодных! Видел великанов и карликов, и людей с красною кожей, избежавших потопа, которые уверяли меня, что ведут свой род не от Адама и Евы, но от медведя и луны... В землях Индии, по справедливости наикрасивейших, ограждаемых с севера от Китая грандиозными горами, вершины которых утопают высоко в небесах, а в остальной части поросших густым ярко-зеленым лесом и тишайшими долинами, залитыми солнцем и ухоженными благодарною рукою пажитями, дивился я прекрасным загадочным храмам, коснеющим в забвении среди дремучих дебрей. В храмах этих полным-полно сокровищ: самоцветных камней, драгоценной утвари из серебра и золота, а также иных полезных и дорогих предметов. Но входы в них охраняются злыми обезьянами и страшными

ядовитыми змеями... О самих же индусах, равно как и о соседственных с ними китайцах, можно сказать, что сила их ума равна силе их глупости. Все у них доведено почти до совершенства. Лени же, почитаемая везде жесточайшим пороком, служит предметом особого поклонения и высочайшей мудрости, граничащей с магией. Благодаря этой лени, или магии, умеют они, не сходя с места, пребывать сразу во множестве весьма отдаленных мест и даже пересекать границы иных миров... В Китае слышал я байку про одного мудреца, который сел на вершину утеса и сидел там до тех пор, пока Господь, первым не выдержав испытания, не вознес его на небеса. У нас такая причуда послужила бы поводом для грубых насмешек, но китайцы не видят в том ничего дурного и, хотя и не хвалят особо — в отличие от индусов, — но и не порицают, говоря, что если и нет в том никакой заметной пользы для окружающих, то и вреда тоже никакого.

Не могу не упомянуть я и Московии — страны с некоторых пор наисчастливейшей меж стран христианских, ибо живут там почти все в добром достатке, наподобие фландрцев, однако, в отличие от последних, отнюдь не заражены они скупостию. Не зная особенной пагубы ни от врагов, ни от болезней, любят московиты вспахивать тучную свою землю, которой суровые и снежные зимы добавляют плодородности, драться на кулаках, в любое время года пить сладкий и терпкий мед. Еще принято у них париться горячим паром в специальных черных избах, где хлещут они себя, словно за грехи тяжкие, березовыми вениками, а по весне объедаются блинами с топленым маслом, медом и рыбьими потрохами.

Священники и монахи не пользуются в Московии таким почетом, как в странах европейских, зато все, от мала до велика, любят бить челом московскому царю, а равно и тем, кого они называют боярами. Бояре эти суть не рыцари и не монахи, умом или же ученостью они не только не блещут и не хвалятся, но и не уважают качества сии в других, мечта также сторонятся, считая вполне достаточным быть тем, что они есть. Рыцарская доблесть и качества ума никоим образом не могут сослужить в стране московитов добрую службу. Уважение же их друг к другу имеет причины весьма темные и скорее телесные, нежели духовные. И в том они сродни арабам или индусам.

Из Московии отправились мы напрямик на север, через дикие леса почти вовсе необитаемой Тартарии. И в конце нашего пути оказались на берегу студеного моря, где вечно хлад и мрак, и полыхает в сумрачных небесах некое призрачное сияние.

То был край земли.

— Готов ли ты постичь, что ожидает мятущиеся души вроде твоей? — спросил меня Черный Михель.

Не дождавшись ответа, он обнял меня за плечи, и мы поднялись над хладными водами и глыбами льда, устремляясь все дальше и все выше, пока, через упомянутое мной сияние, не проникли в иные, не видимые с земли таинственные сферы...

Я видел, как с оглушительным ревом и шипением проносились в вековечном мраке гигантские огненные шары и глыбы раскаленного металла, наблюдал рождение и гибель целых миров... И сердце мое содрогалось и готово было разорваться на мелкие кусочки, подобно гибнущим на моих глазах мирам...

— Это нечто вроде алхимической мастерской, — шепнул мне на ухо Черный Михель. — Здесь все более или менее конечно. Все имеет свой вес и свое место. Все рождается и гибнет ради тщеславного желания быть причастным целому... Но теперь смотри: приближаемся мы к заветному порогу, и ты ощутишь, что такое бесконечность и пустота... Достаточно ли ты знаком с пустотою, дитя?..

...Ах, что рассказать мне вам про это печальнейшее из мест? Самый мрак не обладает там ни единым качеством, как твердым, так, равно, и жидким... Время от начала равно там вечности. А пространство, устремляясь в беспредельную пустоту, обретает абсолютное «ничто».

— Надеюсь, ты доволен, дитя мое? — спросил меня Черный Михель, усмехнувшись как-то странно. — Уж здесь-то ни преград, ни препон — устраивайся как душе угодно! Вечный путь — как говорят китайцы!

Он смеялся надо мной, этот демон, а мне было совсем не до смеха. Ужель, думал я, никогда больше не увидеть мне тихие наши долины, не собирать ягод в дремучих лесах, не услышать ни щебета птичьего, ни журчанья ручейка?.. Не сидеть ввечеру, когда благовест плывет над полями и пляшет мошкара над водой, у мельничной запруды?..

К тому же от самой Тартарии у меня крошки во рту не было, и матушкины олады с подливой так живо нарисовались моему воображению, что я не выдержал и прослезился.

— Ступай прочь! — воскликнул тогда Черный Михель, расхохотавшись во все горло. — Ступай домой, дитя. И будь умником. Может, и повезет тебе тогда, и останешься ты, по милости Решающего, на земле — хотя бы и тростником у запруды или пнем березовым... Ступай!...

И с этими вот словами он дал мне такого здорового пинка, что, думается, я потерял сознание, а, очнувшись, увидел, что сижу, будто гриб осенний, в небольшой роще, что неподалеку от батюшкиной мельницы. Вечерело, накрапывал мелкий дождь, и густой туман, струясь между деревцами, заволакивал постепенно окрестности. Пахло мокрою корой, мхом, грибами. А еще ветерок приносил запах дыма нашей печки. Уж наверное матушка готовит теперь ужин, а батюшка, сидя у очага, строгает лучину и ворчит что-то себе под нос, подумал я. И мне захотелось вернуться. Но перемена, случившаяся со мной, была такова, что возвращение означало бы гибель. И, повернувшись к родному дому спиной, вновь зашагал я восвояси, куда глаза глядят...

С тех пор так и скитаюсь, подобно Вечному Жиду, не зная ни покоя, ни сытости. Меня влечет к людям, но, проведя ночь под крышей какого-нибудь гостеприимного дома, едва лишь забрезжит свет, как птица из силков, рвусь я на волю, в простор полей! И я не жалею, нет! — свобода дорога

мне так же, как жизнь. И если осмелюсь о чем-то попросить Господа Бога, то только об одном: чтобы позволил мне остаться здесь, на земле, хоть былинкой в поле, хоть мхом на трухлявом пне...

Бродяга замолчал, опустив голову.

— Силы небесные!.. — испуганно проговорил мастер Шпис, осеняя себя крестным знамением. А брат Леонардус, который, между прочим, давно уже проснулся, только виду не подавал, заметил, что история довольно интересна и по-своему поучительна, но мораль остается, как видно, на прежнем месте.

— Что верно, то верно, — согласился с ним бакалавр. — Каждый остался при своих.

— И думается мне, — добавил монах, — что сей вопрос долго еще останется открытым. А потому давайте лучше пображничаем всласть, во славу Господа нашего и всем чертям назло!..

Вскоре, изрядно захмелев, вся компания распевала песенку, сочиненную неутомимым лентяем, братом Леонардусом. И вот как она звучала:

Живи пока живется!  
Когда настанет срок —  
Сколь ни был бы приятен  
Воскресный вечерок —  
Почить равно придется  
Бродяге и купцу,  
Трудяге и лентяю,  
Транжире и скупцу..  
Горбатился, потея,  
Сундук набил добром,  
А вышла та затея,  
Как и всегда — ребром!  
Печальный этот жребий  
Для всех всегда один,  
Будь ты последний нищий  
Иль знатный господин.  
Живи пока живется!  
И затверди урок:  
Сколь ни был бы приятен  
Весенний вечерок,  
Почить равно придется!..

Когда же они угомонились, а, к слову сказать, угомонилась и буря за окном, и воцарилась в доме тишина, нарушаемая лишь невнятным бормотанием спящих да песенкой сверчка за печкой, мастер Иоганнес вышел на порог — посмотреть, каких дел наделала буря.

Светила полная луна, ветер гнал по небу обрывки туч. Через поле, иссеченное дождем и градом, скорым легким шагом шел Черный Ми-

хель. Свободный и гордый, шел он вперед, не зная ни усталости, ни сомнений.

Сердце у бедного мастера Иоганнеса сжалось и ушло в пятки.

— Господи!.. Иже еси на небесех...— забормотал он слова молитвы. — ...Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим...

\* \* \*

Вот и конец волшебству, и растаяло мое видение в серой дымке рассвета. Утро.

Сонно попискивали, просыпаясь, дневные птахи. Кот Тимофей, сладко зевнув и потянувшись, спрыгнул с дивана, потерся о мои ноги и отправился по своим котовым делам. А я пошел на кухню сварить себе кофе.

Стоя у плиты, я наблюдал, как бежит по утреннему туману легконогая, почти невесомая трясогузка, и крадется, хоронясь в траве, мой славный Тимофей. Мне было хорошо и грустно одновременно, и совсем не хотелось доискиваться первопричины того и другого. Слишком много философии, слишком... Вот и кофе мой укипел...

Днем, когда вернувшись из леса и наколов дров, я занялся починкой старых козел, меня посетил сосед Филипп — забавный колченогий мужичок с вечно слезящимися глазками цвета осеннего неба. Он заходил ко мне довольно часто. Садился на пень для колки дров, угощался папироской, сидел, пуская дым, и говорил, говорил что-то... Иногда я слушал его, иногда — нет, но нравилось, что он приходит ко мне на разговор, нравилось слушать его порой совсем невнятную речь...

Филипп стал предлагать мне доски от старой уборной, которую он пустил на слом.

— Скоро и дом сломаю!..

Он принялся рассказывать с большой обидой в голосе, как нехорошие люди сняли у него дом, а денег не платят. Все правильно: такому, как он, очень даже могут и не заплатить. Ну какой с него домовладелец!..

Филипп — один из тех, кого наши добрые классики называли горемыками, а классики злые назвали дебилами. Спор на тему определений сих вяло продолжается и поныне. Но скоро, думается мне, угаснет вовсе, потому что исчезнет причина спора. Ведь люди так поумнели!

— ...Уеду я отсюда,— продолжал Филипп.— В Печоры поеду, к брату. Брат у меня в Печорах...

И он принялся что-то рассказывать о своем брате, о Печорах, о тамошнем монастыре. Наверное, Филипп догадывался, что никому он не нужен ни там, ни здесь. Но дело даже не в этом... Дело в нем самом: что ждет он от жизни, что в ней любит, во что верит?.. Тут надо искать и причину, и следствие, и философский камень.

Меня подмывало задать ему один вопрос. И я его задал:

— Скажи, Филипп... Вот дома, я смотрю, тебе не живется. А не хотелось бы тебе взять однажды узелок, да и отправиться куда глаза глядят? В те же

Печоры, а там и дальше — хоть к Тихому океану.. Глядишь, и жизнь пройдет в дороге...

— Хорошо... — в глазах Филиппа возник какой-то интерес, и медленно, словно в глубоком раздумье, он произнес: — Эх, дорогой ты мой!.. — Немного помолчав и подмигнув мне слезящимся глазом цвета осеннего неба, добавил: — Давай в магазин сходим.

— У тебя деньги есть?

— А у тебя разве нет? — спросил он с таким искренним, таким невинным изумлением, что я немедленно согласился на магазин. Да что там, мне действительно захотелось посидеть за столом с добрым человеком, выпить водки, поговорить о разном.

Был уже вечер, когда Филипп, устав, лег на диван и крепко заснул.

Оставив его на попечение бдительного Тимофея, я вышел из дома и направился в сторону леса.

Темнело. Медленно, но неуклонно надвигалась ночь, веяло холодом. Некая сумеречная тревога распространялась в напоенном дурманом воздухе, где-то затенькал соловей, тихо шелестела вещая листва берез. Из леса, с болот, наплывал туман, он струился над высокой травой, поднимался кверху, жадно цепляясь за ветви кустов и деревьев.

В голове моей тоже был туман, какие-то малопонятные образы, мысли, слова. Все это сплеталось, множилось, меняя очертания и смысл...

Я стоял на тропинке, ведущей в лесную чашу. Над верхушками елей скользнул и скрылся ястреб-тетеревятник. Прошуршал по тропинке в кусты черники хлопотун-еж...

Вглядываясь в эти сказочные заросли, я подумал: как хорошо жить, во все веря и ни в чем не сомневаясь, не ведать, что Земля круглая, а Вселенная бесконечна. Как хорошо знать, что где-то там, высоко-высоко, далеко-далеко есть и волшебный терем, и тридевятое царство, и зачарованные замки, и загадочный глубокий грот, где обитает Истина... Верить, что мир — это храм, где хозяйничает мудрый старец — Бог, что за синим окиян-морем лежит остров счастливых людей, и что когда-нибудь, пусть и не так скоро, но мир изменится к лучшему, и наступит царство добра и справедливости, и дни потекут ручейком — светлые и легкие, и всем и каждому станет праздник бесконечный... И не будет ни пустой болтовни, ни суеты, потому что все исполнено смыслом, ибо все еще впереди...

Мне стало грустно. Закурив папиросу, я опустился на корточки и так сидел и курил неведомо сколько времени, пропитываясь сыростью тумана и запахами лесных трав. Мне казалось, что меня нет...

Закурю на туманной заре,  
В тихой дымке рождается свет.  
Грусть моя пробежит по траве  
Трясогузкой непрожитых лет...

# ПАМЯТЬ

---



Геннадий КАПЫШЕВ

*Посвящается памяти близких*

## ВАЛЯ-ВАЛЮША-ВАЛЕНТИНА

### Штрихи на портрете, за завесой времени

*Ах, война, что ж ты сделала, подлая...*

Б. Окуджава

**В** злополучном сорок первом году Валя Чернышева жила с мамой в поселке Урицк, недалеко от знаменитого ленинградского Кировского завода. Они занимали небольшую, но удобную комнату на втором этаже бревенчатого дома. Грозой всех жильцов был управдом — мужчина с рыжими усищами, всегда в военной одежде с полевой сумкой на боку и непрерывно куривший свои вонючие козьи ножки. Взрослые между собой называли его Хозяин, а ребятня — Бармалей.

Мать работала на заводе резиновых изделий «Красный треугольник», поблизости от Балтийского вокзала. Она клеила галоши, сильно уставала от загазованности воздуха и постоянной боязни задержать свою операцию на конвейере. Из-за трехсменки устроила единственную дочь в детский сад с круглосуточным режимом, поблизости от работы, на улице Шкапина. Навещала по будням, домой забирала на выходные и праздники.

В город и обратно они ездили электричкой от станции Лигово. Но было можно пользоваться и трамваем. Маршрут № 36 от Стрельны до города пролегал мимо Урицка. Однако электричкой получалось все ж таки лучше.

В начале июня, как обычно на летний период, детсад выехал в поселок Сиверский, а Валюша осталась с мамой. Марии Анисимовне, матери-одиночке, полагался отпуск в конце месяца, и она готовилась вместе с дочерью съездить в деревню Красково. Хотелось навестить родню, да и места в тех краях завидные, взять хотя бы известные Пушкинские Горы. Рассчитывали вернуться в середине августа, чтобы Валя подготовилась к школе, в первый класс принимали с девяти лет.

22 июня Чернышевы находились дома. Дочь играла в скакалочку с ребятами во дворе, а мать на кухне стирала ее бельишко, когда Бар-



малей первым услышал по радио и сообщил жильцам: «Война!» Дом всполошился, как потревоженный муравейник, пошли разговоры: кого заберут на фронт как в Финскую, долго ли продолжится беда, да и вообще...

Отпуска отменили, а находившихся в городе детей завод отправил под станцию Тосно: поначалу считалось, что подальше от Ленинграда безопаснее, но скоро выяснилось — и там могли появиться немцы.

Встревоженные слухами родители стали спешно приезжать и под расписку увозить ребят, а остальные с нетерпением поджидали мам и пап. 12 июля Валентине исполнилось девять лет, впервые в день рождения рядом не было мамы. Часть девочек уже увезли, и стало жалко себя до слез. Наконец примчалась Мария Анисимовна. Объяснила, мол, теперь приходится больше работать, отлучаться с завода можно лишь с разрешения начальства, потому задержка вышла.

Возвращались в город с вынужденными остановками: в пути немцы бомбили поезд, пассажиры разбегались врассыпную, а переждав налет — по паровозному гудку спешили забраться в вагоны. Приехали на Московский вокзал, и пока ехали на трамвае до Балтийского — Валюша заметила на улицах много военных, кое-где оконные стекла были заклеены крест-накрест бумажными лентами, как в тридцать девятом году. До дома добрались смертельно усталые, голодные, злые-презлые на проклятую немчуру.

А тем временем жизнь горожан изменилась во многом. Уже ввели продовольственные карточки, хотя суточные нормы были сносными. Детсад не работал. Мать, вместе с другими заводчанами, часто посылали на строительство противотанковых рвов и окопов. Сперва под Кингисепп, затем под Лугу и еще куда-то. Девочка день за днем оставалась сама по себе, простенькую еду готовила и разогревала на старенькой керосинке.

Дальше — больше. На заводе ввели казарменное положение, и случилось, мама отсутствовала по несколько дней сряду. Жильцы говорили о приближении немцев и срочно куда-то уезжали с детьми. Валя часто запиралась на замок в комнате, плакала, страшно одной... Долго тянулось время, как вдруг днем ворвалась Мария Анисимовна, велела дочери надеть на себя из одежды сколько сможет, быстро нахватала вещей в чемодан да узел. Электрички не ходили, бросились к трамвайным путям. Им повезло, долго ждать не пришлось. В дороге трамвай остановился, немцы начали артобстрел Кировского завода! По команде кондуктора люди высыпались из вагона, разбежались по сторонам, пережидали налет. Наконец поехали, радовались: «Пронесло!» В городе сразу на Васильевский остров, в Гавань. Там на Наличной улице жили мамина младшая сестра с мужем и двухлетней Галочкой. Тетю все называли запросто — Мотя, а ее мужа — Павел Михайлович.

Мотя — домохозяйка, отзывчива ко всем и очень уважительна к мужу. За обедом именно она наливала ему из заветного графинчика ю-

мочку водки. Галочку в ясли не отдавала, держала при себе. Чистюля, в комнате всегда порядок, все блестит. Дядя Павел — известный станочник Балтийского завода, хорошо зарабатывал и одевался, всегда при галстучке. Был строг в общении и разборчив в еде. Своим видом походил на начальника и, казалось, обо всем знал лучше других. Это он, по-родственному, сказал Чернышевым: «Вы, красавицы мои, чудом последним трамваем успели выскочить из Урицка. А то куковать бы под немцами».

Вот они-то и приютили родню в своей комнате, выделив диван для спанья. Считали, потеснились до скорой эвакуации. Однако Чернышевых не эвакуировали, наверное, не до них было. Пришлось жить в тесноте, по-свойски, и даже прописаться для получения продуктовых карточек. Их прописали без особых хлопот, ведь Мария Анисимовна продолжала работать на своем заводе, а Урицк оказался в зоне боев.

Горожан по-прежнему посылали на стройработы, которые велись даже в ночное время. Где-то там, случалось, бомбили, гибли люди и лошади. Оттуда мать пару раз возвращалась с кусками конины. Мотя приготавливала вкуснятину, но просила не говорить о конском мясе Павлуше. Он кое-чего не ел, брезговал, хорошо хоть продуктов по карточкам хватало. Но 8 сентября, всего на семьдесят восьмой день с начала войны, Ленинград оказался в кольце блокады. К тому же сразу разбомбили Бадаевские склады, черный дым пожарища видели многие, поговаривали о больших потерях продовольствия. Отныне положение горожан ухудшалось день ото дня...

Начались бомбежки и артобстрелы города, сопровождавшиеся объявлениями тревог по радио, иногда не раз в день. Неоднократно снижались нормы суточной выдачи продуктов. О конине и многом другом даже думать не приходилось. Как-то сразу в городе перевелись все собаки и кошки. Уже в ноябре рабочий получал всего 250 граммов хлеба, а служащие, иждивенцы и дети — лишь по 125. Да и хлеб тот — хлебом был по названию, на деле же — сплошные примеси неведь чего... Ленинградцы голодали, в антисанитарных условиях болели, умирали. От недоедания, кровавых поносов и прочего погибли уже тысячи и тысячи людей.

Так, еще в начале ноября слег и быстро угас дядя Павел. Ему повезло — пришли товарищи с завода, принесли с собой доски, в комнате сколотили гроб, свезли на Смоленское кладбище, захоронили в могилу. Других, кто умирал в декабре и позже, стали хоронить без гробов, а случалось, вовсе не отвозили на кладбища. Ведь кроме голода свирепствовал холод, на дворе снегопады да тридцатиградусные морозы. Любая деревяшка шла в печь, а обессилевшие родственники или соседи сами ощущали дыхание смерти, даже спали под одеялами, не снимая пальто.



Ю. Пантюхин. Блокада, память

В декабре городской транспорт стал. Мария Анисимовна уже не могла добираться до «Красного треугольника», а ближе посильной работы не нашлось, она лишилась рабочей карточки. Теперь Мотя и Галя, Валя и мать получали хлеб по самой низкой норме, по 125 граммов, но еще как-то держались... Правда, в канун Нового сорок второго года иждивенцам увеличили норму до 200, в конце января после перерегистрации карточек до 250, а в феврале до 300 граммов. Но истощенным людям этого не хватало для поддержания сил. Тем более что в жилища давно не поступала вода, электричество подавали только час-другой, да и то не всегда, домовая канализация замерзла...

Каждое утро, едва заговорит репродуктор, без Гали, втроем, торопились в булочную в надежде поскорее получить свои пайки хлеба. Так же ходили за водой на берег Финского залива. Там случалось находить какие-нибудь палки, дощечки, а однажды, по счастливой случайности, приволокли к дому обрубок бревнышка. Затем взрослые в комнате пилили из последних сил, а Валюша сидела верхом, пытаясь удержать деревце. Работа не ладилась, сестры ругали друг друга. Потом топили буржуйку, которая грела, пока горел огонь. И опять тот же холод, постоянный голод, неистребимые вши. А помыться негде, и возможности кипятить или прогладить белье не было.

И все же они вчетвером пережили страшную зиму, хотя обе женщины совсем обессилели и не могли подниматься с постели, лишь безуспешно ловили вшей. За хлебом и водой ходила одна Валентина. Продовольственные карточки на четверых она берегла пуше глаза. Специально сшила маленький холщовый мешочек с лялочкой, наподобие ладанки. Карточки — туда, лямку — на шею, мешочек — под одежду на тело.

Вскоре их постигла еще большая напасть: заболела водянкой мать и кровавой дизентерией Мотя. Валюше не раз пришлось стирать запачканное кровью белье тети в огромной воронке на побережье залива, образовавшейся после сильной апрельской бомбежки Васильевского острова. Таскать для этого воду в дом не могла.

Мотя умерла накануне майских праздников. Валентина привела дворничиху, ей предложили тетины вещи, и она на своей двухколесной тележке отвезла обернутое тело на Смоленское. Валя не смогла участвовать, сама едва на ногах. А Галочку забрали в Дом малюток и скоро эвакуировали в Сибирь, Чернышевы радовались за нее.

Положение матери ухудшалось на глазах — сильно отекало лицо, распухшее тело, вспученный огромный живот — ни встать, ни сесть... И дочь, продав оставшийся от родственников патефон, упростила, умолила участкового врача, пожилую женщину, поместить Марию Анисимовну в василеостровскую больницу. Слава Богу, удалось, и в начале июля девочка осталась в квартире одна, соседи умерли в январе.

Теперь главным в жизни Валентины стало получение хлеба как можно раньше, да посещение больной матери, хотя бы через день-два. Вско-

ре узнала о назначенной операции: врачи собирались «откачать воды». Знающие больные подсказали, мол, после этого может наступить временное улучшение, даже некоторые начинают вставать и ходить, однако через неделю-другую все ж умирают. Но почему-то операцию отложили, потом сделать не успели — больную перевели в Дом хроников имени Карла Маркса, у Смольного.

Из Гавани до Смольного далеко, и хоть уже частично работал трамвай, добираться сложно. Валюша одна, и тут подобралась очередная беда, да какая... Молодая соседка по дому начала навязчиво показывать свое расположение к одинокой девочке. Однажды, дождливым сентябрьским днем, зазвала к себе, помогла помыть голову, напоила кипятком, уложила в постель и, воспользовавшись ее болезненной дремотой, срезала мешочек с продуктовой карточкой. Слезные мольбы очнувшегося ребенка: «Отдай ради Бога, помру!» — не помогли, воровка не призналась, не вернула украденное.

В глубочайшем отчаянии Валя, от безвыходности не помня себя, оказалась на берегу залива. Там, к счастью, ее увидели молодые девчата из подсобного хозяйства какой-то организации. Девушки взяли к себе, отмыли, подкормили, затем даже устроили в 25-й Детский дом Приморского района. Тем самым хорошие люди, дай Бог им долгие годы, подарили ребенку жизнь!!

В детдоме житье — не сахар, но лучшего случиться ничего не могло. Воспитатели сообщили матери, которой все же откачали воды, и та узнала, где ее дочь. А когда поздней осенью подошло время эвакуировать хроников, то староста группы забрал Валю из детдома под расписку, доставил на вокзал, прямо к поезду.

Вот и паровоз пыхтит под парами, вагоны товарные, обычные, без всего. Второй эшелон, шестой вагон, 706 эвакуодостоверение — наконец долгожданная, спасительная эвакуация началась для Чернышевых.

\* \* \*

В группе из двадцати шести эвакуируемых ходячими оказались трое: староста — больной мужчина в возрасте, слепая пятнадцатилетняя девушка Нина да Валя. Поездом везли до Ладоги, через станцию с непонятным, но красивым названием Борисова Грива. По беспокойному, с черно-серыми волнами озеру переправили на тихом суденышке, возможно, самоходной барже. Повезло, обошлось без налетов с бомбежками и обстрелами.

На другом берегу в эвакуационном пункте еды хватало на всех, но давали не досыта, понемногу. Разъясняли, мол, с непривычки возможен заворот кишок, и тогда уж верная смерть. Но как поверить этому, когда очень хочется есть, и прибывшие просили еще, однако персонал эвакуопункта свое дело знал, не давал; зато после помывки в палатке и пропарки белья — возникло ожидание лучшего впереди.

В глубину Большой земли, на Восток, везли тоже в товарном вагоне, но с лежачими нарами и буржуйкой для обогрева. Питание выдавали на остановках эшелона по эвакуационным листам, постепенно увеличивая рацион. В основном были сухари, хлеб, горячие каши и кипяток, реже чуток сахарина.

Валентина на каждой стоянке бегала за едой и кипятком для всего вагона. Случалось, в этом участвовал староста, и иногда к ним пристраивалась слепая Нина. Несмотря на постоянную боязнь отстать от своих, Валюша все же влипла в две истории.

На одной остановке она успела сесть в свой эшелон, но в последний момент забралась в чужой вагон, а там — группа цыган. Они отобрали продукты, все говорили наперебой, жгли костер на железном листе, пели песни и не выпускали растерянную девочку. Ее нашел матрос, ехавший после ранения в тыл и ранее приметивший Валю на раздаточных пунктах. Отнял у цыган и передал отчаявшейся матери, к радости неходячих больных.

В Омске случилась история серьезнее. Из-за задержки на раздаче пайков от эшелона отстали староста, Валюша и Нина. Но железнодорожный начальник вник в положение, сделал что мог, посадил в следующий состав на открытую платформу с подбитыми танками, направленными на заводской ремонт. На Вале было пальтишко и сверху крест-накрест серый платок. Конечно, наверняка замерзнуть бы ей на ветрах-сквозняках, но прослышавший о девочках машинист взял их в паровозную будку. Когда оба эшелона застряли на большой станции, то, как в кино, в очереди за кипятком Валюша неожиданно увидела мать. От радости обе плакали. Выяснилось, Мария Анисимовна впервые поднялась, и вместе с такой же соседкой поплелась за водой и едой. Ведь в вагоне, кроме троих отставших, других ходячих и ухаживающих за больными не было. Вот уж, как говорится, не было бы счастья да несчастье помогло! Но главное, пожалуй, дорожная кормежка сказалась. Кстати, серый платок после паровозной будки стал совсем черным от угольной пыли, но на это обратили внимание только потом.

На Восток везли долго, с месяц, и лишь в конце пути эвакуируемым сообщили, что конечным пунктом будет город Новосибирск. Однако доехали туда не все, из группы умерли четыре женщины, тела снимали на ближайших остановках, а пайки, когда удавалось, делили поровну на живых. Новосибирск эшелон сразу не принял, завернули на Барнаул. Там прошли двухмесячный карантин, чуть-чуть окрепли, и только потом Чернышевы попали по назначению.

По прибытии на место всех хроников смотрели врачи, определяли кому чего впредь. Мария Анисимовна боялась остаться в больнице, оставить дочь одну в чужом городе и без всего. Ей определили работу в легком режиме с амбулаторным лечением. Удалось устроиться на фабрику форменных швейных изделий учетчицей в цех. Там дали место в

фабричном общежитии-бараке, койку в углу за занавесочкой. Питались Чернышевы скудно, но после блокадной голодухи, казалось, хорошо хоть так.

Валюша не интересовалась работой фабрики, не до того было. В школу попала с таким большим запозданием, а учиться хотелось не хуже других. Учительница попалась хорошая, занималась с детьми, не считаясь с личным временем. Декабрь сорок второго и зима сорок третьего выдалась холодными. Школьные занятия отменялись при морозах сильнее сорока, метели и снегопады в расчет не принимались совсем. Школьники ходили по тропинкам между сугробами, но иногда от общежития их подбрасывали в кузове фабричной полуторки с брезентовым тентом. Однажды на повороте опрокинулись в снег, да так, что еле вытащили. Но на удивление всем, сильно никто не пострадал. Зима была трудной во всем, а надежда на лучшее крепла, первоклашки тоже знали про Сталинград.

Поздней весной директор фабрики — сам ленинградец — направил несколько работниц с детьми в пригородное подсобное хозяйство, на летнее время. Чернышевы подкормились, спасибо ему. Да и жили, хоть в домике сарайного типа, но удобнее, чем в барачном углу. Пытались разыскать свою Галочку, на один из запросов получили ответ — умерла в сорок втором году. Жалели сильно, вспоминали Мотю и Павла Михайловича, плакали...

К осени окрепшие Чернышевы вернулись в город. Мать назначили вахтером на проходную, дочь пошла во второй класс. Из барака их перевели в другое общежитие, где в комнате на четверых уже жили три девушки, и временно только одна постель выделялась для них двоих. При трехсменном дежурстве Мария Анисимовна предпочитала ночную смену, тогда Валюша могла поспать одна. Правда, через пару месяцев повезло — соседка по комнате, хохотунья Катюша, вышла замуж, освободив им место.

На небольшую зарплату вахтера, рабочий да иждивенческий пайки Чернышевым жилось нелегко. С нетерпением ждали и наконец дождались Победы! При первой возможности ринулись в Ленинград. Ах как они радовались тогда, что пережили войну, и безвозвратно канули в прошлое блокадные беды...

\* \* \*

Первый послевоенный сорок шестой год. От жилья Чернышевых в Уришке — пустое место. Бревенчатый дом сгорел начисто, и даже печные стояки растащили, кирпич — большой дефицит. Комната Моти в Гавани, где жили с пропиской в блокаду, давно заселена другими людьми. Оставалось искать работу с жильем.

Удалось. Марию Анисимовну приняли на завод имени Ленина, вахтером, с местом в общежитии для двоих. Их поселили совместно с двумя

молодыми работницами в семнадцатиметровой комнате с мебелью — платяным шкафом, столом, двумя стульями да парой табуреток.

И опять вдвоем на одну зарплату вахтера... Пришлось Валюше после пятого класса, в сорок седьмом, поступить ученицей в ФЗУ швейной фабрики «Красная работница». Через год она трудилась на конвейере белошвейкой пятого разряда, одновременно продолжая учебу в вечерней школе. Ее зарплата — тоже невелика, на питание и одежду всегда не хватало. Однажды лучшая подруга Ира выходила замуж, а Валя не смогла пойти на свадьбу — было стыдно за свое скромное платьице...

Работа на конвейере во многом плоха — однообразие в течение рабочего дня, жесткий пооперационный лимит времени, даже оправиться можно лишь в специальный перерыв, а главное, увы, отупляет людей. Окончив школу рабочей молодежи, в пятьдесят третьем году Валюша поменяла профессию, училась и стала оператором машино-счетного бюро завода имени Ленина.

Работая вдвоем на одном заводе, Чернышевы жили в общежитии еще три года, затем получили тринадцатиметровую комнату на первом этаже дома в Невском районе. Там Валентина вместе с матерью, а периодами еще и с бабушкой, прожила больше двенадцати лет, пока не вышла замуж, и в тридцать шесть годиков, вместе с мужем въехала впервые в отдельное жилье, в кооперативную квартиру.

Мария Анисимовна, бывало, болела. С годами — все чаще. Умерла она в семьдесят шесть лет...

Валентина профессию впредь не меняла, место работы сменила всего один раз. Вышла на пенсию в установленный срок, хотя здоровье сдавало, нередко всерьез. И вот, по злой иронии судьбы, именно 27 января 2006 года, в день шестьдесят второй годовщины освобождения Ленинграда от блокады, она подверглась пятой по счету на ее веку, сложной операции, после которой в реанимационной палате оборвалась ее жизнь...

Для современных женщин возраст семьдесят три года — далеко не предел. Но, увы! Валентина Семеновна Капышева (Чернышева) уже покоится на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, вблизи матери и бабушки.

И сдается мне, не иначе как страшная ленинградская блокада настигла еще одну из своих бесчисленных жертв...



# НАСЛЕДИЕ

---



**Николай Михайлович  
КАРАМЗИН**



**Петр Яковлевич  
ЧААДАЕВ**

## Николай Михайлович КАРАМЗИН

*Карамзин Николай Михайлович (1766—1826), писатель, историк.*

*Родился 1 (12) декабря в селе Михайловка Симбирской губернии в семье помещика.*

*В 14 лет начал учиться в Московском частном пансионе профессора Шадена. В 1783 году приехал служить в Преображенский полк в Петербург. Уйдя в отставку в чине подпоручика в 1784 году, переехал в Москву.*

*В 1789 году отправился в путешествие по Европе: посетил Германию, Швейцарию, Францию, Англию.*

*Осенью 1790 г. возвратился в Москву и вскоре предпринял издание ежемесячного «Московского журнала».*

*К середине 1790-х годов Карамзин стал признанным главой русского сентиментализма, открывавшего новую страницу в русской литературе. Он был непререкаемым авторитетом для Жуковского, Батюшкова, юного Пушкина.*

*В 1802—1803 годах издавал журнал «Вестник Европы».*

*В 1803 году через посредство М. Муравьева получил официальное звание придворного историографа.*

*В 1804 году приступил к созданию «Истории государства Российского», над которой работал до конца своих дней. Смерть оборвала работу над 12-м томом. Это случилось 22 мая (3 июня) 1826 года в Петербурге.*

## **Мы... любим отечество; желаем ему благоденствия еще более, нежели славы...**

**И**стория в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего. <...>

...Простой гражданин должен читать Историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие, и Государство не разрушалось; она питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества. <...>

...История, отверзая гробы, поднимая мертвых, влагая им жизнь в сердце и слово в уста, из тления вновь созидая Царства и представляя воображению ряд веков с их отличными страстями, нравами, деяниями, расширяет пределы нашего собственного бытия; ее творческою силою мы живем с людьми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим; еще не думая о пользе, уже наслаждаемся созерцанием многообразных случаев и характеров, которые занимают ум или питают чувствительность.

Если всякая История, даже и неискусно писанная, бывает приятна, как говорит Плиний: тем более отечественная. Истинный космополит есть существо метафизическое или столь необыкновенное явление, что нет нужды говорить об нем, ни хвалить, ни осуждать его. Мы все граждане, в Европе и в Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каждого тесно связана с отечеством: любим его, ибо любим себя. Пусть греки, римляне пленяют воображение: они принадлежат к семейству рода человеческого и нам не чужие по своим добродетелям и слабостям, славе и бедствиям; но имя русское имеет для нас особенную прелесть: сердце мое еще сильнее бьется за Пожарского, нежели за Фемистокла или Сципиона. Всемирная История великими воспоминаниями украшает мир для ума, а Российская украшает отечество, где живем и чувствуем. Сколь привлекательны берега Волхова, Днепра, Дона, когда знаем, что в глубокой древности на них происходило!

Кроме особенного достоинства для нас, сынов России, ее летописи имеют общее.

Взглянем на пространство сей единственной Державы: мысль цепенеет; никогда Рим в своем величии не мог равняться с нею, господствуя от Тибра до Кавказа, Эльбы и песков африканских. Не удивительно ли, как земли, разделенные вечными преградами естества, неизмеримыми пустынями и лесами непроходимыми, хладными и жаркими климатами, как Астрахань и Лапландия, Сибирь и Бессарабия, могли составить одну Державу с Москвою? Менее ли чудесна и смесь ее жителей, разноплеменных, разнovidных и столь удаленных друг от друга в степенях образования? Подобно Америке, Россия имеет своих диких; подобно другим странам Европы, являет плоды долговременной гражданской жизни. Не надобно быть русским: надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народа, который смелостию и мужеством снискал господство над девятою частию мира, открыл страны, никому дотоле неизвестные, внеся их в общую систему географии, истории, и просветил Божественною Верою, без насилия, без злодейств, употребленных другими ревнителями Христианства в Европе и в Америке, но единственно примером лучшего. <...>

...Смело можем сказать, что некоторые случаи, картины, характеры нашей Истории любопытны не менее древних. Таковы суть подвиги

## НАСЛЕДИЕ

---

Святослава, гроза Батыева, восстание россиян при Донском, падение Новгорода, взятие Казани, торжество народных добродетелей во время междоусобия. Великаны сумрака, Олег и сын Игорев; простосердечный витязь, слепец Василько; друг отечества, благолюбивый Мономах; Мстиславы Храбрые, ужасные в битвах и пример незлобия в мире; Михаил Тверский, столь знаменитый великодушною смертию, злополучный, истинно мужественный, Александр Невский; Герой юноша, победитель Мамаев, в самом легком начертании сильно действуют на воображение и сердце. Одно государствование Иоанна III есть редкое богатство для истории: по крайней мере не знаю Монарха достойнейшего жить и сиять в ее святилище. Лучи его славы падают на колыбель Петра — и между сими двумя самодержцами удивительный Иоанн IV, Годунов, достойный своего счастья и несчастья, странный Лжедимитрий, и за сонмом доблестных патриотов, бояр и граждан, наставник трона, Первосвятитель Филарет с Державным сыном, светоносцем во тьме наших государственных бедствий, и Царь Алексей, мудрый отец Императора, коего назвала Великим Европа. Или вся Новая История должна безмолвствовать, или Российская иметь право на внимание. <...>

...Самая прекрасная выдуманная речь безобразит Историю, посвященную не славе писателя, не удовольствию читателей и даже не мудрости нравоучительной, но только истине, которая уже сама собою делается источником удовольствия и пользы.

Как естественная, так и гражданская история не терпит вымыслов, изображая, что есть или было, а не что быть могло. <...>

...В повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения: там источники Поэзии! <...>

...Историк не летописец: последний смотрит единственно на время, а первый на свойство и связь деяний: может ошибиться в распределении мест, но должен всему указать свое место. <...>

...Мы одно любим, одного желаем: любим отечество; желаем ему благоденствия еще более, нежели славы; желаем, да не изменится никогда твердое основание нашего величия; да правила мудрого Самодержавия и Святой Веры более и более укрепляют союз частей; да цветет Россия... по крайней мере долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой!

## Почему нужно читать Карамзина

Скажут: литератор-Карамзин устарел. Он донельзя скучен со своим вычурным языком, фразеологическими оборотами старой доброй екатерининской эпохи, от которой мы находимся на таком же расстоянии, как Марс от Луны, он весь пропах нафталином, словно бабушкин сундук, и безнадежно отстал от XXI века...

Скажут также: Карамзин ушел в прошлое и как историк — за прошедшее время плотно наслоились на его «Историю» новые научные течения и новые исторические школы, включая, конечно же, современные, которые уж точно знают, как все было на самом деле и которым опять-таки чужды и монархические пристрастия, и многочисленные литературные отступления Николая Михайловича...

Много чего скажут.

И во многом будут правы.

Да, карамзинская трактовка «преданий старины глубокой» вряд ли удовлетворит сегодня вдохновенного последователя теории прогресса и демократии. Да, чудовищно гипотрофированная с точки зрения современного читателя, не знающего снисхождения к любому проявлению чувства, сентиментальность, которая была в самой литературной природе не только Карамзина, но и всех авторов того времени («Вертеры» прочно владели думами), в наши дни обречена на дальние полки библиотек, ибо вряд ли кто-нибудь всерьез сейчас отнесется к страданиям бедной Лизы, — правят бал новые песни.

Все это, конечно, так.

Но, тем не менее, тем не менее...

«О бедном гусаре замолвите слово...» Прочитайте Карамзина хотя бы потому, что любой филолог скажет вам: вся русская классическая литература вышла из его наивной «Лизы» — именно на ней были взращены Пушкин и Гоголь, Толстой и Достоевский...

Любой историк не станет отрицать — карамзинская «История» явилась повивальной бабкой будущей российской исторической науки.

Согласитесь — этого более, чем достаточно.

Почтите Карамзина — откройте его.

А теперь краткая биография нашего героя, поучительная и любопытная.

Прямой свидетель одного из самых грозных, самых судьбоносных событий в истории человечества — Великой французской революции, — человек, которому суждено было видеть последствия

этого грандиозного взрыва, затронувшего не только Европу, но и весь мир, родоначальник современной русской словесности, ученый, философ, остролов и прочая, прочая, прочая, родился в центре провинциальной российской жизни, в ее тигле — близ Волги и близ Симбирска в семье потомственного дворянина 1 (12) декабря 1766 года.

Получил домашнее образование (первый учитель — сельский дьяк, пристрастивший мальчика к чтению церковных книг). С детства впитал в себя весь уклад тогдашней неспешной русской жизни (о нем впоследствии вспоминал с трогательностью и любовью).

Был горд, подвижен, шаловлив.

Прикипел и к Библии, и к светской литературе — в частности, к авантурным романам. И то и другое разожгло в мальчике огонь воображения — первое условие становления творческой личности.

В тринадцать лет оказался в пансионе профессора Московского университета И. М. Шадена, умницы и гуманиста (в Москву далеко-видно отправил мальчика его овдовевший отец).

Не удивительно, что уже в таком возрасте Карамзин посещал занятия в университете и приобщался к знаниям, совершенствуясь, прежде всего, в иностранных языках и доводя их знание до совершенства. Кроме того, его ожидали здесь философия, история, и, конечно же, литература.

Мечтам о посещении заграничных университетов (прежде всего Лейпцигского) тогда не суждено было сбыться — подобно пушкинскому Петруше Гриневу Николенька отправлен на военную службу, правда, не в оренбургскую тьму-таракань, а в Санкт-Петербург, в один из престижнейших полков для молодых дворян — Преображенский.

Жизнь столицы, конечно же, поразила провинциала: балы, смотры, петербургские литераторы, в круг которых ввел молодого военного его дальний родственник И. И. Дмитриев, поэт и видный славянофил.

Николай лихо отплясывал (по свидетельству современников являлся одним из первых танцоров полка), флиртовал, веселился, как и положено молодому, недурному собой, остроумному гвардейцу, — однако литературные занятия все крепче привязывают его к себе.

Они явились не последним аргументом в пользу скорой отставки — честолюбивый, полный замыслов Карамзин возвращается в родное гнездо. Он там не сильно скучает. Первые опыты с пером и бумагой перемежаются с поездками на театральные и музыкальные вечера. Именно в Симбирске сталкивается со смышленным дворянином директором Московского университета И. П. Тургенев (литератор, масон), и уговаривает своего собеседника переехать в Москву.

Карамзин внял совету — в старой столице он продолжает образование, сближается с масонами, оттачивает и совершенствует литературное мастерство. И вот — наконец-то заграница.

В 1789 и 1790 гг. (знаменательный для мировой истории час!) путешественник знакомится с Германией, Швейцарией, Францией, Англией, посещая музеи, театры, встречаясь с местными знаменитостями, жадно впитывая в себя многовековую европейскую культуру, — от ее философии до архитектуры и музыки (не удивительно, что в Кенигсберге Карамзин нанес визит знаменитому философу Э. Канту и увлеченно беседовал с ним о нравственном законе). Взорвавшаяся революция во Франции потрясла Карамзина. Он — в Париже, в эпицентре событий, о которых историки впоследствии будут говорить с таким придыханием, — бродит по улицам, наблюдает, записывает. Писателя можно увидеть и в Национальной ассамблее, и в революционных клубах, и в лабораториях ученых. В конце концов неутомимый очевидец французской драмы знакомится с одной из самых знаменитых и зловещих фигур той эпохи — Максимилианом Робеспьером (характер последнего, убежденность и крайняя принципиальность произвели на Карамзина неизгладимое впечатление). Явившись свидетелем не только торжества революции, но и ее немыслимой жестокости, на всю жизнь «второй Нестор нашей истории» выносит твердое убеждение — самое страшное, что только может быть, — это торжество бушующей черни, «самовластие народа». Уже тогда задумываясь над будущим России, очевидец подобного «самовластия» и, как прямое следствие оно, беспрерывно работающих гильотин, выносит твердый вердикт: страну от подобных напастей спасет только сильное централизованное государство с самодержавием во главе.

Благополучно возвратившись на родину, отойдя от впечатлений (их оказалось более, чем достаточно), Карамзин с головой уходит в литературную деятельность: создает знаменитый «Московский журнал», в котором печатает свои первые значимые произведения — «Бедную Лизу» и «Письма русского путешественника», уделяет внимание критическим рецензиям, является редактором, переводчиком, выступает на страницах журнала в защиту арестованного масона Новикова (ода «К милости», обращенная к самой Екатерине II). Именно в «Письмах» обнаруживается страсть Карамзина прежде всего к отечественной истории — вне всякого сомнения, она явилась той искрой, из которой возгорелось в недалеком будущем пламя его желания в двенадцати полновесных томах осмыслить путь своего многострадального народа. Задумывая создать «перечень славных дел», Карамзин с восторгом отзывается о трудах своих знаменитых предшественников — Тацита и Юма, Робертсона и Гиббона.

В то же самое время его «Бедная Лиза» имеет ошеломляющий успех — дело доходит до настоящей «лизомании». Многие девушки, подражая героине повести, подобным образом решают свести счеты с жизнью — тем более, водоемов в России бесчисленное множество (увы, некоторых не спасают), сам же пруд возле Симонова монастыря в Москве, скрывший «под водами своими» Лизу, становится не только местом паломничества — несчастные влюбленные пытаются совершить роковой прыжок именно в него.

После ряда повестей («Юлия», «Остров Борнгольм», «Наталья, боярская дочь») Карамзин становится самым популярным в читающей России автором — закормленная иностранными переводами публика с восторгом принимает истории «из русской жизни». Несмотря на более чем красноречивое молчание венценосной императрицы (кстати, очень любившей литературу и всегда отмечавшую выходящие новинки) по поводу творчества Николая Михайловича, Карамзин храбро продолжает печатать в «Московском журнале» весьма скользкие для самодержавия материалы. По словам самого храбреца, в те годы он «ходил под черными облаками». Вступление на престол Павла I не особо выправило положение.

Именно в те годы Карамзин отступает от сочинительства, все чаще обращаясь к историческим источникам, интересуясь рукописями, проводя часы в кругу собирателей и ценителей русской старины (А. И. Мусин-Пушкин и другие единомышленники). Создание монументального труда, которому он посвятил огромную часть своей жизни и которое, в конечном счете, его обессмертило, было не за горами. Тем более, «черные облака» рассеиваются — Александр I, поначалу Карамзина «не замечавший», не без подачи друзей и почитателей творчества последнего проявляет благосклонность к нему и к его историко-литературным опытам. Именным указом от 31 октября 1803 года дворянину Карамзину даровано звание официального придворного историографа с назначенным жалованьем — две тысячи рублей в год.

С этого времени Карамзин и начинает свое добровольное затворничество. Окончательно отойдя от литературной деятельности, он запирается в кабинете для того, чтобы «подобно Нестору» начать титаническую работу — «Историю государства российского», — и лишь «гроза двенадцатого года» отрывает автора первого в России грандиозного научного труда от любимого занятия. Находящийся в то время в Москве Карамзин вновь очевидец событий. В который раз Россия находится на краю гибели: воочию наш затворник наблюдает грозную поступь истории, становится свидетелем невероятных страданий и невиданного героизма. Вместе с жителями и отступающими после Бородина войсками Кутузова он покидает горящий город, пытается вступить в ополчение. Трагические события войны



потрясают историографа. Наполеоновское нашествие являет ему свои ужасные картины словно бы для того, чтобы еще более взволнованней, еще более ярче отобразил он затем удивительную и трагическую судьбу страны.

Карамзин торопится оплатить свой долг перед Родиной: в феврале 1818 года выпущены в свет первые восемь томов — небольшой тираж (три тысячи экземпляров) расходуется в течение месяца, что для тогдашней читающей России было абсолютным скоростным рекордом. Вскоре выходят еще три тома — автора ждет грандиозный успех: «Историю» читают «и верхи и низы», о ней спорят во всех великосветских и литературных салонах, ее срочно переводят на иностранные языки. Император окончательно приближает к себе знаменитого литератора — Карамзин поселяется в Царском Селе. И продолжает работу.

Последний год жизни омрачен еще одной отечественной трагедией — восстанием декабристов. И вновь он свидетель — 14 декабря 1825 года находится на Сенатской площади, с болью наблюдает за последствиями неудавшегося офицерского бунта. Здоровье русского Тацита не выдерживает — простудившийся в тот страшный день, Карамзин так и не смог поправиться: 22 мая (3 июня) 1826 года его не стало.

**Илья БОЯШОВ**

## Петр Яковлевич ЧААДАЕВ

Чаадаев, Петр Яковлевич (1794–1856), русский философ, публицист. Родился 27 мая (7 июня) 1794 года в Москве в дворянской семье. Дедом Чаадаева по линии матери был известный историк и публицист князь М. М. Щербатов. После ранней смерти родителей Чаадаева воспитывали тетя и дядя. В 1808 году юный Петр поступил в Московский университет. В 1811 году оставил университет и вступил в гвардию. Участвовал в Отечественной войне 1812 года, в заграничном походе русской армии. В 1814 году в Кракове был принят в масонскую ложу.

Вернувшись в Россию, Чаадаев продолжил военную службу в качестве корнета лейб-гвардии гусарского полка. В 1816 году в Царском Селе он познакомился с лицеистом А. С. Пушкиным и вскоре стал любимым другом и учителем молодого поэта. Их постоянное общение было прервано в 1820 году в связи с южной ссылкой Пушкина. Однако переписка и встречи продолжались всю жизнь. 19 октября 1836 года Пушкин написал Чаадаеву знаменитое письмо, в котором спорил со взглядами на предназначение России, высказанными Чаадаевым в Философическом письме.

В 1821 году Чаадаев неожиданно для всех отказался от военной и придворной карьеры, вышел в отставку. В 1823 году отправился в поездку по Европе. В Германии познакомился с философом Ф. Шеллингом, с представителями различных религиозных течений.

В 1826 году Чаадаев вернулся в Россию и, поселившись в Москве, несколько лет жил отшельником. Затем начал вести активную общественную жизнь, появляясь в светских салонах и высказываясь по актуальным вопросам истории и современности.

Одним из способов распространения своих идей Чаадаев сделал частные письма. В 1836 году он опубликовал в журнале «Телескоп» свое первое «Философическое письмо», работу над которым (оригинал был написан по-французски в виде ответа Е. Пановой) начал еще в 1828 году. Это была единственная прижизненная публикация Чаадаева. Всего им было написано восемь «Философических писем» (последнее в 1831 году). Чаадаев изложил в них свои историософские взгляды.

Публикация первого «Философического письма» стала важнейшим этапом в формировании русского исторического самосознания. Жан-дармский генерал Перфильев донес своему начальнику Бенкендорфу о всеобщем негодовании, вызванном чаадаевской статьей. Николай I объявил творчество автора «дерзостной бессмыслицей, достойной умалишенного». Чаадаев был официально объявлен сумасшедшим и обречен на отшельничество в своем доме на Басманной улице, где его посещал врач, ежемесячно докладывавший о его состоянии царю.

В такой атмосфере Чаадаевым была написана статья «Апология сумасшедшего» (1836–1837), задуманная как своеобразное оправдание перед правительством и обществом, как разъяснение особенностей своего патриотизма, своих взглядов на высокое предназначение России.

Умер Чаадаев в Москве 14 (26) апреля 1856 года.

## Размышления о русском народе

(отрывок из «Философических писем»)

<...>  
У всех народов есть период бурных волнений, страстного беспокойства, деятельности без обдуманых намерений. Люди в такое время скитаются по свету и дух их блуждает. Это пора великих побуждений, великих свершений, великих страстей у народов. Они тогда неистовствуют без ясного повода, но не без пользы для грядущих поколений. Все общества прошли через такие периоды, когда вырабатываются самые яркие воспоминания, свои чудеса, своя поэзия, свои самые сильные и плодотворные идеи. В этом и состоят необходимые общественные устои. Без этого они не сохранили бы в своей памяти ничего, что можно было бы полюбить, к чему пристраститься, они были бы привязаны лишь к праху земли своей. Эта увлекательная эпоха в истории народов, это их юность; это время, когда всего сильнее развиваются их дарования, и память о нем составляет отраду и поучение их зрелого возраста. Мы, напротив, не имели ничего подобного. Сначала дикое варварство, затем грубое суеверие, далее иноземное владычество, жестокое и унижительное, дух которого национальная власть впоследствии унаследовала, — вот печальная история нашей юности. Поры бьющей через край деятельности, кипучей игры нравственных сил народа — ничего подобного у нас не было. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была наполнена тусклым и мрачным существованием без силы, без энергии, одушевляемом только злодеяниями и смягчаемом только рабством. Никаких чарующих воспоминаний, никаких пленительных образов в памяти, никаких действенных наставлений в национальной традиции. Окиньте взором все прожитые века, все занятые нами пространства, и вы не найдете ни одного приковывающего к себе воспоминания, ни одного почтенного памятника, который бы властно говорил о прошедшем и рисовал его живо и картинно. Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя. И если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица.

Настоящее развитие человеческого существа в обществе еще не началось для народа, пока жизнь не стала в нем более упорядоченной, более легкой, более приятной, чем в неопределенности первой поры. Пока общества еще колеблются без убеждений и без правил даже и в повседневных делах и жизнь еще совершенно не упорядочена, как можно ожидать созревания в них зачатков добра? Пока это все еще хаотическое брожение предметов нравственного мира, подобное тем переворотам в истории земли, которые предшествовали современному состоянию нашей планеты в ее теперешнем виде. Мы до сих пор еще в таком положении.

Первые наши годы, протекшие в неподвижной дикости, не оставили никакого следа в нашем уме и нет в нас ничего лично нам присущего, на что могла бы опереться наша мысль; выделенные по странной воле судьбы из всеобщего движения человечества, не восприняли мы и традиционных идей человеческого рода. А между тем именно на них основана жизнь народов; именно из этих идей вытекает их будущее и происходит их нравственное развитие. Если мы хотим подобно другим цивилизованным народам иметь свое лицо, необходимо как-то вновь повторить у себя все воспитание человеческого рода. Для этого мы имеем историю народов и перед нами итоги движения веков. Без сомнения, эта задача трудна и одному человеку, пожалуй, не исчерпать столь обширного предмета; однако, прежде всего надо понять в чем дело, в чем заключается это воспитание человеческого рода и каково занимаемое нами в общем строе место.

Народы живут только сильными впечатлениями, сохранившимися в их умах от прошедших времен, и общением с другими народами. Этим путем каждая отдельная личность ощущает свою связь со всем человечеством.

В чем заключается жизнь человека, говорит Цицерон, если память о протекших временах не связывает настоящего с прошлым? Мы же, явившись на свет как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, предшественниками нашими на земле, не храним в сердцах ничего из поучений, оставленных еще до нашего появления. Необходимо, чтобы каждый из нас сам пытался связать порванную нить родства. То, что у других народов является просто привычкой, инстинктом, то нам приходится вбивать в свои головы ударом молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. Это естественное последствие культуры, всецело заимствованной и подражательной. У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние

идеи выметаются новыми, потому, что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда. Мы воспринимаем только совершенно готовые идеи, поэтому те неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т. е. по линии, не приводящей к цели. Мы подобны тем детям, которых не заставили самих рассуждать, так что, когда они вырастают, своего в них нет ничего; все их знание поверхностно, вся их душа вне их. Таковы же и мы.

Народы — существа нравственные, точно так, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как людей воспитывают годы. Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру. Конечно, не пройдет без следа и то наставление, которое нам суждено дать, но кто знает день, когда мы вновь обречем себя среди человечества и сколько бед испытаем мы до свершения наших судеб?

Народы Европы имеют общее лицо, семейное сходство. Несмотря на их разделение на ветви латинскую и тевтонскую, на южан и северян, существует общая связь, соединяющая их всех в одно целое, явная для всякого, кто углубится в их общую историю. Вы знаете, что еще сравнительно недавно вся Европа носила название Христианского мира и слово это значилось в публичном праве. Помимо общего всем характера, каждый из народов этих имеет свой особый характер, но все это только история и традиция. Они составляют идейное наследие этих народов. А каждый отдельный человек обладает своей долей общего наследства, без труда, без напряжения подбирает в жизни рассеянные в обществе знания и пользуется ими. Проведите параллель с тем, что делается у нас, и судите сами, какие элементарные идеи мы можем почерпнуть в повседневном обиходе, чтобы ими так или иначе воспользоваться для руководства в жизни? И заметьте, что речь идет здесь не об учености, не о чтении, не о чем-то литературном или научном, а просто о соприкосновении сознаний, о мыслях, которые охватывают ребенка в колыбели, окружают его среди игр, которые нашептывает, лаская, его мать, о тех, которые в форме различных чувств проникают до мозга его костей вместе с воздухом, которым он дышит, и которые образуют его нравственную природу ранее выхода в свет и появления в обществе. Хотите знать, что это за мысли? Это мысли о долге, справедливости, праве, порядке. Они происходят от тех самых событий, которые создали там общество, они образуют составные элементы социального мира тех стран. Вот она, атмосфера Запада,

это нечто большее, чем история или психология, это физиология европейского человека. А что вы видите у нас?

Не знаю, можно ли вывести из сказанного сейчас что-либо вполне бесспорное и построить на этом непреложное положение; но очевидно, что на душу каждой отдельной личности из народа должно сильно влиять столь странное положение, когда народ этот не в силах сосредоточить своей мысли на таком ряде идей, которые постепенно развертывались в обществе и понемногу вытекали одна из другой, когда все его участие в общем движении человеческого разума сводится к слепому, поверхностному, очень часто бесполовому подражанию другим народам. Вот почему... всем нам не хватает какой-то устойчивости, какой-то последовательности в уме, какой-то логики. Силлогизм Запада нам незнаком. В лучших головах наших есть нечто, еще худшее, чем легковесность. Лучшие идеи, лишённые связи и последовательности, как бесплодные заблуждения парализуются в нашем мозгу. В природе человека теряться, когда он не находит способа связаться с тем, что было до него и что будет после него; он тогда утрачивает всякую твердость, всякую уверенность; не руководимый ощущением непрерывной длительности, он чувствует себя заблудившимся в мире. Такие растерянные существа встречаются во всех странах; у нас это общее свойство. Тут вовсе не то легкомыслие, в котором когда-то упрекали французов и которое, впрочем, было не чем иным, как легким способом постигать вещи, что не исключало ни глубины, ни широты ума, вносило столько прелести и обаяния в обращение; тут беспечность жизни без опыта и предвидения, не имеющая отношения ни к чему, кроме призрачного существования личности, оторванной от своей среды, не считающейся ни с честью, ни с успехами какой-либо совокупности идей и интересов, ни даже с родовым наследием данной семьи и со всеми предписаниями и перспективами, которые определяют и общественную и частную жизнь в строе, основанном на памяти о прошлом и на тревоге за будущее. В наших головах нет решительно ничего общего, все там обособлено и все там шатко и неполно. Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, неуверенное, напоминающее отличие народов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы. В чужих краях, особенно на Юге, где люди так одушевлены и выразительны, я столько раз сравнивал лица своих земляков с лицами местных жителей и бывал поражен этой немотой наших лиц.

Иностранцы ставили нам в заслугу своего рода беспечную отвагу, особенно замечательную в низших классах народа; но имея возможность наблюдать лишь отдельные черты народного характера, они не могли судить о нем в целом. Они не заметили, что то самое начало, которое делает нас подчас столь отважными, постоянно ли-

шает нас глубины и настойчивости; они не заметили, что свойство, делающее нас столь безразличными к превратностям жизни, вызывает в нас также равнодушие к добру и злу, ко всякой истине, ко всякой лжи, и что именно это и лишает нас тех сильных побуждений, которые направляют нас на путях к совершенствованию; они не заметили, что именно вследствие такой ленивой отваги, даже и высшие классы, как ни прискорбно, не свободны от пороков, которые у других свойственны только классам самым низшим; они, наконец, не заметили, что если мы обладаем некоторыми достоинствами народов молодых и отставших от цивилизации, то мы не имеем ни одного, отличающего народы зрелые и высококультурные. Я, конечно, не утверждаю, что среди нас одни только пороки, а среди народов Европы одни добродетели, избави Бог. Но я говорю, что для суждения о народах надо исследовать общий дух, составляющий их сущность, ибо только этот общий дух способен вознести их к более совершенному нравственному состоянию и направить к бесконечному развитию, а не та или другая черта их характера.

Массы подчиняются известным силам, стоящим у вершин общества. Непосредственно они не размышляют. Среди них имеется известное число мыслителей, которые за них думают, которые дают толчок коллективному сознанию нации и приводят ее в движение. Незначительное меньшинство мыслит, остальная часть чувствует, в итоге же получается общее движение. Это справедливо для всех народов земли; исключения составляют только некоторые одичавшие расы, которые сохранили из человеческой природы один только внешний облик. Первобытные народы Европы, кельты, скандинавы, германцы, имели своих друидов, своих скальдов, своих бардов, которые на свой лад были сильными мыслителями. Взгляните на народы северной Америки, которых искореняет с таким усердием материальная цивилизация Соединенных Штатов: среди них имеются люди, удивительные по глубине. А теперь, я вас спрошу, где наши мудрецы, где наши мыслители? Кто из нас когда-либо думал, кто за нас думает теперь?

А между тем, раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны бы были сочетать в себе два великих начала духовной природы — воображение и разум, и объединить в нашей цивилизации историю всего земного шара. Не эту роль предоставило нам провидение. Напротив, оно как будто совсем не занималось нашей судьбой. Отказывая нам в своем благодетельном воздействии на человеческий разум, оно предоставило нас всецело самим себе, не пожелало ни в чем вмешиваться в наши дела, не пожелало ни чему нас научить. Опыт времен для нас не существует. Века и поколения протекли для нас бесплодно. Глядя

на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет. Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили. Начиная с самых первых мгновений нашего социального существования, от нас не вышло ничего пригодного для общего блага людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина не была выдвинута из нашей среды; мы не дали себе труда ничего создать в области воображения и из того, что создано воображением других, мы заимствовали одну лишь обманчивую внешность и бесполезную роскошь.

Удивительное дело! Даже в области той науки, которая все охватывает, наша история ни с чем не связана, ничего не объясняет, ничего не доказывает. Если бы орды варваров, потрясших мир, не прошли прежде нашествия на Запад по нашей стране, мы едва были бы главой для всемирной истории. Чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера. Когда-то великий человек вздумал нас цивилизовать и для того, чтобы приохотить к просвещению, кинул нам плащ цивилизации; мы подняли плащ, но к просвещению не прикоснулись. В другой раз другой великий монарх, приобщая нас к своему славному назначению, провел нас победителями от края до края Европы; вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой одни только дурные идеи и губительные заблуждения, последствием которых было неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека. В крови у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс. Одним словом, мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его; пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке. Я не перестаю удивляться этой пустоте, этой удивительной оторванности нашего социального бытия. В этом, наверное, отчасти повинна наша непостижимая судьба. Но есть здесь еще, без сомнения, и доля человеческого участия, как во всем, что происходит в нравственном мире. Спросим снова историю: именно она объясняет народы.

В то время, когда среди борьбы между исполненным силы варварством народов Севера и возвышенной мыслью религии воздвигалось здание современной цивилизации, что делали мы? По воле роковой судьбы мы обратились за нравственным учением, которое должно было нас воспитать, к растленной Византии, к предмету глубокого презрения этих народов. Только что перед тем эту семью



похитил у вселенского братства один честолюбивый ум; и мы восприняли идею в столь искаженном людской страстью виде. В Европе все тогда было одушевлено животворным началом единства. Все там из него происходило, все к нему сходилось. Все умственное движение той поры только и стремилось установить единство человеческой мысли, и любое побуждение исходило из властной потребности найти мировую идею, эту вдохновительницу новых времен. Чуждые этому чудотворному началу, мы стали жертвой завоевания. И когда, затем, освободившись от чужеземного ига, мы могли бы воспользоваться идеями, расцветшими за это время среди наших братьев на Западе, мы оказались отторгнутыми от общей семьи, мы подпали рабству, еще более тяжкому, и притом освященному самим фактом нашего освобождения.

Сколько ярких лучей тогда уже вспыхнуло среди кажущегося мрака, покрывающего Европу. Большинство знаний, которыми ныне гордится человеческий ум, уже угадывалось в умах; характер нового общества уже определился и, обращаясь назад к языческой древности, мир христианский снова обрел формат прекрасного, которых ему еще недоставало. До нас же, замкнувшихся в нашем расколе, ничего из происходившего в Европе не доходило. Нам не было никакого дела до великой всемирной работы. Выдающиеся качества, которыми религия одарила современные народы и которые в глазах здравого смысла ставят их настолько выше древних, насколько последние выше готтентотов или лопарей; эти новые силы, которыми она обогатила человеческий ум; эти нравы, которые под влиянием подчинения безоружной власти стали столь же мягкими, как ранее они были жестоки, — все это прошло мимо нас. Вопреки имени христиан, которое мы носили, в то самое время, когда христианство величественно шествовало по пути, указанному божественным его основателем, и увлекало за собой поколения, мы не двигались с места. Весь мир перестраивался заново, у нас же ничего не созидалось: мы по-прежнему ютились в своих лачугах из бревен и соломы. Словом, новые судьбы человеческого рода не для нас свершались. Хотя мы и христиане, не для нас созревали плоды христианства.

Я вас спрашиваю: не нелепость ли господствующее у нас предположение, будто этот прогресс народов Европы, столь медленно совершившийся и притом под прямым и явным воздействием одной нравственной силы, мы можем себе сразу усвоить, даже не потрудившись узнать, как он совершился?

<...>

...Все народы Европы, подвигаясь из века в век, шли рука об руку. Что бы они сейчас ни делали, каждый по-своему, они все же постоянно сходятся на одном и том же пути. Чтобы понять семейное

сходство в развитии этих народов, не надо даже изучать историю: читайте только Тасса и вы увидите все народы распростертыми у подножия стен Иерусалима. Вспомните, что в течение пятнадцати веков у них был только один язык при обращении к Богу, только один нравственный авторитет, только одно убеждение; вспомните, что в течение пятнадцати веков в один и тот же год, в один и тот же день, в один и тот же час, в одних и тех же выражениях они возносили свой голос к Верховному Существо, прославляя его в величайшем из его благодеяний: дивное созвучие, в тысячу раз более величественное, чем все гармонии физического мира. После этого ясно, что если та сфера, в которой живут европейцы и которая одна лишь может привести род человеческий к его конечному назначению, есть результат влияния, произведенного на них религией, и ясно, что если слабость наших верований или несовершенство нашего вероучения удерживали нас вне этого всеобщего движения, в котором социальная идея христианства развилась и получила определенное выражение, а мы были отнесены к числу народов, которым суждено использовать воздействие христианства во всей силе лишь косвенно и с большим опозданием, то необходимо стремиться всеми способами оживить наши верования и наше воистину христианское побуждение, ибо ведь там все совершило христианство. <...>

Вся история нового общества происходит на почве убеждений. Значит, это настоящее воспитание. Утвержденное с самого начала на этой основе, новое общество двигалось вперед лишь под влиянием мысли. Интересы в нем всегда следовали за идеями и никогда им не предшествовали. В этом обществе постоянно из убеждений создавались интересы, никогда интересы не вызывали убеждений. Все политические революции были там по сути революциями нравственными. Искали истину и нашли свободу и благоденствие. Только так объясняется исключительное явление нового общества и его цивилизации; иначе в нем ничего нельзя было бы понять.

Религиозные гонения, мученичества, распространение христианства, ереси, соборы: вот события, заполняющие первые века. Все достижения данной эпохи, не исключая и вторжения варваров, целиком связываются с младенческими усилиями нового духа. Образование иерархии, сосредоточение духовной власти и продолжение распространения религии в странах севера — вот чем была наполнена следующая эпоха. Наступает затем высший восторженный подъем религиозного чувства и упрочение духовной власти. Философское и литературное развитие сознания и улучшение нравов под влиянием религии заканчивают эту историю, которую можно назвать священной, подобно истории древнего избранного народа. Наконец, и нынешнее состояние обществ определяется религиоз-

ной реакцией, новым толчком, сообщенным человеческому духу религией. Итак, главный, можно сказать единственный интерес у новых народов заключался лишь в убеждении. Все интересы — материальные, положительные, личные — поглощались этим интересом.

Я знаю, вместо преклонения перед таким чудесным порывом человеческой природы к возможному совершенству, его называли фанатизмом и суеверием. Но что бы там ни говорили, судите сами, какое глубокое впечатление должно было оставить на характере этих народов социальное развитие, целиком вызванное, как в добре, так и во зле, одним чувством. Пускай поверхностная философия сколько угодно шумит по поводу религиозных войн, костров, зажженных нетерпимостью; что касается нас, мы можем только завидовать судьбе народов, которые в этом столкновении убеждений, в этих кровавых схватках в защиту истины создали себе мир понятий, какого мы не можем себе даже и представить, а не то что перенестись туда телом и душою, как мы на это притязаем.

Повторю еще раз: разумеется, в странах Европы не все исполнено ума, добродетели, религии, совсем нет. Но все там таинственно подчинено силе, безраздельно царившей на протяжении столетий; все является результатом того продолжительного сцепления актов и идей, которым создано теперешнее состояние общества, и вот, между прочим, тому пример. Народ, личность которого ярче всех обозначилась, учреждения которого всегда более отражают новый дух, — англичане, — собственно говоря, не имеют истории, помимо церковной. Последняя их революция, которой они обязаны своей свободой и процветанием, а также и вся последовательность событий, приведших к этой революции, начиная с Генриха VIII, не что иное как религиозное развитие. Во всем этом периоде интересы собственно политические проявлялись лишь в качестве второстепенных побуждений, а подчас они совершенно исчезали или же приносились в жертву убеждениям. И когда я пишу эти строки, опять-таки религиозный вопрос волнует эту избранную страну. Да и вообще, какой из народов Европы не нашел бы в своем национальном самосознании, если бы удосужился поискать, этой особой черты, которая, как святой завет, была постоянным животворным началом, душой его социального бытия во все продолжение его существования.

Действие христианства отнюдь не ограничивается его немедленным и прямым влиянием на душу людей. Сильнейшее воздействие, которое оно призвано оказать, осуществляется в множестве нравственных, умственных и социальных комбинаций, где полная свобода человеческого духа должна непременно найти неограниченный простор. Итак, понятно, что все совершившееся с первого дня

## НАСЛЕДИЕ

---

нашей эры или, вернее, с того момента, как Спаситель мира сказал своим ученикам: «Идите, проповедуйте Евангелие всякой твари», заключается целиком, со всеми нападками на христианство в том числе, и общей идее его влияния. Чтобы убедиться в исполнении пророчества Христа, достаточно наблюдать повсеместное водворение владычества его в сердцах, будь то с сознанием или бессознательно, добровольно или против воли. И поэтому, невзирая на все незаконченное, порочное и преступное в европейском обществе, как оно сейчас сложилось, все же царство Божие в известном смысле в нем действительно осуществлено, потому, что общество это содержит в себе начало бесконечного прогресса и обладает в зародыше и в элементах всем необходимым для его окончательного водворения в будущем на земле...

# ПРОЗА

---



**Михаил ЗАРУБИН**



**Тарас ДРОЗД**



**Игорь ШНУРЕНКО**



**Александр БАБУШКИН**

Михаил ЗАРУБИН

## БАБОЧКА

### Рассказ

**В** семье начальника механосборочного цеха Николая Алексеевича Кокорина родилась внучка. Дедом и бабушкой Кокорины стали давно, два старших внука уже сыграли свадьбы. Всю свою жизнь они мечтали о девочке, сначала о дочке, потом о внучке. Но девочка все не получалась. Сначала у них родились два сына, потом у сыновей появилось по двое ребят. Все были любимы, о каждом думали и заботились, воспитывали, вкладывая всю душу. И все-таки это росли будущие мужчины, чуть подрастали — и долой нежность. Кокорины хотели девочку, чтобы отдать ей всю нерастрченную любовь и нежности. И наконец их мечта осуществилась — младший сын с невесткой принесли в их жизнь долгожданную радость.

После того, как внучку привезли из роддома и все нагляделись на нее, счастливая мать закрылась с дочерью в своей комнате, а гости разошлись по домам, возбужденный Николай Алексеевич, выключив телевизор, сказал жене:

- Маша, надо покупать дачный домик. Не в городе же ребенку жить.
- Что это вдруг? У нас сроду дачи не было, дети в городе выросли.
- Маша, это же девочка! Ей свежий воздух нужен, да и мы уже не молоденькие. Вместе с внучкой жить будем.
- Как ты быстро все решил.
- А ты что, против?
- Я не против, но как-то страшновато. Столько хлопот с этой дачей. Посмотри на наших соседей — как проклятые на ней вкалывают, а что толку? Даже себя обеспечить овощами не могут...
- Господи, Маша, мы что, посадками будем заниматься? Никаких посадок, только зеленый газон и качели для внучки.
- Траву тоже надо уметь сеять.
- Как-нибудь разберемся. Главное, внучка на свежем воздухе будет.
- Боюсь я, надо бы с Юрой посоветоваться.
- С Юркой, конечно, посоветуемся, правда, он не дачник...
- Но все-таки он строитель.
- А при чем тут стройка?
- Значит, ты уже в советах лучшего друга уже не нуждаешься?
- Не придирайся к словам. Посоветуюсь. Может, и домик вместе выберем.

С Юрием они были знакомы с детства. На свет появились в одном роддоме, с интервалом в сутки. Жили в одном подъезде пятиэтажного дома, на одной площадке. Коляски, в которых их вывозили на прогулки, было не отличить, время гуляния примерно совпадало, так что большую часть суток дети проводили вместе. Бывало, Юркина мать поручала Колиной свое сокровище, чтобы отлучиться на минутку. Да и Колина мама тоже доверяла ребенка подруге и соседке.

В ясли их носили вместе, в детсад уже ходили своими ножками.

В детсаде они подружились, были не разлей вода, защищали друг друга. У родных братьев не всегда такая дружба бывает.

В школе сидели за одной партой. Дружба их год от года крепла; все знали, если здесь Юра, ищи рядом Колю. А вот когда школу закончили, их пути разошлись. Юра пошел учиться на строителя, Коля — на механика. Никто не ожидал такого, думали, что и дальше учиться друзья будут вместе.

Юра стал хорошим строителем, Коля — классным механиком. Квартиры они получили в разных концах города. Общались не часто, в основном по телефону. И все же друг о друге не забывали. Все праздники, все дни рождения проводили вместе. Так уж случилось в жизни, что сестер и братьев в семьях Николая и Юрия больше не было. Потому и выросли они, словно братья-близнецы, их притягивало друг к другу, словно магнитом.

У Юры с детьми что-то не получалось. Кто в этом виноват, Николай не знал, да никогда и не спрашивал — как-то неловко было. Нет и нет, значит, такая судьба. Николаевых сыновей Юра любил, как родных, играл с ними в футбол, брал на рыбалку. Порой строго спрашивал за шалости. Для всех в семье Николая он был родным человеком. Кокоринские сыновья звали его дядей, а внуки — дедушкой. Старший сын Николая Алексеевича и Марии Александровны окончил строительный институт и работал в фирме «дяди Юры».

Вечером Юрий приехал к Кокориным. Сразу, в свойственной ему манере, приступил к делу.

— Маша, ты напрасно сомневаешься. Идея прекрасная.

— Идея, может, и прекрасная, да страшно как-то.

— А что бояться?

— Не знаю.

— В советские времена полстраны жило на даче. Огромные пространства на болотах люди освоили. Для многих ребятишек эти дачные поселки стали малой родиной. Я уж не говорю об отдыхе...

— А ты вспомни, как мы каждый год в отпуск на море ездили, какое это чудесное время было, — вмешалась жена Кокорина. — Теперь вот Коля на старости лет свой домик на природе захотел. Ведь это обуза в нашем-то возрасте...

— Маша, — отмахнулся Николай Алексеевич, — ну какая это обуза?! Брать будем готовый дом, Юра поможет подобрать.

— Вы меня уговариваете, а я, злобная бабка, сопротивляюсь. Так получается? А мне тоже хочется пожить на природе, тем более сейчас, когда появилась внучка.

— Так ты согласна? — быстро подхватил ее слова Юрий.

— Согласна, не согласна, забота ляжет на Колю. Выдержит ли?

— Ничего, машина есть, здоровьем Бог не обидел. Справлюсь.

— Значит, договорились, — подытожил Юрий.

— Осталось только найти домик, — вздохнула Мария Александровна.

— Ну, это такие пустяки...

Пустяки оказались делом очень непростым. За месяц Николай и Юрий объехали все ближайшие пригороды, но так ни на чем не остановились. Потом догадались нанять риэлторов, и дела пошли получше, хоть было из чего выбирать.

Николай и не предполагал, какое вокруг города огромное количество дачных поселков. Правда, теперешние дачные пригороды не очень похожи на те, что описывали Пушкин, Тургенев, Чехов, Горький. Здесь все нынче переплетено: и роскошные кирпичные особняки, и времянки, и крохотные убогие сараюшки вдоль железных дорог, и просто пленочные теплицы... Что влекло людей на эти куски земли? Свобода? От кого? От жен и мужей? От вранья? От проблем на работе? От бытовой неустроенности?

Наконец нашли что-то, напоминающее традиционную советскую дачу. Небольшой домик, небольшой участок без грядок, две раскидистые яблони, вдоль дорожки к дому несколько кустов сирени, заросли молодых кленов. У забора росли ландыши, кто их занес сюда, не знал никто. Несколько вековых сосен. Дом казался стареньким и ветхим. Старила его неухоженность, было видно, что в нем долго никто не жил. Краска на деревянной вагонке выцвела, облезла, нижние доски у самой отмостки почернели, местами покрылись мхом. Это от воды, стекающей с крыши, пояснил Юрий. Все вроде было на месте: и пол, и двери, и окна, и печь. Однако дом требовал ремонта, и немало.

— Тебе нравится? — спросил Юра.

— Нравится. Как ты говоришь, душа лежит, — ответил Николай.

— Ну, а остальное — дело житейское. Поправим, подобьем, а если понадобится — перделаем.

— Я не миллионер, Юра, ты же знаешь. Наскрести бы на покупку.

Они еще раз обошли участок, посидели на лавочке.

— Все хорошо здесь, Юра, только воды рядом нет. Хоть бы озерцо небольшое.

— И Черное море сюда перенести.

— Да ладно тебе. Хоть бы пожарный водоем устроить поблизости.

— Домики с озером нужно подальше от города покупать. Но это совсем другие деньги.



— Главное — город рядом. Для меня это важно, сам понимаешь. Придется на работу и обратно каждый день мотаться.

— Да тут, Коля, город и работа за углом.

— За каким углом?

— Это я образно.

Марии домик тоже приглянулся, особенно нравилась веранда, застекленная небольшими цветными стеклышками. При попадании на них солнечных лучей веранда сверкала и переливалась всеми цветами радуги. Все вокруг приобретало праздничный вид. Что касается отсутствия озера, Юрий пообещал Марии Александровне выкопать на участке бассейн. Все успокоились, попив колодезной воды, чистой, холодной и прозрачной. Давно они уже не пили такой воды.

Всю зиму Николай с сыновьями и внуками приводили дом в порядок. Юра консультировал, а когда были нужны специалисты, выделял их, строго спрашивая за работу.

В майские праздники они переехали жить на дачу. На праздничный обед приготовили шашлыки, выпили по бокалу красного вина, любимую внучку впервые уложили спать в коляску под кленом. Все были счастливы и довольны.

Цех, которым руководил Николай Алексеевич, уже больше года работал в три смены — остро не хватало специалистов. Во времена неопределенности кто-то по старости отправился на пенсию, кто-то перешел на другие заводы, где больше платили.

Во главе цеха Николай Алексеевич работал уже более двадцати лет, тянул лямку все девяностые и двухтысячные. Всякое бывало, чего про это вспоминать. Привычка приходить на работу за полчаса до смены осталась у него с юности, когда был еще простым сменным инженером. Все проверить, все просмотреть, определиться с заданием, узнать, как вела себя оснастка на станках, работала ли столовая, есть ли горячая вода в душевых и еще много-много мелочей, из которых складывается общий климат в цехе. Жил он рядом с заводом, ходил на работу только пешком. На это уходило ровно двадцать минут. Сейчас на работу пешком не придешь, только на машине.

По спидометру от дачи до заводских ворот было тридцать пять километров. Как ни старался Николай Алексеевич, меньше часа не получалось. По кольцевой еще можно было разогнаться, а вот в городе то светофор, то переход, то всякая другая причина.

Но Николай Алексеевич не горевал. Вставал он рано, в шесть часов уже был на ногах. Быстро приводил себя в порядок, завтракал и сразу шел к машине. Каждый раз с удовольствием вдыхал свежий воздух, не мог им надышаться. Этот запах сосен и елей всегда поднимал настроение. Первые тюльпаны и нарциссы выглядывали из маленькой клумбочки возле крыльца. Все радовало глаз, успокаивало. Старые ворота со скрипом открывались, и машина, мигая поворотниками, отправлялась

в чистое свежее утро, сливаясь на шоссе с другими машинами. Солнце все выше поднималось над горизонтом, заливая землю радостным теплым светом. На короткое время и небо, и белые облака, и зеленая трава «загорались» — становились желто-золотыми.

Всю зиму только и разговоров было о кольцевой дороге. Прекрасную построили трассу. Она явилась базовым звеном, связывающим основные магистрали города. Для удобства движения оборудовали специальную полосу для движения машин спасательных служб. И много чего еще было на этой замечательной дороге! Но вот к концу мая на кольцевой стали появляться «пробки». Нет, не те «пробки», которые связаны с ДТП — они неизбежны, и встречались почти каждый день. Здесь скорость «расшивки» подобных «пробок» зависит от инспекторов дорожной полиции. Люди они особые, все делают не торопясь, потому и «пробки» длятся часами.

Да что говорить о «гаишниках»! Неожиданно дороги стали ограждать пластмассовыми «бонами», и огромные иностранные машины удивительно ровно и красиво начали резать свежий, не так давно уложенный асфальт. И резали не на маленьком участке, а на огромных площадях. Движение замерло, машины, плотно прижавшись друг к другу, передвигались в потоке со скоростью черепахи. Николай позвонил другу.

— Юра, ты по кольцевой едешь?

— Иногда бывает. А чего ты спрашиваешь?

— В прошлом году асфальт укладывали, а сейчас снова его скоблят. Не знаешь, почему?

— Скоблят, как ты выразился, для того, чтобы новый уложить.

— Да он и так новый!

— Ну, милый мой, тут причин много. Например, нашли брак.

— А куда же технадзор смотрел?

— Туда и смотрел.

— Но если почти всю кольцевую перекрывают, строители без штанов останутся! Никаких денег не хватит брак устранить. А кто отвечать будет?

— Долго, Коля, рассказывать.

— Скажи хоть в двух словах. Я понятливый.

— Подрядчик мог не дать «отката», вот и нашли брак. Это, так сказать, рабочая версия.

— А мы, водители, за что страдаем?

— Кому твои страдания интересны?

— Не верю я в такие версии, Юра.

— Причины могут быть самые разнообразные. Как правило, все они связаны с деньгами. Кто-то с кем-то не поделился, не «освоил» вовремя средства, не дал взятку за победу в тендере, и так далее, и тому подобное...

— А власти что, не знают об этом?

— Ты, как ребенок, Коля. Во власти сидят обычные люди, а среди этих обычных достаточно жуликов и взяточников...

Каких только чудес не насмотрелся Николай Алексеевич в этих «пробках»! Однажды впереди идущая машина стала непрерывно менять полосы. Соседи справа и слева сигналили водителю, открывали стекла и кричали не совсем литературные слова. Некоторые крутили пальцем у виска. Словом, все, как обычно. Наконец странный водитель все-таки «достал» впереди идущую машину, и врезался в нее. Поток сразу остановился. Не успел Николай Алексеевич подумать о пропавшем времени, как странный водитель выскочил из своей машины, что-то закричал и вопреки всякой логике кинулся на вторую полосу движения, размахивая руками. Чтобы не задавить его, машина на соседней полосе резко затормозила, в нее врезался самосвал. Поднялся крик, виновник, ко всеобщему изумлению, достал откуда-то нож и стал размахивать им перед водителями, выяснявшими с ним отношения. Однако никто не захотел связываться с дураком, все залезли в свои машины, закрыли двери и стекла. «Придурок» тоже полез в свою машину и там затих. Через несколько минут кто-то закричал, что бегавший по трассе мужик убил себя ударом в сердце тем самым ножом, которым угрожал другим водителям.

В тот вечер Николай Алексеевич вернулся на дачу поздно. Его, как свидетеля, долго расспрашивали в полиции, при этом пригласили на беседу еще и на завтра. Следователь просил вспомнить мелочи, рассказать увиденное им на дороге в мельчайших подробностях. Чем закончилось расследование, Кокорин не знал, но не сомневался, что на суд его тоже вызовут, так как находился он ближе всех к месту происшествия.

Чего ему только не встречалось на дороге: искореженные машины, обезумевшие люди, разбивающие стекла чужих машин бейсбольными битами, размахивающие пистолетами. Создавалось впечатление полной анархии и хаоса на дороге, а люди, сидящие за рулем, превращались в каких-то монстров — грубых, наглых и подлых.

Как ни старался он по утрам проскочить побыстрее дорогу от дачи до работы, не удавалось, однажды все равно опоздал. Проходя через проходную, он спокойно кивнул охранникам, но внутренне испытал чувство стыда. Вот и он, борец за дисциплину, допустил проступок. А если бы узнал директор? Вряд ли он захотел бы заострять на этом внимание: Николай Алексеевич был из тех работников, на которых равняются. А уж если и опоздал, была этому уважительная причина... Кроме того, начальство не опаздывает, оно задерживается, и этот старый советский лозунг по-прежнему имел место на капиталистическом производстве. Но Николаю Алексеевичу от этого было не легче. Уже вставал в пять утра, но и полутора часов не хватало на дорогу. Он уже стал жалеть, что купил домик вдали от железнодорожной станции. Электрички еще вполне исправно бегали по рельсам. Неприятности не проходили бесследно, Николай Алексеевич стал раздражителен, заводился по пустякам. Начинал вор-

чать без дела, был постоянно чем-то недоволен. Те, кто знал его давно, замечали эти изменения. В первую очередь, конечно, жена.

— Коля, что с тобой?

— Да вроде бы ничего, — признался Николай Алексеевич, — пытаюсь контролировать себя, но не получается. Каждая поездка по кольцевой раздражает. Ты же знаешь, я всегда был спокойным и уравновешенным, а сейчас превратился в какого-то брюзгу. Устаю, не сплю ночами. Когда-нибудь эта дорога доконает меня, Маша. Может быть, мы напрасно с этим домом связались?

— Я тоже об этом думаю. И вот что скажу. Наш поселок от железнодорожной платформы в десяти километрах. Рядом со станцией несколько домов, можно договориться с жильцами и оставлять машину там. Пусть дорога не сахар, зато электричка в пробки не попадет.

Маша оказалась права.

Жизнь постепенно стала налаживаться. Николай Алексеевич ездил на работу другим маршрутом. По проселочной разбитой дороге добирался на своей машине до платформы, где останавливалась электричка. В дождливую погоду было трудновато, машина шла тяжело, ошметки грязи из-под колес летели по сторонам, перелетали через машину и попадали даже в лобовое стекло. Вагон в электричке всегда был заполнен, места были только стоячие. Хорошо, что поездка короткая. Со временем он перестал замечать и духоту, и тесноту в вагоне. Привык.

Внучка росла, она уже стала узнавать деда. Тянула к нему ручки, улыбалась.

Кольцевую ремонтировали до осени. Кокорины в начале сентября переехали в город. Зима промелькнула быстро, и ранней весной они вновь приехали на дачу. После майских праздников на кольцевой дороге опять начали резать асфальт, вновь появились «пробки». Но Николая Алексеевича это больше не волновало.

Однажды он увидел сцену, которая буквально поразила его: его любимая внучка, сидя в коляске и крепко держась ручонками за борта, наблюдала за полетом бабочки — большой, красно-коричневой, с двумя большими «глазами» на бархатных крыльях. Это был, видимо, махаон — он летал вокруг коляски кругами, словно демонстрировал всем свою красоту и неповторимость. И Николай Алексеевич понял: внучка впервые увидела это чудо, и теперь запомнит его на всю жизнь. Оно вошло в нее, как составляющая часть удивительного мира, который ей предстоит открыть и понять... И этот старый дом станет ее собственным, любимым домом.

Все это Николай Алексеевич не мог выразить словами; он это почувствовал, угадал интуитивно, и это событие показалось ему столь значительным, что его собственные проблемы ушли куда-то на десятый план, стали мелкими и несущественными...

## ПТИЦА ВОЛЬНАЯ

## Рассказ

## I

**В**есна нынче пришла поздно. Уже много дней апрельское солнце было закрыто темно-серыми тучами, по ночам подмораживало, а деревья и трава на полях только-только начинали зеленеть. Но два дня назад солнце наконец-то победило тучи, ветер быстро погнал облака по небу, выбивая из них влагу, а остаток белесых и бледных перышек подсушило солнце. Все вокруг заблестело долгожданным весенним цветом. И хотя с реки тянуло холодом, Николай не стал ждать. Рано утром он приехал на свою пасеку, что стояла у старой немецкой усадьбы, на горушке. Этот дом принадлежал пожилому немцу Францу, с которым они познакомились давно, в ту пору, когда Николай с женой и детьми перебрался на житье в Германию. Как говорят — на ПМЖ (постоянное место жительства). Николай арендовал для своей пасеки небольшой кусок земли и старый сарай, где держал свои инструменты и запчасти для автомобиля. Франц брал за эту «аренду» сушие гроши, больше для порядка, чем для денег, и Николай был ему за это очень благодарен.

Быстро переодевшись, он сразу начал работать. Дел накопилось много, медонос уже начинался. Поработав без отдыха несколько часов, запарился. Вытащив из багажника машины складной маленький стол и такой же стульчик, блаженно развалился, привалившись спиной на теплую стенку старого дощатого сарая. Налил из термоса крепко заваренный кофе. Желтые одуванчики заполонили всю лужайку перед сараем, с ними соревновались в красоте белые примулы, хотя сильно отставали в росте.

На соседнем поле «загорелся» рапс. Мгновенно, в один день он подскочил вверх, и сразу выбросил цвет, словно боясь, что без этого никто не поймет, что это он, его величество господин Рапс. Зацвела красавица-черемуха, закрыв своим белым пышным цветом коричневые ветки.

На склонах небольших холмов начинали зеленеть виноградники.

Между большими и маленькими рощами вольготно раскинулись поля и луга, обрамленные соснами и елями. Дорога серебряным серпантинном петляла среди этой сказочной красоты, то поднимаясь по пологому склону к величественному замку, то углубляясь в лесную чащу, где коптила трубой старинная кузница, а чуть пониже, у ручья, притаилась забытая мельница. Николай полюбил этот край, север Баварии, с древним певучим именем — Франкония.

Он знал, что здесь частично проходит Дорога Замков, протянувшаяся на тысячу километров. Иногда ему хотелось все бросить, все забыть, сесть в свой автомобиль и отправиться в путешествие по этой древней

земле. Увидеть шедевры средневековой архитектуры, романтические города, пышные дворцы, строгие монастыри, сторожевые башни и остатки древнеримских оборонительных валов.

Вместе с этим он хорошо понимал, что подобное путешествие — не для него. Бывая по разным делам в средневековых городках, расположенных на этой Дороге, он любовался крепостями и барачными зданиями, мало людей может пройти мимо такой красоты. Но чтобы бросить все, закинуть на плечи рюкзак, или сесть в машину и отправиться в путешествие, это не для него. Все походы, а с ними открытия остались в прошлом.

Солнышко пригревало. Он прикрыл глаза, задремал, и тут же увидел картину из своего детства.

Каменистый берег Ангары. За поворотом — Байкал, а на угоре стоят деревенские дома. В одном из них он родился. Смотрят дома на речку окнами с голубыми и белыми ставнями, палисаднички в один ряд, улица ровная, как струнка. Вместе с ребятами они бегали смотреть «Шаман-камень», что бросил Байкал вслед «распутнице-Ангаре», убежавшей от него к Енисею.

Стремительно, широко и привольно уходила байкальская вода в далекое путешествие. Здесь, на слиянии Байкала и Ангары, нашли прибежище тысячи птиц — гоголь, чернеть, морянка, крохаль и кряква. Они жили тут и зимой, на незамерзающем участке.

А знаменитые «ходульные» деревья, поднимающиеся над землей на своих корнях-ногах! Какой страх они вызывали в вечерних сумерках. Словно страшные чудовища вышли на берег. Ветер выдувал из-под них почву, и они стояли на корявых ходулях, страшные и прекрасные, опутав мощными узлами камни.

Мама рассказала ему легенду про «Шаман-камень», когда Николаю было лет пять. Он запомнил все, особенно тихий и ласковый голос мамы, которая, покачивая его на коленях, говорила, словно напевала:

«...Это было очень давно. Байкал в то время был самым могучим и почитаемым, были у него несметные богатства, и любимая дочь — Ангара. Не было красивее ее на белом свете. Кто бы ни проезжал мимо Ангары, все любовались ею. Отец очень сильно любил свою дочь, одаривал ее дорогими подарками и берег ее пуше своего глаза. Но пришло время, когда Ангаре нужно было выходить замуж. И решил великан Байкал кинуть клич всем местным богатырям, устроить большие состязания, а победителю отдать главный приз — красавицу Ангару. Но Ангара всех отвергла, хотя Байкалу очень нравился молодой богатырь — Иркут. И решил он поговорить с дочерью, чтобы убедить ее выйти замуж за Иркуту. На большом летнем празднике — сурхарбане — устроили богатыри состязание, чтобы показать свою силу и мощь и понравиться красавице Ангаре. И был среди них потомок гордого Саяна — Енисей. Далеко превзошел он всех остальных богатырей, чем покорило сердце неприступной

красавицы. Но пришлось Енисею уехать домой по неотложным делам. Ангара стала скучать, и решил тогда Байкал выдать поскорее дочь за любимого ею Иркут. Но девушка отказалась, и тогда заключил ее отец в темницу, пока она не согласится выполнить волю отца. Ангара решила убежать к Енисею, и попросила помощи у своих друзей, больших и малых ручьев. Вырвалась Ангара на свободу. Узнав об этом, рассердился Байкал, грозно вскинул волнами. Поднялась свирепая буря, зарыдали небеса, загудели горы, попадали деревья, почернело от горя небо, звери в страхе разбежались по всей земле, рыбы нырнули на самое дно, птицы унеслись к солнцу. Ударил Байкал по седой горе, и кинул вслед беглянке огромный камень, но было уже поздно. Не смог ее догнать и богатырь Иркут. Прибежала Ангара к Енисею, кинулась к нему в объятия. А камень, который кинул вслед дочери Байкал, назвали Шаманским. Говорят, что если разгневется еще раз Байкал, то сорвет «Шаман-камень», и хлынувшая вода затопит весь мир...»

Наверное, советские гидростроители хорошо знали эту легенду, а может, еще какие тайны, известные немногим, и стали помогать Байкалу задерживать Ангару. Поэтому у Иркутска и поставили целую плотину, чтобы Ангара умерила свой бег. Но и родной Колиной деревни не стало, вода закрыла ее огромной толщей, оставив кусочек «Шаман-камня» над гладью воды, словно маяк, по которому можно определить, где была его родина...

Николай открыл глаза. Солнце поднялось уже высоко, потеплело. Пчелы приступили к своей работе. Радостно гудели ульи, наполняя торжествующими звуками окружающее пространство. Какая-то неведомая сила вытолкнула их из полумрака и отправила радоваться солнечным лучам.

Николай иногда брал лупу и разглядывал пчел, всякий раз поражаясь этим удивительным созданиям природы. Ученые написали множество книг, произвели кучу исследований, но так до конца и не поняли природу их поразительной самоорганизации. Пчела рождается, в начале своей жизни чистит ячейки и кормит расклад. Подрастает — начинает летать за нектаром. Постарела, изработалась — носит воду, вентилирует улей. И все это происходит в течение одного-полутора месяцев, когда ярко светит солнце, кругом теплынь и все вокруг цветет и благоухает...

Можно все отнести к борьбе за выживаемость, объяснить инстинктом самосохранения. Но кто и когда дает пчеле команду выполнять ту или иную операцию? Простые люди, не пчеловоды, знают: пчела дает мед и больно жалит. Правильно. Но не только это. Без пчел не было бы плодов в наших садах. Только пчелы могут перенести пыльцу с одного цветка на другой и сделать дерево плодоносящим. Современная наука знает: у пчел, как и у многих других насекомых, существует «язык», управляющий их поведением. Он состоит из тридцати шести ароматных соединений, несущих определенную информацию. Другой язык — пчелиный танец. Пчелы танцуют на вертикальной стенке со-

тов, они рассказывают своим «коллегам» о том, где находятся цветы с нектаром и насколько высоко их качество. С помощью танца пчелы могут позвать других сородичей на выручку и даже вести целые дискуссии. Николай уже давно не задавал вопросы: почему, отчего и как. Он радовался, как все здорово и разумно придумано природой. Если бы его поколение не коснулось «великое учение» марксизма-ленинизма, в котором великие постулаты, накопленные человечеством, раскатывались и уничтожались, тогда бы наверняка он верил в некий удивительный разум — единственное оправдание неизвестного. Но можно верить или не верить, ясно одно — пчелы действительно Божьи создания.

Николай и сам не понимал, как увлекся пчелами. Никто из его родных или друзей не занимался таким многотрудным делом. Возможно, причиной тому — его профессия? Он был летчиком и тоже умел летать, как трудолюбивые пчелы, но главное — любил наблюдать за их полетом, осмысленным и точным.

Солнце поднялось в зенит, его лучи нагрели стенку старого сарая и кожаную куртку Николая. Он встал, снял куртку, аккуратно повесил ее на спинку стульчика и пошел к ульям.

Пчелы устроили круговерть. Одни улетали за пыльцой, другие плавно планировали на леток нижнего корпуса улья. Николай продолжил работу. Все нужно было закончить сегодня — пчелы, как никто другой из живых существ, жили по строгому графику, и нарушать его было нельзя. Руки его работали автоматически, а мысли были совсем о другом. Он даже не заметил, как подошел хозяин старой усадьбы.

— Здравствуй, Николай.

— Здравствуй, Франц.

— Ну что, весна наконец-то пришла?

— Слава Богу, — ответил Николай, — хоть займись делом наконец-то...

— Ну что же, времени у тебя много. Ты стал свободной птицей — так у вас в России говорят?

— Это почему же?

— На работу не ходишь. Прощай, фабрика?

— А, ты об этом. Да, я свое отработал. И в России, и в Германии. Старый я уже стал, Франц, недавно шестьдесят шесть стукнуло. Остается одно — пчелы, это мне еще по силам. Только русские говорят — вольная птица.

— Почему вольная, а не свободная, в чем разница?

— Даже, не знаю, Франц, но говорят так.

— Ну раз говорят, значит, Николай — птица вольная. Ты просил у меня место под маленький домик. Я не против. Вот здесь и поставь его, — он показал на площадку у сарайчика.

— Спасибо, Франц. Только давай заключим договор на аренду земли.



— Зачем тебе это? За аренду нужно платить.

— Зато спокойнее.

— Как скажешь.

Они пошли по дорожке вдоль широкого луга, на котором вперемешку с ярко-зеленой травкой тянулись к солнышку первые полевые цветы.

— А я ведь тоже стал свободным человеком, — неожиданно сказал Франц и печально улыбнулся.

— Тоже закончил работу на фабрике?

— Нет, мне еще рано, до пенсии два года. Я продал коров.

— Чем они тебе помешали?

— У нас с женой уже сил нет ухаживать за ними. Наемные работники недешевы. Молоко мое получается дороже, чем в магазине.

— А как же вы без коров?

— Не знаю. А ведь мы с Мартой так их любили! Молока, правда, никогда не пили, желудки не позволяли. Дети и внуки живут отдельно, разлетелись по всей Европе. Поэтому без молока проживем, а вот без коров — не знаю. Сколько себя помню, они всегда рядом.

— Ладно, Франц, не грусти.

— Луг в аренду просят, сено-то нужно. Конечно, отдам, не пропадать же добру.

Они шли и молчали. Каждый думал о своем. Подойдя к сарайчику и увидев приставной стульчик, Франц удивленно посмотрел на Николая.

— И ты здесь сидишь?

— А что?

— Разве в доме мало места? Он же всегда пустой!

— Я не отдыхать сюда приезжаю, Франц. А от дождя и сарайчик сгодится.

— Ты ведь не завтра свой домик поставишь!

— Я, Франц, люблю все делать быстро. Завтра подпишем договор аренды, а послезавтра я начну нулевой цикл...

Франц опасливо подошел к первому улью, заглянул сбоку и в восторге покачал головой.

— Ты посмотри, какая жизнь, — восхищенно сказал он. — На первый взгляд — хаос, ничего не понять, а в действительности — строжайшая организация. Я кое-что читал о пчелах. Удивительные создания...

— Для них тоже весна наступила, Франц. Начало жизни. Ты помнишь себя молодым?

Франц улыбнулся, махнул рукой.

— Разве такое забудешь?

Они похлопали друг друга по плечу. Франц пошел домой. Николай вернулся к прежней работе, а мысли, словно отдохнув, опять нахлынули, он понимал, что они никуда и не убежали.

## II

Заместитель командующего воздушной армии назначил встречу с Николаем на поздний вечер. Привычка работать по вечерам и ночам передалась отцом-командиром в наследство от сталинских времен. Назначать совещание на семь, восемь часов вечера считалось в порядке вещей, а если оно заканчивалось в десять-одиннадцать, вроде бы и рабочий день не закончился. Ничего, что все обалдевшие, ничего уже не соображают, зато приняты решения. Так было в советские времена, и плавно, без всяких изменений, перешло в новые — российские. Заместителя командующего Николай хорошо знал, они закончили одно училище, только тот учился на два курса старше. Служба в горячих точках дала ему быстрое повышение, хотя военными талантами он не блистал. Отношения их были ровные и уважительные, так что ничего дурного от вызова Николай не ждал. Где-то глубоко внутри теплилась надежда, что Москва согласовала ему очередное звание. На генеральской должности Николай служил уже год и знал, что документы на повышение отправлены в министерство.

— Заходи, Николай, — вполне доброжелательно встретил его генерал. — Коньячку выпьешь?

— Спасибо, сегодня моя смена.

— А я выпью, — генерал достал из большого несгораемого шкафа бутылку какого-то иностранного коньяка и граненый стакан. Стакан он наполнил до краев и, как и положено российскому генералу, в три глотка осушил его.

— Присядь, полковник, — как-то устало поглядев на Николая, махнул он рукой. Пройдясь по кабинету, постоял у окна, потом сел напротив Николая. Было видно, что ему трудно начать разговор. Для начала он попытался говорить спокойно, но неожиданно зло, с какой-то глубокой обидой на кого-то сказал:

— Утешать я тебя не стану. В армии сокращение, ты в числе тех, кому придется уйти на пенсию. Пенсия, правда, неплохая, прожить можно. Командующий лично внес тебя в список. Я пытался тебя защитить, но сделал еще хуже. Начальник мой взбеленился, орал, чуть ли не ногами топал. А чтобы мне неповадно было перечить вышестоящему, приказал о своем решении мне сообщить. Понимаешь ситуацию?

Николай почувствовал, как гулко забилося сердце. Казалось, что удары его были слышны в каждом уголке этого огромного кабинета.

— Что молчишь?

— Что тут скажешь, — с усилием выговорил Николай. — Без слов все ясно.

— Обматерил бы хоть, что ли.

— Кого?

- Меня.
- Тебя-то за что?
- За жизнь нашу долбанную, когда здорового, умного, сорокалетнего профессионала выбрасывают на пенсию...
- Кому дела передать?
- Своему заместителю.
- Разрешите идти?
- Иди.

Он шел по коридорам огромного здания, с кем-то здоровался за руку, кому-то козырял. Все было, словно во сне. Скольких друзей и знакомых провожал он в запас! Порой это было радостным событием, порой грустным. Однако эти события не касались его лично, поэтому не затрагивали его сердца. Сейчас же его мучил только один вопрос, за что? По всем армейским законам уходить на пенсию ему было еще рано. По крайней мере, в запасе было еще пять-семь лет.

Разумеется, он знал, за что его списали. За излишнюю принципиальность. Официально, конечно, формулировка была другой: «за выслугой лет», а в действительности он не разрешил внеплановый вылет группе коммерсантов и старших офицеров в Крым на пикничок. На военном-то самолете! Впрочем, в те годы все было возможным. Боевые армейские части стали частью «рынка», больше похожего на базар, и подобные «левые» рейсы случались довольно часто. В таких случаях Николай требовал письменного разрешения от вышестоящих командиров, и только тогда разрешал вылет. В тот раз не было никакого разрешения, только личная просьба, правда, весьма настоятельная. Николай категорически запретил вылет, без всяких колебаний.

Он вышел из здания, прошел по дорожке подальше от парадного входа, сел на скамейку. Вот и конец военной службе, подумал он. Два года назад он перестал летать, а теперь выходит, что и армии он не нужен.

Мальчишкой он с завистью и восхищением смотрел вслед летящему самолету. Аэродром, где базировалась лётная часть, находился рядом с его деревней. Каждое утро стартовали «Миги», полет их был таким стремительным, что казалось, какая-то невидимая катапульта выбрасывала их с земли. Несколько мгновений полет их был беззвучным, и только через секунду гул турбин пытался догнать самолет. Так и летели они: самолет отдельно, а звук турбин неотступно следовал за ним, изо всех сил пытаясь догнать серебряную птицу. Как хотелось ему, деревенскому пацану, подняться в небо, с огромной высоты взглянуть на землю и парить над ней, словно птица.

В армию забрали осенью. Повестка пришла Николаю на работу. Закончив строительный техникум, он жил в вагончике, у которого и адреса-то не было. В техникум он поступил потому, что в селе не было школы-десятилетки, да и родители настаивали.

— Коля, получи специальность, пригодится ведь, — твердила мать. — Поступишь в институт или нет, еще неизвестно, а здесь всегда на кусок хлеба заработаешь.

Уже пройдя медкомиссию, он услышал от военкома:

— Где хотите служить?

— В авиации.

— Хорошо, — кивнул майор, и Николая отправили отдавать долг родине в подводный флот. Повезло, что не на атомный ракетоносец, а на старенькую дизельную лодку. Осень и зиму Николай походил под водой, а весной подготовил документы для поступления в летное училище. Пришел в штаб дивизиона за направлением.

— В летное не дадим, в военно-морское — пожалуйста, — ответили ему.

— Но, я хочу в авиацию!

— А мы не хотим отпускать вас в летное. Не желаем. Подумайте, может, наши желания совпадут?

Желания не совпали, и Николай затаил глубокую обиду на военных чиновников-самодуров. Помог командир подлодки, который очень хорошо относился к Николаю.

— Обойдемся без штаба, — заверил он. — Видали мы таких умников! Летом пришел вызов в летное училище.

Мечта детских лет осуществилась. Он хорошо запомнил свой первый самостоятельный полет, когда впервые оторвал умную машину от земли, запомнил, как она стремительно стала отдаляться от полосы аэродрома: большие дома и деревья вдруг стали маленькими, игрушечными, горизонт отодвинулся на десятки километров, и вот он уже в облаках, все выше, выше, выше...

Неповторимый восторг. Душа поет. Видимо, тогда он и почувствовал себя по-настоящему свободным. Его самолет поднимался до восемнадцати километров, в нижний слой стратосферы. Там располагалась озоносфера, определяющая предел жизни. Однажды, проходя верхние грозовые облака, он наблюдал взметнувшиеся вверх на десятки километров две световые колонны. Молнии из облаков били вверх, в космос, где небо всегда черное и даже днем сияют звезды. Только летчику суждено наблюдать такое... Он облетел земной шар много раз, не было точки на планете, над которой не прошел его самолет. Когда он находился в воздухе, об этом было известно всем: и своим, и чужим. То, что было закреплено под его крыльями, пугало, останавливало горячие головы.

С небом он простился совершенно случайно, просто, обыденно. В тот день, он собирал вишню в саду. Стоя на крепком суку, потянулся к верхней ветке. И здесь произошло неожиданное. Сук, на котором он стоял, обломился, и Николай оказался на земле. Упал неудачно. Если бы ожидал падения, то смог бы сгруппироваться, но все произошло мгновенно. Диагноз был неутешительным: поврежден какой-то важный сосуд, и не

просто поврежден, а разорван пополам. Врачи сделали несколько операций, но восстановить подвижность ноги не сумели. Так полковник российской армии остался без любимого неба. Теперь оно приходило ему только во сне.

Вот его самолет занимает полосу прямо по осевой. Николай выставляет гирокомпас на курс, равный взлетному курсу полосы. Взлет разрешен, включены фары и часы. Пошло время.

Скорость растет, параметры в норме. Застучали колеса по бетонным плитам полосы, все быстрее и быстрее. Сто шестьдесят, двести, двести семьдесят, подъем!

Штурвал на себя, взгляд на авиагоризонт. Машина плавно задирает нос и плотно ложится на поток. Шасси убираются, — грохот и стук замков, фары выключены. Разворот на курс. Показания авиагоризонтов одинаковые. Начинается полет. Бешеная мощь двигателей увеличивает скорость до безопасной...

Такие сны приносили досаду и боль, они буквально преследовали Николая, особенно в первые годы «без неба». Однако небо и самолеты — это одно, а кормить семью надо. Слава Богу, друзья не бросили. Устроили в центр управления полетами. Работа ответственная, опыт классного летчика очень пригодился. Во время его дежурств ни разу не было чрезвычайных происшествий. Однако в жизни страны такие происшествия были.

Эти годы стали для Родины такими же поворотными, как война с Наполеоном, как Смутное время, или Великая Отечественная. Сразу навалилось все огромным грузом: война в Чечне, перевороты и путчи, «черные вторники», стрельба по парламенту, финансовые пирамиды, вачеры, обменники, перестрелки и теракты, и еще черт знает что...

Сумрачные, черно-белые, страшные и пьяные «лихие девяностые». Рушилась великая империя, которую предавали и продавали люди, руководившие страной. Предавали, разумеется, и армию. Советской армии не стало, а российскую собирали поротно и повзводно. Лучшие войска первого стратегического эшелона, которые должны встречать противника у границы, — Прибалтийский, Белорусский, Украинский, Закавказский округа оказались на территории независимых государств, которые в то время не были даже в составе СНГ. Россия выводила их оттуда в чистое поле, на пустыри под Ельней и в бескрайние черноземы Воронежской области.

Боевые офицеры, прошедшие Афганистан, как мальчишки, терялись на паркете кремлевских кабинетов и на указание вывести войска в никуда, лишь козыряли. Вывод российских войск сопровождался массовыми потерями техники и вооружений. Оружие продавали, куда только можно: воюющим Балканам, Кавказу, Азии.

Самым позорным для страны выглядел вывод войск из Германии, больше похожий на бегство. Лучшие части Советской армии покидали

Германию и возвращались в Россию, где их никто не ждал. Особенно тяжёлыми были последствия этого вывода: толстопузые и жуликоватые генералы сколотили себе немалые состояния на зарубежной недвижимости западной группы войск. Это видели и понимали все. Видел и Николай. Надеялся, что развал остановится. Не дождался, самого выбросили. За ненадобностью. Если полковник не нужен армии, кому нужен солдат?

...

Он сидел на лавке до темноты, мучительно обдумывая предстоящую ему и его семье жизнь. Все было, как обычно — взлетали самолеты, кто-то просил посадку, кто-то докладывал о том, как идет полет. Все, как всегда, только для него служба уже закончилась. Что он скажет дома? Как воспримет его слова Лиза?

### III

С Лизой они повстречались случайно, у друзей. Все случилось, как в песне: «Любовь нечаянно нагрянет...» Для него девушка Лиза была самой красивой, самой умной, самой доброй. Николай ей тоже понравился, так что они решили пожениться практически сразу, через два-три месяца. Замечательная пара — летчик и учительница. Он возил ее за собой по российским захолустным гарнизонам, и она не роптала, считая, что жена должна быть там, где ее муж. Он улетал в небо, а она учила детей в маленьких поселковых школах, рассказывая своим ученикам о любви Онегина и Татьяны...

У них родились два сына-погодки, Вова и Саша. Были, конечно, трудности, были и радости. Все, как у людей.

Жизнь невозможна без нахождения рядом близкого человека, и он, Николай, влюбленный мужчина — такой же, как и все другие, только с невидимыми крыльями за спиной, и поющим сердцем — всегда испытывал счастье быть рядом с любимой. Где бы он ни был, мысли о Лизе не отпускали его. «Как она там, что делает, что тревожит ее?»

И вот сейчас должен сказать ей горькие слова, что закончена служба, и отправлен в отставку ее муж, довольно-таки молодой человек.

За что и почему, ему не известно. Кому-то не угодил, при его работе в центре это очень просто. Не разрешил полет внепланового самолета, арендованного коммерсантами.

Для него, даже при развале армии, коммерция с воинской дисциплиной были не совместимы. Но то для него. Для многих, даже его хороших знакомых, служба превратилась в добывание денег, и на его вопросы или упреки, он получал ответ:

— Николай, сейчас так делают все.

Может, он стал белой вороной, и таким не место в армии?

Лиза родилась и выросла на Алтае, в немецкой семье. Район, где она жила с отцом, матерью и двумя старшими братьями, по этническому составу был немецким процентов на шестьдесят. Там были чисто немецкие

села, где русской была только одна учительница русского языка. В семидесятые и восьмидесятые годы началась массовая эмиграция советских немцев в Германию. Власти не препятствовали выезду, поэтому за два десятилетия на историческую родину отбыли сотни тысяч немцев: из Казахстана, Алтая, Поволжья. Это были не худшие люди, уезжали самые толковые, хозяйственные, образованные и непьющие, уезжали люди самых разных профессий. Что двигало ими? Вряд ли только желание воссоединиться со своими соплеменниками. Скорее всего, их привлекала возможность сытой, обеспеченной жизни, в которой все предсказуемо, спокойно, безопасно. Русские ребята или девушки старались жениться на немках или немцах, и уезжали вместе с ними. Никто их не осуждал, «рыба ищет, где глубже...» Таких немцев называли в шутку «средством передвижения», и это была чистая правда. Конечно, случались браки и по любви.

Лизина сестра с мужем уехали в Германию. Уезжать Лиза категорически отказалась. На ее плечах были родители. Она сама хотела жить и работать в России, несмотря на тяжелые времена. «Я нужна здесь, а не в Германии...» — говорила Лиза. Вскоре она встретила Николая, и вопрос отъезда отпал сам собой...

Николай выпрямился, от наклонки затекла спина, он откинул сетку с лица, подошел к столику, выпил два глотка кофе. Лиза...

Вот и сейчас, когда большая часть позади, как он счастлив, что так повезло в жизни. Рядом всегда Лиза. Порой ему казалось, что они слились воедино, словно один человек. Их не разделить.

Неизвестно, где и когда он услышал слова и сразу понял, что они о нем с Лизой: «Чувство любви ни с чем не спутаешь: невозможно скрыть улыбку и мечтательные глаза, а нежность не получается передать словами. Любовь — это полноценное состояние души! Когда человек рождается, он всю жизнь что-то ищет, чего-то добивается, что-то приобретает, и при этом ему становится все мало, но когда он обретает взаимную любовь, он обретает полноценность».

Для Николая любовь — бескорыстная и радостная забота, определенный образ жизни со своими ценностями, мировосприятием, направленностью внимания и даже дыханием и интонациями. Все годы с Лизой он жил в состоянии любви, не замечая этого, считая такое состояние вполне нормальным, всегда приносящим радость. Про любовь говорят все. Но как много в наше время любви на словах и в песнях, и как мало ее в реальности. Реальная любовь — удел немногих счастливчиков. Николай считал себя таковым. Любовь помогает в жизни, в которой много зла и бед.

Говорят, беда не ходит одна. Почему беда одна не приходит? Во все времена, на всей земле так, что уж если беда, то не одна, а их несколько, этих бед, и какая из них страшнее, не разобрать. Словно черные тучи, своими космами закрывая солнце, ползут беды, застилая все живое, по-

падая стрелами своих молний в людей. И сжимается сердце от страха, и не укроешься, и не спрячешься.

Если бы знать, что беда идет в дом, наверное, можно было бы придумать ловушки, как на зверя в лесу. Но она приходит неожиданно и принимается калечить жизни, рушить планы, иногда выносит страшный приговор. В такие моменты жизни всегда одиноко. Редко кому удается справиться с бедой. Хорошо верующим, а может, и им тоже трудно. Как проверишь! Может, лучше не знать, что там впереди, и не вмешиваться в течение событий. А, может, лучше знать?

Остаться в сорок с небольшим лет без любимой работы — удар, который не каждый перенесет. А тут еще появилась тяжелая проблема с Володей, старшим сыном. Они с женой давно замечали за ним что-то необычное. Сын жаловался на усталость, его постоянно мучили сильные головные боли, всегда что-то тревожило, одолевали какие-то страхи, он был в постоянной депрессии, ощущал безнадежность, малоценность своей жизни, терял интерес к учебе, даже перестал играть в свой любимый футбол. Он рисовал картинки мрачного содержания, на просьбы встряхнуться жаловался на скуку, или, наоборот, без причины становился лихорадочно активным, неусидчивым. Обычно спокойный и добрый, он вдруг проявлял агрессию, на любые замечания отвечал резко, доходя до истерики. Убегал из школы, из дома. Его находили на чердаках, в подвалах. Слова, уговоры, просьбы, ласки на него не действовали. Посреди разговора он бесцеремонно вставал и уходил в другую комнату, а если Николай удерживал его руку, с силой вырывал ее или начинал как-то странно дергаться.

Лизины скитания по поликлиникам закончились страшным диагнозом — шизофрения. Сына увезли в больницу, название которой обычно говорят вполголоса. Попросту говоря — в психушку.

Порядок, вернее, бардак в обычных российских больницах известен всем. Но в психиатрических его ни с чем не сравнить. Кто там побывал, тот знает, что это место — ад. Относительно здоровые люди там превращаются в больных, а больные — в полных калек. В первые дни пребывания там медсестры, на свое усмотрение и для своего удобства, втыкают пациентам препараты, которые «тормозят» нервную систему. Врач выслушает и осмотрит больного только через несколько дней, поставит диагноз и назначит лекарство. Российская психушка больше напоминает тюрьму, чем больницу. В палатах — теснота, больным трижды в день дают лекарство, которое, как правило, не подбирают индивидуально, почти всем колют одно и то же, в одно и то же место. Хуже всего детям. Они не гуляют, сидят взаперти, воруют друг у друга, но никому до них нет дела. У Володи от недолгого пребывания в больнице появились тяжелые побочные эффекты: головокружения, обмороки, рвота.

Побывав там в первый раз, Николай ужаснулся. За всю свою жизнь он ни разу не лежал в больнице, бывал только в роддоме, да и то — в празд-



ничном вестибюле. Военные госпитали, где он находился на восстановлении, сравнить с гражданскими невозможно, а тут — психушка. Тяжелая гнетущая атмосфера. На стенах осыпается штукатурка, грязь, в палатах бегают тараканы. Два санитаря, впустившие его, взяли принесенные им продукты для проверки, а когда Николай уходил, то увидел, в чем заключается эта проверка. Санитары просто разорвали пакет и уже приготовились было славно «проверить» принесенное им в стеклянной банке мясо, если бы Николай не вмешался в этот процесс.

Спокойно, не повышая голоса, сказал:

— Положите продукты в сумку, засранцы. Иначе я вам шеи переломлю.

Мордovorоты каким-то сверхъестественным чутьем поняли, что этот почти двухметровый атлет запросто может привести свою угрозу в исполнение, и быстро ретировались.

В палате он увидел сына, забившегося в угол. Володя прижимал к себе туфли и полиэтиленовый мешок с вещами.

— Что с тобой? — кинулся он к сыну.

— Папа, — заплакал Володя, — забери меня отсюда. Они все отнимают у меня.

— Кто?

— Психи.

— Ну, тут же только санитары.

— Я не знаю. Мне страшно.

Николай не мог этого перенести. Он забрал сына домой. Вскоре все повторилось, и Володя вновь оказался в больнице. Они с Лизой были близки к отчаянию. Наконец им удалось пробиться на прием к главврачу.

Кабинет главного врача находился в отдельном отсеке. Там все было чистенько и аккуратно. В коридоре висели картины, а может, хорошо сделанные репродукции — водопады, пейзажи. В приемной были наклеены фотообои, изображающие березовую рощу в лучах солнца. Среди этой картинной галереи висели таблички с надписями: «Экономьте электроэнергию», «Экономьте воду».

Разговора не получилось. Главврач сразу заявил, что сам никого не лечит. Он администратор. Психиатрическая больница — это место, где больные изолированы от общества, и на эту изоляцию уходят почти все выделяемые средства. Лечить, конечно, необходимо, но государство не выделяет на эти цели денег. Короче говоря, делаем, что можем. Вот и весь разговор.

Выйдя из больницы, Николай понял, что ни о каком лечении здесь речи идти не может. Нужно искать другую клинику.

Лизе порекомендовали врача, способного определить степень болезни Володи. Ничего утешительного они не услышали.

— Нужна операция. У нас их делают крайне редко, и за большие деньги.

- А где возможно сделать операцию?
- В Германии, например. В Израиле, в Штатах...
- Что же нам делать?
- Надеяться на чудо. Однако поверьте моему опыту — чуда не произойдет. Ищите деньги.

После встречи с врачом Лиза развила бурную деятельность. Она где-то подолгу пропадала, часто говорила по телефону, чего за ней раньше не замечалось, и наконец, уволилась с работы. В тот же день все и объяснилось.

Они сидели друг против друга в маленьком пространстве кухни. Лиза говорила спокойно, но твердо.

— Я оформляю документы о переезде на постоянное место жительства. В Германию.

Николай долго молчал, обдумывая сказанное. Он ожидал чего угодно, только не этого.

— Но ты ведь знаешь, людей, которые имеют дело с военными секретами, за границу не выпускают, и довольно долгое время.

— Кроме того, что ты военный, ты еще и отец. И у нас что, состояние войны с немцами? Ты рассуждаешь, как во времена холодной войны. Посмотри по сторонам, Коля! Берлинской стены уже нет, Германия стала единой, железный занавес в прошлом. Сейчас никто никого не держит, каждый вправе выбрать себе место жительства. Володя болен, и я не хочу наблюдать его агонию, я должна его спасти. Вызов от сестры я уже получила. Решай. Если не захочешь, я уеду одна с детьми.

— Но почему нужно уезжать навсегда? Разве нельзя сделать операцию и вернуться?

— У нас с тобой не хватит денег даже на наркоз. Да и операция — не самоцель. Володе нужно длительное лечение, может быть, годы.

— И что же, там нашего Володьку будут лечить?

— Будут, когда мы станем гражданами страны.

— Неужели там всех лечат?

— Всех, даже безработных.

— А мы-то как будем жить?

— Как многие другие. Я верю, что Володю можно вылечить. Немцы вкладывают огромные средства в медицину, у них лучшая в мире техника и специалисты.

— Не знаю, Лиза, не знаю.

— Неужели ты думаешь, что немцев интересуют секреты, которые ты когда-то знал? Они им давно известны. Володю спасти надо. Тем более, ты уже на пенсии...

Она ушла по своим делам, а Николай весь вечер просидел на кухне. О чем он только не передумал в те часы, о чем только не вспомнил. О том, как в детстве он с мальчишками играл в войну, где было только две стороны — фрицы и русские. Фрицами никто не хотел быть, по-

этому тянули жребий: сломанная спичка в зажатом кулаке — ты фриц. Побеждали, разумеется, всегда русские. А что бы сказал отец, прошедший всю войну до самого Берлина? Для него немцы — враги. Он умер несколько лет назад, и уже не узнает, какое его сын замышляет «предательство». Мама ушла из жизни еще раньше, но она была женщиной мягкой и без железобетонных принципов своего мужа. Она бы поняла Лизу, спасающую своего ребенка. Николая же, как и всякого человека его поколения, воспитывали в духе холодной войны: есть два военных блока, один наш, другой — противника. Есть союзники, есть враги, все ясно и понятно.

Так что же случилось с его страной? Почему побежденные в великой войне стали сильнее, но не оружием, а своим отношением к людям? Почему у них можно вылечить человека, а у нас его ждет смерть? Какие такие недоступные нам технологии есть у тех же немцев? Неужели их специалисты умнее и талантливее наших? Или мы живем в Северной Корее — миска риса в день, колючая проволока, пулеметы по периметру и никакой связи с внешним миром?

Разве нет в России специалистов высокого класса, которые идут в ногу со временем, генерируют новые идеи? Наверняка есть...

И тут же перед глазами возникла палата, где находился Володя, озлобленная медсестра, вонь и грязь... И что толку, что врач — человек умный? Больному не легче, что он много знает и умеет. Больному надо выздороветь.

Лиза уехала в Германию первой. Николай задержался, но не потому, что страна не выпускала первоклассного пилота и человека, владеющего какой-то секретной информацией. Все гораздо проще. Николай ждал, когда младший сын закончит учебный год. Ну, а о нем самом нигде, ни в одной инстанции не спросили ни о цели выезда, ни о знании им государственной тайны и секретов.

Не стало огромной империи, а тут какой-то человечек уезжает. Эка невидаль!

#### IV

Кто бы ни рассказывал красивые сказки о заграниче, они все равно остаются сказками. Никто там никого не ждет, и с неба ничего не падает. Смысл один — надо работать. Только своим трудом ты можешь получить то, что нужно для жизни.

Николай и Лиза за свою жизнь «накопили» денег, которых хватило на дорогу и на пару месяцев скромного существования. Сначала жили на пособие, учили язык, искали работу. Началась новая жизнь с самого начала, с чистого листа. Лиза неплохо говорила по-немецки, в ее семье все знали язык, а Николай оказался очень способным учеником. Языковая среда — великое дело, и через полтора-два года он уже вполне сносно говорил по-немецки. Ему этого показалось мало, и он с прису-

щим ему трудолюбием и дотошностью занялся английским, «для себя». А вот с работой ему долго не везло.

Однажды прочитал в газете объявление о том, что требуется рабочий в деревообрабатывающий цех фабрики, что находилась в соседнем городе. В приемной директора он увидел человек двадцать молодых, крепких мужчин, судя по всему, жаждущих работы. Он посмотрел на этих молодцов и решил не ставить себя в глупое положение. Молча повернулся и пошел на выход.

Но тут дверь открылась, и вошел пожилой седой мужчина, как выяснилось позже, хозяин фабрики.

— Почему вы уходите? — неожиданно спросил он Николая.

— Да вряд ли я выдержу такую конкуренцию, — смущенно ответил Николай.

Хозяин улыбнулся.

— Зайдите ко мне.

Почему-то Николай понравился хозяину. Может быть, потому, что старый опытный немец увидел в этом сильном, еще относительно молодым русском настоящем работягу. Разговор у них был недолгий, и на следующий день Николай уже вышел на работу.

Семнадцать лет прошло с того дня. Многому научился он за эти годы. Пригодились навыки, заложенные отцом еще в детские годы. Конечно, он не стал столяром-краснодеревщиком, но как изготовить паркетную доску, как отшлифовать поверхность, чтобы видны были все волокна, жилочки древесины, — научился. Не брезговал никакой работой, стоял с молодыми на пилораме — там могучие стволы деревьев превращались в ровные, как струночки, доски, находилась ему работа и в фанерном цехе. У него была своя метода: на работу он приходил на два-три часа раньше и заканчивал ее раньше. Это увеличивало его производительность процентов на тридцать: все знают, что утром работаете значительно лучше. Хозяин знал об этом и высоко ценил «этого странного русского», как именовали его между собой немцы.

...А пчелы продолжали свою работу.

Зазвонил сотовый телефон, отвлекая Николая от нахлынувших мыслей и чувств. Звонил младший сын.

— Здорово, Саша.

— Здравствуй, папа. У меня радость, я получил степень доктора наук.

— А вообще-то, сынок, я рад не меньше твоего. Приезжай, надо отпраздновать это событие.

— Приеду на выходные. Ты не забыл, что у нас годовщина? Семнадцать лет, как мы приехали в Германию

— Это ты мне напоминаешь? Мы тебя ждем. У Володи все нормально, он работает. Правда, неполный день, но лиха беда начало.

— Имей в виду, я приеду не один.

— А с кем же? — притворно удивился Николай.

— С девушкой, я говорил вам о ней.

— Ну что же, заодно и с невестой познакомимся...

Николай закрыл крышку телефона.

Солнце наполовину спряталось за далекий холм, что маячил на горизонте. День подошел к концу. Высоко в небе планировал ястреб, оглядывая свои владения. Николаю вспомнились слова Франца, сказанные им не более часа назад: «свободная птица».

Интересно, поймет ли Франц разницу между понятиями «свобода» и «воля»? Ну да, по-немецки «свобода» — «фрайхайт». «Воля» — в значении «сила», «мужество» — «вилле». Говоря о свободе, немец наверняка вспомнит «осознанную необходимость», и будет, разумеется, прав. А русский скажет: «век воли не видать» — и тоже будет понят своими соотечественниками, потому что воля — это что-то огромное, без конца и края, что дается человеку с рождением и исчезает со смертью...

Вот такими филологическими размышлениями Николай и закончил этот долгий весенний день на немецкой земле, удивительно красивой, гостеприимной... и чужой...

Тарас ДРОЗД

## КРОВЕЛЬЩИК

## Рассказ

Он топает к себе неторопливо, смачно побряхтывая, будто с неохотой. Каждый день подниматься на чердак — унылая, казалось бы, обязанность. Перед тем, как открыть мастерскую, он непременно выругается или по поводу ключа, извлеченного из тайника, или от вида обитой жестью двери, но плохо покрашенной, или просто так, для разгона тишины. Пройдя через комнату с верстаками, он обязательно ругнется еще раз, открыв дверь в смежную, бытовую комнату, вдвое меньше, каждый раз представляя, как шугает обитающего там духа. Включив люстру, потом настольную лампу, потом старый торшер, он сначала врубит обогреватель, или кондиционер (в жаркое время), затем электрочайник, за ним телевизор, и лишь потом начнет переодеваться. Неторопливо. Большая часть дневной жизни проходит на работе, а потому условия должны быть приятны и должно быть много света. Изю дня в день одно и то же, вроде бы тоска, а ему нравится, и ругается он скорее для того, чтобы эта самая тоска даже голову не поднимала и не вздумала подать голос, заскулить.

Вадиму Абрамову давно за пятьдесят, скоро на пенсию. Все в жизни сложилось, и квартира есть, и дача, и машина. Дочь, правда, замуж так и не вышла, но второй раз поехала стажироваться за границу. А в далеком прошлом государственного устройства по-иному, он дорос до заместителя начальника цеха по техническому обслуживанию, потому как считался мастером на все руки, это вам не хухры-мухры. А когда начался распад, и жуть брала от ощущения, как жизнь рассыпается и катится черт-те куда, а его завод, такой нужный, казалось бы, стал вдруг буксовать, он ушел с него, будто встряхнулся, отогнал затянувшийся сон. Его приятели, с которыми он дышал не один год запахами родного производства, возмущались, спорили, проклинали новые условия, где одни наживаются, а большинство шиш, а он лишь посмеивался, да, мол, скоро все хрен без соли грызть будем, и засосет нас известное место без разбора на богатых и нищих. Потому как такими родились, и винить тут некого, природа.

Сманил его на новое место работы один из бывших начальников, сбежавший вовремя с родного завода налаживать хозяйственную деятельность в изменяющееся государственное учреждение. Куда и зазы-

вал хороших специалистов, а Вадима он знал давно. Вскоре начальник попался на чем-то, и его и оттуда не то выперли, не то сам он вовремя смылся, как ранее с завода. И Вадим облегченно вздохнул, избавившись от наставлений хитроватого опекуна и от прежних утомительных обязанностей работы в большом коллективе. Здесь он был сам себе хозяин. Где-то внизу, на этажах, люди в отделах занимались своими неспешными делами, как в любой организации, сидящей на твердом бюджете, начальство ломало голову, какие помещения еще можно сдать в аренду, а он работал в структуре, содержащей эти самые помещения в надлежащем состоянии. А точнее, занимался самым главным, следил, чтобы кровля надежной была у здания архитектурной ценности. Каждый день его звали что-то починить, разгрузить, переделать, и он никому не отказывал, потому как всегда получал оплату, особенно арендаторы не жадничали. И даже когда забывали отблагодарить, или затягивали с обещанным, он все равно шел на повторный вызов к недобросовестным заказчикам. Но только после того, как осмотрит свое хозяйство. Это ведь особое опьянение испытываешь, когда выходишь на крышу и на минуту закрываешь глаза от ощущения, что ты не на земле. А потом ступаешь по громыхающему настилу и не сдерживаешь восторга от переливов света на оцинкованной поверхности.

Зима эта выдалась снежная, очень снежная. Вот когда он проклинал все на свете. Казалось бы, делай как все: подчистил с утра, где сильно завалило, и уходи пережидать, ну, если погода такая, февраль месяц, весь город стонет, пройдет ненастье, и будем исправлять последствия. А он напяливал каждый день тяжеленные валенки в калошах и шел грести, скрести, откалывать и таскать воду, обильно скапливающуюся в емкостях под кровлей. А в конце дня смотрел на бордовое лицо в зеркале и ругался уже не на шутку. А когда истаяла наконец зима, он, как бы отмахнувшись от случившегося, ругался уже весело и вновь радовался службе, где так много времени на личные дела.

В такой-то денек благости он и зашел в отдел снабжения. Нужно было выклянчить закупку разной мелочевки, часть которой срочно требовалась на дачное хозяйство, на котором сколько ни делай — все мало.

Он уже подошел к завотделом, Серафимовне, как увидел в смежной комнате, за пустующим ранее столом, новую женщину. Начальница и ее помощница, сидящая напротив, заулыбались от вида остолбеневшего просителя с заявкой в руке, а он смотрел и смотрел за распахнутую дверь соседней комнаты. Там находился склад канцелярской дребедени, которая чаще всего требовалась на выдачу, куда за пустой стол обычно приходила одна из работниц, чтобы оформить акт документально, а теперь, поди ж ты, за ним сидела дамочка, завораживающая внимание.

— Ну, чего тебе уже? — весело повторила вопрос начальницы ее помощница, Фая.

— А, вот это, — встряхнулся от наваждения Вадим и протянул бумагу.

— Так, этого нет, этого нет,— завела обычную песню Серафимовна.— Ты че-то много написал. А денег на закупку нет. Денег нет, ты же знаешь.

— Ну, тогда и с меня спроса нет, если работать нечем,— засмеялся Вадим.

— Ладно, что-нибудь придумаем,— посерьезнела завождем, будто вчитываясь в трудно разбираемые каракули.

— Вы уж до завтра, пожалуйста, придумайте,— сказал он, продолжая улыбаться, наклонился, оперев руки в стол, и кивнул туда, в сторону видения.— А кто это?

— А это наша новая сотрудница,— вновь перешла на игривый тон Серафимовна и глянула с прищуром поверх очков.

Вадим был уверен, что послезавтра у него будет заказанное, и не надо идти жаловаться к заместителю директора по хозяйственной части, а то, что старые клухи удивились его реакции на новую работницу, то чего ж тут особенного, всякий мужик должен хоть как-то реагировать на привлекательную особу. И к своему начальнику он все-таки пошел.

Тот изъяснялся прямо, за что и славился. Служебные проблемы решал откровенно. Если возникала гнилая ситуация — что-то рухнуло в старом здании, затрещало, вырубилось, протекло, куча мусора набралась где-то выше головы, — он приходил, смотрел, матерился, выслушивал мнения и ставил задачу. Вызывал Вадима, как самого здорового и умельца, затем кого-то из грузчиков, кого-то из дворников-мойщиков или из электриков-монтажников, и говорил, какой объем надо сделать и какова будет оплата. Не просил, что надо помочь, выручить, войти в положение, не обещал витиевато, мол, работа будет вознаграждена, а называл конкретную сумму. А если понимал, что исполнители осознают заниженность оплаты, пояснял честно: извините, ребята, больше не смогу. Выплата могла затянуться на месяц, а то и больше, но Вадим лишь отшучивался на вопросы сослуживцев, когда же, наконец, заплатят, разумея, как нелегко шефу выгрызть финансовое обеспечение незапланированных работ у вышестоящего начальства. Те-то жуки даже из бюджетных статей отдадут в муках и с кровью, а если вдруг решаться отслюнявить для дела частичку левых доходов, то это факт иначе как подвигом не назовешь. Вадим старался встречаться с шефом пореже, но получалось минимум раз в день, а тут сам, без вызова, приперся в его кабинет. Так, мол, и так, может потребоваться то-то и то-то, а что это за новая работница у нас появилась, на какой такой должности?

— Ты неправильно ставишь вопрос,— ответил шеф.— Главное, не кем она работает, а кто ее привел.

И вкратце изложил суть, немного смущаясь, то ли от того, что докладывает подчиненному, то ли от того, что выглядит сплетником.

Притащил женщину по имени Тамара зам генерального по науке. Любитель этого дела, заслуженный человек. У него семья, взрослые



дети, есть одна любовница из бывших студенток, так он периодически еще находит, и не как простой мужлан — добился своего и до свидания, — а растягивает отношения в сложные, заботливые. Вот и эту, женщину красивую, ничего не скажешь, выдрал из какого-то курятника, где она якобы страдала от петушиных наскоков.

Через день Вадим вошел в отдел снабжения получать заказанное, и, поздоровавшись весело с Фаей и Серафимовной, сразу направился в смежную комнату.

— Э, э, ты куда! — закричали сзади. — Там твоего ничего нету!

А он уже стоял перед объектом притяжения.

— Здравствуйте! Вы у нас кто?

Женщина пролепетала название своего места-должности.

— Вадим, — представился он кивком, улыбаясь широко, щедро.

Она пролепетала свое имя и тоже улыбнулась наконец. Без игривости, напускной строгости или томной многозначительности. Натуральная женственность и скромная простота. Бьющие в самое сердце.

— Очень приятно, — кивнул Вадим еще раз и вышел к неумолкающим. — Ну, чего раскричались? Чего раскудахтались? Познакомиться нельзя, что ли?

— Вон твои коробки, — показала пальчиком Фая. — Распишись. Чего ты лезешь, где нет твоего товара?

Вадим поднял с пола закупленное для него. Две картонные упаковки и пластиковый мешок с железками.

— Ну опять же не то купили, опять купили не то. Я же писал точное название. Здесь диаметр другой. Ну, женщины, ну, в этот раз можно было дать мне денег, я бы сам купил нужное?

— Ага, дай тебе денег, — ворчала, но улыбалась Серафимовна. — Накупишь всякой дребедени, а нам потом на какие статьи?

Она млела от присутствия Вадима. Еще бы, такой мужчина. Да к тому же в чистом комбинезончике.

— А мне теперь что с этим делать? — ворчал и он, улыбаясь. — Ладно, куда-нибудь прилепим.

— Распишись! Пошел!

Расчет был верен. Он пожалуется, посетует, скажет, если спросят, что приспособил купленное «не то» по другому назначению, и вскоре насадка для обработки деревянных поверхностей окажется на его даче. Да и не спросит никто наверняка.

Выследил он ее на пути к ларьку на первом этаже. Обедал народ в отделах. И докупал к чаю вкусенького. Была когда-то в здании столовая, но ее гулкое помещение давно сдали в аренду.

— Здравствуйте, — проорчал он, подойдя сзади, как хищник.

Она шаркнулась от неожиданности, но тут же заулыбалась. От его вида женщины невольно улыбались. Высокий, поджарый, седина как доблесть. Трижды он видел ее у буфета с Фаей, и вот дождался своего часа.

— Я заметил, что вы обычно шоколадки покупаете...

— По телевизору сказали, что это продукт радости...

— Вы телевизору верите?

И тут прямо на его глазах она резко переменялась, будто еще раз шарахнулась в сторону, как испуганное животное.

— Тамара, можно тебя на секунду, — услышал Вадим сзади.

Это был тот самый начальник. Зам генерального по науке. По какой именно и что он в ней делал, Вадим не пытался разгадывать. Мужик проводит какие-то совещания, встречи, перетирает закрытые вопросы, приводит стайки учащейся молодежи, значит, где-то преподает, одет всегда представительно, говорит вежливо, хотя понятно, что его деятельность раздутая, пустая, но получает он за нее куда больше Вадима. Да и машина у него пошкарнее. Но по роже видно, что крепко закладывает, значит, от такой жизни психика работает на износ.

Он вроде бы отзывал Тамару в сторону, но сам подошел к ней, взял под руку и отвел на пять шагов от разноцветной витрины. И стал что-то тихо выговаривать. Тамара дернулась, начала было что-то в оправдание, но он удержал ее за локоть. И продолжил явно не хвалебные высказывания.

Строгий мужчина, оценил Вадим. И оглядел, как выглядит тот, кому хотелось заехать по макушке. Выпирающий и свисающий живот, отчето шикарные брюки топорщились, нос крючком и волосы лохматятся седыми патлами. По внешнему виду не конкурент, но как начальник может вот так запросто увести женщину прямо из рук. Ситуация подсказывала, что лучше бы уйти, но Вадим сделал пару шагов к стене, заложив руки в карманы. Закончит же начальник свою беседу, наверняка дела ждут, а ей шоколадку надо купить, так что Вадим дождется продолжения встречи, не уйдет просто так.

И начальник действительно ушел. Остановился, повернулся, подняв указательный палец, добавил что-то наставительное, и отвалил совсем. А она стояла, явно переваривая что-то неприятное внутри.

— Проблемы? — спросил он, подойдя вплотную.

— Да так, — сказала она и улыбнулась, словно благодаря за то, что он рядом. — Я опять что-то перепутала. До обеда должна быть в снабжении, а после обеда в бухгалтерии... Там и там по полставки... Ну да ладно, ничего...

— Хотите, я куплю вам шоколадку? — предложил Вадим. — Какую вы любите?

— Да нет, ну что вы, я сама, — ответила Тамара и заказала продавщице батончик.

— А хотите, — начал Вадим и поперхнулся от собственной смелости, даже мысль сверкнула, чего это он, надо же, но тут же сглотнул ее, застрявшую в горле, и продолжил: — Хотите, я вам город с крыши покажу? Я на крыше работаю, у меня там такие виды!..

Она посмотрела на него, будто испугалась, оторопела от наглости. И сказала решительно, как делают назло:

— А давайте!

На крыше она взвизгнула. Как-то по-детски, неожиданно. Вадим засмеялся и стал показывать хорошо видные старинные здания, затем повел ее дальше. Металлическая кровля урчала на понятном языке, чтобы наступал смелее, если уж ей приятно, то женщина обязательно затрепещет. А когда он перевел ее на левый край, то первое, что увиделось, — чисто подметенный двор их заведения. С разнокалиберными автомобилями. К одному из шикарных как раз подошел в это время тот, кто внизу, на этаже у буфета, выглядел авторитетным начальником. Отсюда он смотрелся пигмеем в нелепом одеянии. Маленький, сгорбленный почему-то, мельгешащий конечностями, как будто впервые столкнувшийся с дорогостоящей техникой. Но являющийся обладателем ее, собственником. Начальник открыл дверцу и забрался вовнутрь как-то суетливо, будто торопясь.

— Козел, — громко сказала Тамара.

Вадим расхохотался, решив, что теперь-то и впрямь нужно держаться смелее.

И он пригласил ее к себе в мастерскую. На чай у телевизора. Ведь купленную шоколадку следует употребить, а время обеденное. С условием, что к рабочему помещению лучше относиться с шутками, ведь мы люди взрослые.

И она согласилась.

— А давайте!

Но когда подошли к обитой металлом двери, она вскинула руку с чашиками, сморщила лицо, посмотрела в сторону.

— Простите, Вадим, но я совсем забыла. Мне же надо в бухгалтерию, у них-то обед раньше. Я же полставки в снабжении, а полставки у них.

А он уже распалил себя жаркими картинками.

— Давайте в другой раз, хорошо? — лепетала она. — Мне нужно к ним бежать, извините. В другой раз обязательно.

— А чем вы там занимаетесь?

— Документы проверяю. Я ведь по профессии этого профиля. За компьютером сижу. У них плохо знают программу. Побегу я.

— Да я провожу.

— Не надо, что вы!

Неужели обычная женская хитрость, разгадывал он. Неужто она зависла в том возрасте, когда женщине доставляет удовольствие пообещать мужчине, дать согласие, а в последний момент вывернуться отговоркой? Молодых игривых особ такая романтика веселит, возвышает даже, правда, в собственных глазах только. Некоторые заигрываются до наивного девичьего вопроса: «Ты что, обиделся?» Не понимают глупые, что умный мужик просекает их лукавство и на продолжение отношений

не пойдет. И забавляться они будут дальше только с похотливыми самцами, которые могут лишь гундосить и гундосить свое, но от которых можно и схлопотать. Что поделаешь, природа, если уж радуется существо только своим здоровым инстинктам, то и мозговые извилины у него не развиваются, и не поймет оно причину своих страданий в преклонном возрасте, когда жизнеобильные рефлексы станут увядать, отчего только стон в подушку. Так уж устроено, что понимание развивается лишь у способного к человечности, а двуногое животное уверено, что для жизни чутья и нюха достаточно.

Нет, она не такая, у нее на лице столько женственной мудрости. Но и ему выглядеть дальше сладострастным волокитой не хотелось. Он не выказывает больше никакого интереса к Тамаре. К тому же на его интерес уже обратили внимание, стали подшучивать. Значит, все, точка.

Но мысли в голове не успокаивались, роились. По дороге на дачу он чуть было не врезался в тянущийся впереди автомобиль. Громко ругался, проклинал дорожный затор, но понимал, что виноват сам, — задумался и потерял внимание, не углядел. На дачном участке он быстро поделал нужные мелочи, за большую работу браться не захотел, и жена позвала ужинать. Салат из огурцов с пышной зеленью, вареная картошка из прошлогоднего урожая и телевизор. Мясное на ночь не ели по мудреным советам, которые жена не уставала пересказывать. Когда легли, Вадим твердо осознал, что не сможет выдержать данное себе обещание.

Он стал выслеживать ее через день. Сначала решил попробовать успокоиться, но не получилось, и он был рад, что в мозгу шевелится желание, как когда-то в молодые годы.

У ларька с шоколадками она больше не появлялась. Тогда он взялся высчитывать другой маршрут, когда Тамара переходит из флигеля, где работает в снабжении, в главный корпус, где администрация с бухгалтерией. Три дня ушло на определение времени перехода, либо после обеда, либо до, в зависимости от того, где столуется. Женщина, которая делалась все притягательней, дважды выходила без десяти, один раз, неторопливо, без пятнадцати два. Наблюдал он за ней с крыши. Сидишь, обдуваемый ветерком, тебе все видно, а выше тебя лишь птицы, благодать, млеешь от созерцания просторов и от солнышка. Правда, один раз накрапывало. И вороны, будто специально, все чаще грохались на кровлю, как падающие бомбы. Хоть он к ним и привык.

На четвертый день Вадим решил закрепить увиденное с крыши из помещения на втором этаже. С утра шел дождь, сидеть на любимом месте для загорания не хотелось. Просторный кабинет с окнами во двор буквально на днях освободили, незначительный отдел перевели куда-то на более скромную площадь, чтобы освободить метраж, который после ремонта будет сдан в аренду, как он слышал.

Вадим тихо вошел и неслышно прикрыл за собой дверь. Справа от окна в помещении уже находился человек. Дворник Володя стоял спи-

ной ко входу со щеткой-метлой на длинной ручке, его, видно, прислали подмести, линолеум был усыпан всякой дрянью. А вот то, что он делал, удивило Вадима.

На стене красовался огромный плакат с блондинкой в одном купальнике в позе изогнувшейся кошки. В купальнике настолько откровенном, что грудные прелести буквально вываливались. И вот до этого соблазнительного изображения Володя дотрагивался, гладил пальцем. Вадим считал его нормальным мужиком, без похотливых комплексов, а вот, поди ж ты, значит, и порнухой балуется, как ущербный страдалец.

Володя резко, пронзенный взглядом, обернулся.

Вадим задал вопрос громко и строго, как человек высокого роста.

— А мама знает, чем ты тут занимаешься?

Володя засмеялся, шутка ему понравилась, и смущение даже не мелькнуло. Вадим для него свой человек, с пониманием.

— Прислали вот уборку сделать, — пояснил он.

Вадим подошел к плакату. Отпечатано не на бумаге, а на пластике, формат больше обычного, судя по буквам, иностранного производства. Кто-то из работников отдела, занимавший это место, был гурманом страстишек. Хоть человек и высокообразованный, наверняка с приличным воспитанием, но любитель простых жизненных ощущений, природных импульсов.

— А ты ее сними, да заberi на память, — посоветовал Вадим.

— Да я уж пробовал, — сознался Володя, — но они ее чем-то таким приклеили, что никак.

— А меня прислали трубы посмотреть, — соврал Вадим насчет своего появления и сначала дотронулся до стояка, затем постучал ладонью по батарее парового отопления.

И глянул в окно, во двор. Она как раз в это время там проходила. Вадим достал мобильный телефон. Тринадцать сорок восемь, понятно.

— Надо шефу позвонить, что все нормально, — сказал он Володе, нажал несколько кнопок и приложил аппарат к уху. И почти тут же опять посмотрел на экранчик и нажал большую кнопку.

— Занято, потом позвоню.

Уходя, он дал еще один совет:

— А ты отдолби ее вместе со штукатуркой. Хочешь, я тебе инструмент дам? С ними только так и надо.

— Да ладно, чего ты, — засмеялся и отмахнулся Володя. — Это я так, просто. — И начал яростно подметать пол, стеснение все-таки пробило.

На следующий день Вадим ходил по двору в нужное время, осматривая снизу кровлю, инспектируя хозяйство. Когда Тамара вышла из подъезда ветшающего здания, он, задрав голову, пошел навстречу, ведь крыша флигеля входила в его территорию ответственности. Получилось, что встретились случайно. Ведь из окон могли наблюдать. Он и заговорил, продолжая осматривать водостоки.

- О, здравствуйте! Уже отобедали?
- Да, спасибо. Бегу вот на вторую работу.
- А как насчет встретиться? А то получается, извините, что я приглашал, обещал угостить, а ничего не сделал.
- Да-да, конечно. Да, я понимаю.
- Ну, так скажите, когда конкретно, если не против. Где вас встретить? Я могу вам позвонить?
- А давайте завтра? Нет, послезавтра. Нет, лучше... Даже не знаю...
- Телефончик дайте, пожалуйста. Я позвоню и договоримся.
- Нет, лучше вы мне свой. Я сама вам позвоню, так будет лучше.

Когда буду знать, когда смогу.

Вадим назвал цифры мобильного. Она кивнула и пошла дальше.

— Вы не забудете? — крикнул он.

— У меня хорошая память, — ответила она, не оглянувшись. — Сейчас в отделе запишу.

Не позвонит, понял он. Значит, игрунья, привыкла мужиков разводить. Жаль, а по лицу не скажешь. Ну что ж, затяни покрепче узел, через пару дней пройдет.

Но она все-таки позвонила. Именно через пару дней, когда он совсем поставил крест, оставалось немного потерпеть до полного равнодушия.

— Я согласна встретиться. Только на крышу я к вам не полезу. Давайте где-нибудь в городе?

Он не знал, где какой ресторанчик получше, к тому же их развелось такое множество, что запутаешься. Она тоже плохо разбиралась в застольных местах отдыха, но любила одно кафе, бывшее когда-то мороженицей.

— Правда, оно в другом районе...

— А мы туда на машине подъедем, — предложил радостно Вадим. — Я вас буду ждать на улице, там, где выезд со двора.

— Нет, давайте подальше.

И назвала улочку за углом, где небольшой садик, у решетки. Он назвал марку и цвет автомобиля.

Сидя в машине за пятнадцать минут до встречи он весело размышлял. Чего это с ним? Он в молодости не проявлял такой активности. На заводе женщины его первыми соблазняли, покоренные внешними данными, и быстро надоедали, особенно, лукавые красавицы. Жену он выбрал себе неторопливо, без горячей увлеченности, приглянулась неказистая на вид, но скромная девушка, широкая в кости, явно заботливая хозяйка, он пригласил ее сначала в кино, потом на прогулку, потом за грибами, а потом бухнул в самый неподходящий момент, на улице под дождем: «А выходи за меня?» Вот только дочка, к сожалению, взяла внешность от нее, а не от папы. Природа, ничего не поделаешь.

Тамара подошла к машине оглядываясь, будто за ней следят. И сразу к дверце пассажира, открыла, села, закрыла. И назвала адрес куда ехать.

— Здравствуйте, Тамара!

— Ах да, здравствуйте, извините, — улыбнулась наконец и она.

Поехал он неторопливо и, не зная, как завести серьезный разговор, задавал шуточные, глупые вопросы. Как справляетесь на двух работах, не сильно ли разрываться приходится? А чем сейчас занимаетесь, что пересчитываете? А кто вами командует, в снабжении-то понятно, Серафимовна, а в бухгалтерии кто?

Ответы звучали простые, так и положено отвечать на дежурные вопросы. Все нормально, ничего, справляюсь...

Вадима подмывало спросить про начальника, который так хитро ее устроил, когда вакансий-то нет (просто так с улицы к ним не попадешь, он пробовал недавно устроить своего дружка, ничего не получилось). Но удержал себя, предчувствуя, что разговор на эту тему еще случится.

Кафе притягивало уютom. Пока выбирали стол, Тамара объясняла, как здесь неплохо было раньше, а теперь вообще хорошо. Она хотела забиться в темный угол, а он настоял сесть за стол у громадного витринного стекла, полумрак ему в мастерской надоел. Он забыл, когда бывал в подобных заведениях, поэтому держался разухабистым знатоком, чтобы веселостью скрасить неожиданную оплошность, если промах вдруг выскочит от незнания ресторанного этикета. Заказ сделали быстро. Она попросила мороженого и кофе, а он решил перекусить основательно, салатом с мудреным названием и запеченной форелью.

— Пить ничего не будем? — галантно спросил Вадим, пока официантка не ушла.

— Так вы же за рулем, — удивилась Тамара.

— Ах да! — махнул он рукой, понимая, что выпить бы не помешало, после рюмки-другой толковать легче.

Начала она. Сразу с главного. Еще на стол ничего не принесли, чтоб можно было едой как-то растягивать паузы.

— Вы, если я правильно понимаю, хотели бы, чтобы наше знакомство переросло во что-то большее, да? В какие-то отношения?

Вадим посмотрел туда, куда ушла официантка. Скорее бы вернулась.

— Так вот, Вадим, я боюсь, что обижу вас, мои объяснения вам не понравятся, но... Но надеюсь на понимание, вы же взрослый мужчина. Поэтому, извините, но давайте сразу все оговорим, чтобы все понятно было.

Ну вот и началось, тоскливо подумал он, лучше бы на сытый желудок, попозже. А в принципе, чего тянуть? Он же уверен был на девяносто процентов, что беседа примет именно такой оборот. Еще вчера и позавчера предчувствовал. Зачем же тогда пошел, добивался этой встречи? Потому что оставалось десять процентов надежды!

— Понимаете, Вадим, я очень многим обязана тому человеку, который меня устроил к вам на работу. У меня с ним отношения. Давно. И отношения не простые, я ему дорога, ведь он же ради меня пробил эти

две полставки. Понимаете? Уже давно сложившиеся отношения. Мы с ним встречаемся.

Где? — хотел крикнуть он. Сколько раз в неделю ты с ним это самое? Но сдержался. Не дал вырваться грубости.

— Поэтому я очень-очень не хочу, чтобы он... Чтобы резко вот так все прервалось... Даже чтобы он чего-то заподозрил, не хочу. Не хочу я доставлять ему огорчений, понимаете? Это ведь будет не огорчение даже... Даже страшно подумать, что это будет. Вот так взять и все разрушить? Вы не представляете даже. Ну и куда я потом?

Воспоминание как будто стрельнуло в голову. Вадим словно поперхнулся, закашлялся даже. И сказал следующее:

— Мне показалось... Да не то что показалось, я ведь слышал, что вы сказали о нем на крыше. Помните? Так что я тогда уже понял, что да, отношения у вас были, он, конечно, для вас постарался, устроил на такую работу, и зарплата, наверное, ничего... Я не спрашиваю какая, не говорите!.. Только я так понял, что для вас это продолжение с ним не совсем чтобы приятное, что ли... Не совсем по душе, вот! Я даже когда смотрел, как он с вами разговаривает, то почувствовал, что не может он вам нравиться. Ну, никак не может. Больше скажу. Неприятен он вам. Так ведь?

Она глядела на свои пальцы, которые пытались подчистить что-то на скатерти.

Ого! — воскликнул про себя Вадим, увидев, как ее возбуждение, горячее желание серьезного и строгого разговора ушло куда-то в эту самую скатерть, как в песок.

— Ну, тут вы, конечно, — забормотала она, желая скрыть смущение, что не удавалось, и Вадим видел это. — В чем-то вы, конечно... Но это ничего не меняет.

— Да почему же не меняет? — пошел Вадим в атаку, воодушевленный тем, что попал в точку, в самое главное. — Если он вам не нравится, то надо порвать с ним. И все! Если не по душе, то зачем мучиться?

— Вы не понимаете... Нет, конечно, вы все прекрасно понимаете, но вы меня не поймете. Да, он чем-то меня раздражает иногда, но это сейчас, а когда-то нравился, был привлекателен, ухаживал так, как никто. Подарки дарил! И сейчас дарит! Самое главное, что я ему нужна, он обо мне заботится, понимаете? Где я найду еще такую работу, кто меня возьмет? А у меня две дочки. Он много для них сделал, устроил младшую в хорошую школу. Поэтому Вадим, я очень вас прошу... Даже если вы не можете понять, или не хотите, то примите как данность, ну, вот как есть, как то, что нельзя изменить, как жизнь, одним словом... Что между нами ничего не может быть. Я не хочу никакого развития отношений. Поэтому очень прошу вас, умоляю даже, не настаивать. Я на эту-то встречу согласилась с большим риском. Если кто-то видел, как я садилась в вашу машину, и об этом станет известно ему, то я не знаю, что меня ждет. Поэтому, Вадим, прошу вас...



Теперь ему просто захотелось выпить. Долбануть сразу большую порцию. Он еще раз посмотрел на служебный выход, закрытый красивыми портьерами. Официантка, словно почувствовав его взгляд, появилась, и он махнул ей. А когда она подошла, сказал резко:

— Грамм триста водки.

Но тут же спохватился.

— Или побольше? — предложил Тамаре. — Давайте тогда за прощанье, чтоб как-то душевно. Поллитры нам хватит? Или лучше вина? Говорите, какого. Какое у вас есть, девушка?

— У нас всякое есть, — ответила, улыбаясь, немолодая официантка. — Принести меню или так закажете?

— Не надо ничего, — категорично подняла руку Тамара. — Мне ничего не надо! Ему триста водки, а я не буду.

Официантка ушла.

— Вообще не пьете? — спросил Вадим.

— Мне нельзя, — ответила она как-то жалобно. — Я когда выпью — делаю глупости. Необдуманные поступки делаю. Если я с вами сейчас выпью... Понимаете, Вадим, вы мне тоже ведь понравились... Сразу понравились, от вас исходит такая положительная энергия... Если б вы слышали, что про вас наши женщины говорят... Вы не можете не нравиться... Но если я с вами выпью, то могу поддаться чувствам... А если вы выпьете и начнете настаивать, то я просто... Я ведь могла не согласиться на эту встречу, была даже мысль не звонить вам и все. А потом подумала, что надо бы поговорить по-человечески. Дать понять, чтобы вы не продолжали, не настаивали. Я ведь согласилась на эту встречу из уважения к вам, что ли. Понимала, что рискую, но согласилась, понимаете? Поэтому, пожалуйста, дайте слово, что не будете, когда выпьете, продолжать эту тему.

— Хорошо, — сказал Вадим и опустил голову, чтобы скрыть прихлынувшую к лицу радость. Не все потеряно! Она тоже к нему равнодушна, вот в чем дело!

Он поднял на нее сияющие глаза.

— Хорошо, когда выпью, не буду. А сейчас пару слов разрешите? Вот вы говорите, что он заботится о вас, о ваших дочках, подарки дарит. Так ведь и я буду заботиться. Вы боитесь потерять работу? А вы не бойтесь. Вместе уйдем. Место хорошее, конечно, трудно будет такое же найти, но что же из-за этого жизнь себе портить? Это как получается, если в туалете горячая вода и тепло, а в комнате холодно, то лучше жить в туалете? Животные, наверное, так и сделают, но мы же люди. Уйдем вместе, найдем работу, чего бояться? Я запросто найду, вам даже не надо будет работать первое время, все будет, и для вас и для дочек. Я ведь могу большие деньги зарабатывать, я всю жизнь пахал, надоело просто. Тут чем хорошо, пришел, поковырялся с утра и свободен. А если жить только ради больших денег, то ты уже не человек. И морально и физически уродуешься.

— Но у вас же семья. Говорят, вы примерный муж, жену свою любите.

— Да не люблю я ее! — словно отмахнулся Вадим, замер на мгновение от мысли: «Чего это со мной, чего это я разошелся?» — и продолжил:— Для меня жена не преграда, если по-настоящему. Кажется, я в первый раз такое говорю, но это правда.

— А дочь?

— Дочь давно живет своей жизнью. За границей учится. Учится и учится, нравится ей. Причем от моей помощи отказывается. Не надо мне, папа, говорит, я сама неплохо зарабатываю. Она в каких-то там программах большой специалист, ее ценят как добросовестную.

— Вся в отца. Красивая?

Вадим хотел соврать и не смог. Замер, будто наткнулся на что-то. И тут накатило осмысление. Куда это его занесло? Он что, уже от жены отказывается? Тормози, парень!

— Нет, Вадим, — перехватила разговор Тамара.— Вы говорите убедительно, я вам верю, не думала, что так серьезно будет, как-то даже удивительно... Я понимаю, бывают увлечения, эмоции захлестывают, чувства иногда такие, что не совладать... Но зачем же так резко? Необдуманно как-то. Мы уже немолодые люди. Не надо продолжать, Вадим, пожалуйста. На вас, наверное, как-то подействовали мои слова? Так вот, я беру их обратно. Вы мне нравитесь, конечно, очень нравитесь, но не до такой степени, чтобы разрушить устоявшуюся жизнь. Я не хочу продолжения.

Тут подошла официантка со спасительным подносом. Перед Тамарой поставила мороженое, перед ним графин, рюмку на длинной ножке и салат.

— Запивать будете?

— Еще одну стопку принесите, — ответил Вадим на заботливый вопрос.

— Зачем?! — вскрикнула Тамара.— Я не буду!

— Ну, если мы прощаемся, то давайте по-человечески. Как-то по-доброму надо. Если мы расстаемся.

Он был уверен, что ее надо заставить выпить. Если она боится совершить от выпитого неразумный поступок, то надо ее к этому подвести. «Ты от меня не уйдешь, ты уже клюнула». Азартные мысли цеплялись одна за другую.

Официантка принесла вторую рюмку, кувшин с напитком и спросила Тамару, чем она будет закусывать.

— Я мороженым буду. Я люблю мороженым.

Вадим налил осторожно ей, потом себе.

— Ну что, за расставание? Видите, как происходит? Мы не знали друг друга, увидели только, почувствовали, что нравимся, между нами ничего еще не было, а уже прощаемся, как будто что-то было.

— Да, интересно, — кивнула она и тоже подняла рюмку.

— Потому что не хочется, как вы говорите, разрушить устоявшуюся жизнь? Чувства рвать можно, а жизнь нельзя?

— А что чувства? — улыбалась она ему, словно благодарила за понимание. — Чувства проходят.

— Так ведь и жизнь проходит. И если она пройдет без чувств, как бы потом не пожалеть.

— Что будет потом — неизвестно. Не надо ради какого-то призрачного «потом» ломать хорошее «сейчас».

— Но ведь это самое «потом» можно сделать лучше, чем сейчас.

— Вадим, ну, пожалуйста, мы же договорились, пьем за расставание. Хотя, мне кажется, что мы останемся хорошими друзьями. Давайте за это?

— Хорошо.

Вадим проглотил водку, стал механически закусывать. Он ее дожмет, как только она чуть захмелеет. А Тамара опьянела сразу. После двух ложек мороженого из нее вдруг вырвался смешок. Вадим тут же схватил за горлышко графин.

— А вот по второй я пить за расставание не буду. Я хочу за другое. Вы мне, Тамара, понравились еще больше. Вы сейчас вот объясняли, почему не можете уйти от того человека, и у меня к вам какое-то уважение даже. Я в вас не ошибся. Вы очень преданная. А это в женщине самое главное. Причем подобное качество встречается все реже и реже. Если человек для вас много сделал, вы ни за что ему не измените, даже если к другому чувства там, симпатии, всякое такое. Вы не игрунья, как все бабы. Поэтому я с вами расставаться не желаю. Вы говорите, что мы останемся хорошими друзьями? Нет, Тамара, у нас должно быть серьезно, по-настоящему. Я уйду от жены, уйду с работы. Первым уйду. А потом уйдете и вы.

У нее лицо перекошилось.

— Вы что же, надумали разводиться?

— Да, надумал.

— Мы же хотели просто встретиться и поговорить... Вы же сами говорили, что угостить приглашаете... Зачем такие жертвы?

— Я, когда ехали в этот кабак, ничего такого не думал. А вот здесь вдруг понял. Я, когда шел сюда, у меня даже мыслей таких не было. А выйти отсюда хочу другим человеком.

— Да почему, зачем?

— Да что ты удивляешься? — резко перешел он на «ты». — Я не бабник, мы не дети. Все должно быть по-взрослому. Я уйду, уволюсь, ты не спеши, не торопись, пока у тебя у самой не появится желание. Ну, должен он тебе надоест, должен стать отвратительным настолько, что ты с ним больше не захочешь ни за какие копейки, ни за какие коврижки. Дозрей. А за меня не беспокойся. Я сейчас приеду домой и жене все выложу. Нет, не поеду, я ей позвоню. Она на даче, мы летом на даче живем,

а в городе квартира. Я сегодня на квартире ночевать буду. А ей позвоню, что буду жить здесь, а зимой поменяемся, я переберусь на дачу, а она на квартиру. У меня дача недалеко. Дом хороший, все есть, зимовать можно.

— Вадим, пожалуйста, поймите...

— Да не хочу я ничего понимать! Меня всю жизнь только и поучают: ты пойми, ты пойми... Ну понимал я, да, понимал, все делал правильно, как надо, и вроде бы все у меня есть, только вот счастья не было почему-то. Нет, были, конечно, моменты. Когда на работе хитрый заказ сделаешь. Бьешься, бьешься, и вдруг получается. Ну такое удовлетворение испытываешь. На рыбалке моменты бывали, в лесу. Но чтобы так, по большому счету... Не было. А может, и не бывает никакого счастья? Живи да радуйся. И такие мысли приходят иногда. Только вот внутри все чаще какая-то тоска и понимание, что бывает, было, могло бы быть. Раньше не чувствовал, а в последнее время все чаще. И так хочется, чтоб было как-то по-настоящему, вот так, реально, а не как в дурацких сериалах, которые моя жена смотрит. Понимаешь? Я тебя понял, ты молодец, ты настоящая. Но и ты меня пойми. Поэтому я хочу выпить за то, чтобы мы вышли отсюда другими людьми. Хочешь, можем отсюда прямо ко мне поехать? Не хочешь — не поедем. Я тебя домой на такси отвезу. Машину здесь брошу, завтра за ней приеду. Ну что, выпьем за это?

И он откинулся на спинку стула, рассматривая ее лицо, на котором ответ должен был сначала мелькнуть. И ожидал гула сомнений в своей голове, угрызений, сожалений, что наговорил такого, после чего должно что-то где-то рухнуть. Надо же, какие-то слова, а после них жизнь по-другому, неизвестно, страшновато. А что, неплохо наговорил, похвалил он себя, ощутив удовлетворение, как от хорошо сделанной работы. Сожалений не появилось.

— Ну, хорошо,— сказала она серьезно, перебирая что-то внутри себя.— Давайте выпьем.

Он взглянул на нее и понял, что не добьется желаемого. Тамара на глазах возвращалась, становилась той, которой начинала разговор, хмель пропал, на лице появилась нешуточная хмурость.

— Вы сказали, за что хотите выпить, а теперь послушайте меня. Вы ехали сюда и не думали, что наговорите всякого такого. Я тоже не знала, что разговор примет такой оборот. Извините, Вадим, но я вынуждена дать вам неприятный ответ. Я вас очень прошу, не надо разводиться, уходить из семьи, увольняться с работы. Особенно увольняться. Потому что я не сделаю того, чего вы хотите. Вы не правы. Как бы он, этот человек, не был иногда неприятен, он не станет мне отвратительным настолько, что я не захочу с ним ни за какие копейки, ни за какие коврижки, как вы говорите. Захочу. Вот именно за копейки и захочу. Сознательно, с желанием и весело, да. Это раньше, в молодости, когда алые паруса, романтизм и все такое, я, может быть, и приняла бы другое решение. Но сейчас мы живем

в условиях, когда эти самые копейки диктуют все. К сожалению. Но если ты, живущий сейчас, не ощущаешь радости, позитива от нынешней жизни, то рискуешь вылететь из нее вообще, превратиться в злобного уродца, стать отшельником, закончить в психушке. Если ты не хочешь жить так, как она устроена, эта жизнь, то лучше не жить. А я должна жить, у меня дочки. Поэтому и должна радоваться и благодарить Бога за то, что послал мне такое везение. От добра добра не ищут, как говорится. Этот человек мне не надоест. У меня все хорошо, благополучно, дочки веселы, у них перспективы, неужели я вдруг пойду на риск только из-за того, что вы мне нравитесь? Не пойду и не хочу. Да, вы мне нравитесь, очень нравитесь, но я просто вынуждена...

— Да почему вынуждена?! — крикнул он и тут же заговорил тише. — Ты же не автомат, не машина. Почему вынуждена? Это у механизма, у компьютера, нет понимания, что хорошо, а что плохо, и он всегда делает все по заложенной программе, логично, расчетливо, у него такой выбор. Но ты же человек. А если человек живет только в рамках расчета, выгоды, то как бы не называли такую жизнь свободной, ты не человек уже. Тебе кажется, что ты свободна, тебе твердят, вдалбливают про твою свободу, но на самом деле ты всегда будешь делать так, как заложено в программах этих шоу, которые со всех сторон.

— Вадим, пожалуйста, не перебивайте. Вы меня не собьете. Да, вы мне нравитесь как человек, и как мужчина нравитесь, но чтобы я из-за этого бросилась, как ненормальная, в какую-то неизвестность? Нет, вы извините. Поэтому я ваше предложение отклоняю... Только очень прошу, не увольняйтесь! Не увольняйтесь из-за этого. Господи, мне вас так жалко!.. Вы не представляете, как вас все любят и ценят. И если вы уволитесь, и если вдруг заподозрят, что из-за меня, а именно так оно и будет, то мне тоже придется уйти. Понимаете?

— Понимаю, — выдохнул он. — Я все понял. Я одного понять не могу, неужели ты из-за того, что все так, якобы, хорошо и благополучно, можешь счастливо и радостно продолжать эту жизнь? Она же не натуральная, не настоящая. Это какая-то игра.

— Да, в чем-то вы правы, наверное. Это жизнь, как в аквариуме, как в компьютере у моих дочек. Но она мне нравится. А что такое настоящая жизнь? Страдать, мучиться, испытывать всякие трудности, да? Нет, я этого не хочу. Было такое в молодости, хватит.

— Так всякие трудности и делают жизнь интересной. Ты человек, а не товар, который покупают, назначают цену, говорят, где твое место. И не домашнее животное, которое за жрачку будет мурлыкать и делать стойку. Тебе нравится не сама жизнь, а игра в жизнь? Которую показывают по телевизору, где все веселы, счастливы, кривляются, прыгают, юмор этот дурацкий, дебильный какой-то.

— Так, а ничего другого нет.

— Нет, или ты не хочешь, чтоб было? Тебе другого не надо?

— Да, не хочу. Мне нравится такая игра. Если человечество к этому пришло, то это ведь результат цивилизации. Только я вас очень прошу, Вадим, не увольняйтесь, пожалуйста. Дайте мне слово.

— Пока не знаю. Может быть, ты подумаешь?

— А я обо всем давно подумала. И перед встречей с вами и раньше, когда другой мужчина предлагал мне то же, что и вы сейчас. Он, правда, с разводом не торопился. Но предложение было аналогичным. Вадим, повторяю, вы мне очень нравитесь, но я сделала выбор. Ой, что на работе будет, подумать страшно. Вы не уволитесь?

— Подождем. Ничего обещать не могу.

Тамара подняла наполненную рюмку.

— Ну что ж, мы выяснили наши позиции, я знала, что придется быть не только серьезной, но и жестокой, наверное... Вы уж простите, но так надо. Я благодарна вам за приглашение, за ваши чувства... И хочу выпить за вас, такого настоящего. Не сердитесь, пожалуйста, но я выпью и сейчас же уйду. Очень прошу не провожать, дайте мне уйти одной. Пожалуйста. Только увольняться не надо.

Она выпила, вытерла салфеткой уголки губ, встала, кинула на плечо сумочку и быстро пошла на выход. Вадим посмотрел на рюмку и выпил тоже.

Это было в пятницу. Из кафе Вадим поехал на квартиру на машине, забыв о том, что выпитом. Он добрался без проблем по каким-то неписанным законам допустимой справедливости. Пошел в супермаркет за бутылкой водки и пельменями. Приготовив горячее блюдо, выпил три раза по полстакана, стараясь закусывать, хотя есть не хотелось. И решил все-таки позвонить жене, догадавшись, что теперь-то у него язык правдоподобно заплетается. Он объяснил ей, что встретился с друзьями, ну и поехал к одному из них на дачу, в баню сманили, загудел, так что не жди, когда вернусь — не знаю. Жена на следующий день дважды перезванивала. Что значит «загудел»? Такого никогда с ее мужем не бывало. Если в один вечер сядет выпить в честь какой-нибудь даты, то на следующий день в рот ничего не возьмет, потому как черепашка у него раскалывается, не запойный он. А тут что, несколько дней, что ли? «Ты хоть в воскресенье-то на свою дачу приедешь?» Вадим обещался в понедельник после работы.

В понедельник он сидел перед обедом на крыше, там, откуда хорошо просматривался двор, на сооруженных специально козлах. Он почему-то решил, что если она, проходя из флигеля, поднимет голову и увидит его, да еще ответит на его приветствие, то у него не все потеряно. Тамара появилась из подъезда руководства. Причем сначала вышел зам по науке, а потом она, за ним. И направились к его машине. Ну, подними голову, подними, гипнотизировал ее Вадим. Она сделала это, когда подошла к автомобилю и открыла дверцу. Собралась уже сесть в салон и посмотрела вверх. И встретилась с ним взглядом. Вадим взмахнул ей ладонью, мол,

привет. И если б она хоть полужестом, хотя бы улыбкой ответила!.. Но Тамара опустила голову и села в автомобиль.

Ну что же ты, сказал он ей мысленно. Куда тебя кормящий поведет, туда ты, как телочка, и пойдешь? Совсем бесхарактерная по сравнению с моей женой. Та, если что-то не по сердцу, упрется так, что с места не сдвинешь. Ну и ладно, если выбрала сама такие игры, туда тебе и дорога. Природа, ничего не попишешь.

И Вадим Абрамов поднялся во весь свой богатырский рост, посмотрел на облачную даль поверх крыш и запел. Само собой вырвалось что-то разудалое и с тосковиной.

*Санкт-Петербург, декабрь 2010 — февраль 2011*

Игорь ШНУРЕНКО

## Великолукский блюз

Ты хочешь знать, малец, что такое великолукский блюз. Ты слышал Джонни Ли Хукера и Билли Холидей, ты знаешь, кто такой Мадди Уотерс и Рэй Чарльз, тебе нравятся Джейк и Элвуд, блюз-братья. Ты говоришь, что много путешествовал, малец. Ты бывал в «Презервейшн Холл» в Новом Орлеане, в «Блю Ноут» в Нью-Йорке, в «Гранд Эмпориум» в Канзас-Сити и блюз знает где еще. Ты говоришь, что видел блюз, малец, и у меня нет оснований тебе не верить. Теперь ты сам пришел в этот террариум, взобрался на этот жалкий шесток, зудишь своим луковым диктофоном и чавкаешь своим луковым кофе. Ты чавкаешь своим луковым кофе, малец, показывая свое неуважение ко мне. Натянул я на лук и тебя, и газету твою, и все ваши вокзальные журналы, особенно журналы на бумаге, которая режет кожу, на сотой плотности глянце, который сминаешь часами и который пахнет кислой блевотиной; и студии ваши натянул я на лук, и всех ваших ведущих с телефонами в волосатых ушах и с микрофонами на дряблых сосках, и пустые сосуды ваших комментаторов натянул я на лук, и отверженное серебро ваших аналитиков натянул я на самый большой лук, и мелких угодливых слухачей, — вроде тебя, малец, натянул я на лук вместе со всеми вашими, блюз-микрофонами, телефонами и диктофонами. Все ваши телефоны и типографии и лукографии, и все ваши отделы и подотделы и разделы и, блюз-политотделы, и передовицы ваши натянул я на лук, и все ваши подвалы, из которых не понять ни лука ни копыя, натянул я на лук. И положил я на блюз, положил я блюз на всю вашу заказуху и всех ваших экспертов и аналитиков, кадящих во множестве, и всех ваших критиков, всех этих стригущих волосы на висках, натянул я на лук, и всех этих меняющих галстуки натянул я на лук, и всех этих дергающихся мертвецов, и всех этих ничтожных марионеток, и всех этих вымазанных крашеной землею девок, короткой строкой положил я на блюз.

Ты говоришь, малец, я интересен вашим читателям и поэтому ты сел в темный, пропахший тленом днепропетровский поезд, полсутокпил стылый чай из железнодорожной воды. Ночью ты пошел через вагон купить кисло-сладкого черниговского пива, пахнушего, как пол зала ожидания Витебского вокзала в четыре утра. Ты сел в этот блюзовый поезд и приехал сюда, на самый край России какой мы ее знаем, в сладкие и испорченные Великие Луки. Ты ехал вместе с лысым маленьким желтым китайцем с креповым шарфом вокруг желтой усталой шеи и в желтой свалывшейся жилетке, который читал свою желтую книгу и писал что-то в свою желтую тетрадочку. Китаец тоже стремился в сладкие и испорченные Великие Луки,



где так дешев творог и так много дешевых раскрашенных девок. Ты ехал рядом с семьей шумных толстяков, которых никто не любит, потому что они толстые и жадные. Пока их родители стояли в неудобном холодном тамбуре, дети заперлись в купе и никому не открывали, ни одному из ломающих дверь педофилов. Проводница закрыла свое купе и всех, кто к ней приходил, громко и внятно посылала петь блюз. Ты прошел через все это, малец, хотя мог бы пойти на пресс-конференцию какого-нибудь умника и быть счастлив. Твой коллега по отделу высокой жизни ночью пил водку, ел икру и икал от несвежих анекдотов. Тебе не повезло, малец, и уже в шесть утра ты вылез в грязном снегу Новосокольников, чтобы успеть на рабочий дизель на Великие Луки.

Ты принес жертву, малец, и в некоторой степени она вознаграждена, потому что ты сидишь сейчас на одном из этих гладких кожаных шестков рядом со мной и слушаешь то, что я хочу сказать еще с раннего утра. Ты находишься в городе, где в настоящий момент бьется сердце мира, в том месте, где у опрятной молодой буфетчицы можно недорого купить пирожки богини мира. Через Великие Луки проходит сейчас ось Вселенной, и ни один умник из академии лукографии не докажет мне обратного. Купил ли ты батареек для своего диктофона, малец, и имеешь ли ты достаточно кассет? Потому что я должен сказать то, что я говорю, потому что я поставлен на то, чтобы обличать словом народы и натягивать на лук. Я поставлен, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать, и за это мы с тобой выпьем несколько позже...

Ты, думаешь, малец, ты можешь понять этот город за два дня точно так же, как ты понял за два дня какое-нибудь финское Зимбабве. Тебе бы надо было, малец, взять билет в другую сторону и ехать в свое финское Зимбабве, где ты бы прошелся по магазинам и все понял за два с половиной часа. Тебе нужно было поехать в свое финское Зимбабве или свою чухонскую Москву, плюнуть с балюстрады на Александровский сад. Тебе нужно было просто сидеть на вокзале и обнюхивать входящих и выходящих и брать интервью у тех, от кого воняет лососиной. Ты решил приехать сюда, в стоящие особняком Великие Луки и хочешь за два дня понять то, что я не понял здесь за сорок лет полного блюза. Ты хочешь приехать, посидеть возле реки и, глаза на одну из четырехсот четырнадцати местных достопримечательностей, глотать из горлышка пахнувший железом и тряпкой белорусский самогон. Ты думаешь, это будет великолукский блюз каким мы его знаем. Хей-хей-хей-хей, малец, хей-хей-хей-хей-хей. Ты хочешь взять водки? У тебя есть деньги? Здесь продают одну дрянь, малец, что бы ни там ни было на этикетке, «Пшеничная», «Джим Бим» или «1812 год». Лучше позже, несколько позже мы пойдем в одно место, на одну квартирку, и возьмем там доброго самогона, потому что без этого сегодня мы не увидим Иерусалим.

Ты знаешь теорию Эйнштейна, малец? Эту теорию преподают теперь везде, и заключается она в том, что все относительно. Нас учат так в школе,

нам пишут об этом в газетах, нам рассказывают об этом говорящие головы, луковые глотки поют нам об этом хрипылыми голосами в эфире. Эйнштейн полагает, что камень — это всего лишь камень, и дерево — это просто дерево, и вода — это просто вода, просто вода, так же как человек — простой мешок костей, несущийся вместе с галактикой неизвестно зачем по пустому пространству.

Когда камень — это только камень, он не знает того, что он камень, потому что он не знает ничего другого, он ничего не знает. Он летит себе в пространстве камнем, и его обгоняет любой другой камень, и они не знают о существовании друг друга. Камни чувствуют силу взаимного притяжения, но это ничего не меняет. Чем быстрее летит камень, тем он тяжелее, и тем сильнее он влияет на другие камни. Он искривляет пространство, говорит Эйнштейн, и замедляет или ускоряет другие частицы. Но его скорость относительна, и его тяжесть относительна, и его влияние относительно. Только свет, говорит Эйнштейн, не меняет свою скорость никогда и ни при каких обстоятельствах, и его скорость не относительна, а абсолютна. Каждая частица во Вселенной знает сама себя, и ведет себя соответственно. И если есть относительность, то это только та относительность, которая зависит от наблюдателя. Это ему кажется, что все относительно, и все зависит от его места во Вселенной, а на самом деле, он видит только то, что он видит, и его обман зрения связан не с устройством Вселенной, а с его собственным заблуждением.

И ты будешь записывать, будешь записывать все, что я сказал, малец, или не будешь записывать ничего. И ты напечатаешь, ты напечатаешь, малец, каждое мое слово, или ты не напечатаешь ничего. Ты не должен бояться, малец, если я назову Господа Господом, утробу утробой, блюз блюзом, потому что есть Господь, который все создал таким, какое оно есть, есть утроба, из которой мы все вышли в блюз. И если вы будете продолжать разводиться, я приду на вас и произведу над вами суды, сказал Господь. И будет плакать земля, малец, и потемнеют небеса, и земля будет разорена и пуста, и все уйдут в леса и пустыни и влезут на скалы. Так сказал Господь, и у нас нет оснований ему не верить, о чем бы ни писали строкогонны и просто заблуждающиеся. Так что не бойся, малец, если в ходе своего интервью я не буду тянуть тетиву, как другие, а перейду прямо к сути. Не бойся их, ибо я с тобою...

Я знаю, как тень появляется в окне мертвого железного поезда, и как эхом отвечает силуэт в стекле большой кирпичной башни на кокосовом псковском снегу. Я знаю, как блюз умирает в блевотной луже подъезда чужого дома. Я знаю, как мой брат, которому столько же лет, мой седой маленький брат, который обещал бросить пить, заворачивается в этом подъезде в старую рваную куртку, прячется в нее, как в индейский вигвам, в который мы прятались в детстве, в вигвам, который мы делали из одеяла. Ему не нужно ехать ни в Невель за товаром, ни в Фивы за своей судьбой. Потому что он не доживет до утра, малец, и в чужом подъезде оставит свой великолукский блюз. Я знаю много вещей и я видел много людей, но мы

оставим это в стороне сегодня, потому что у тебя на все не хватит пленки и через два дня ты должен будешь вернуться к своим.

Сегодня мы должны поговорить о душе, малец, потому что она имеет вес. Вы пишете в своих газетах, что какой-нибудь начальник имеет вес. Вы делаете рейтинги в вашем луковом ящике, и ты не говори, что не имеешь к этому отношения. Каждый, кто лгал публично, имеет к этому отношение, и будет растерзан дикими зверями. Так сказал Господь, который наведет пагубу на тех, кто не ищет истину. Ваши рейтинги показывают, кто из лукоболов имеет больше веса, кто сколько сожрал за неделю и пошло ли это ему впрок. Это отверженное серебро, малец, и ты об этом должен знать. Они весят, и они весят больше, и они весят все больше и больше, и это такая же правда, как то, что птицы гадят на вождей. Птицы гадят на все, что перестает двигаться, на все, что перестает делать блюз...

Пойдем в какое-нибудь другое место, малец, потому что здешняя водка не дает мне блюз. Это водка, приготовленная мужами Иуды в год бедствия и наводнения Иорданского. Выключай свой причудливый диктофон, надевай свою кожаную ковбойскую шляпу, настраивай свое восприятие...

Пирожки богини неба, мы заберем с собой. Не всегда найдешь приличную закуску в такую погоду. Я сказал, не всегда найдешь что-нибудь поесть в такой день. Я сказал: трудно найти еду по сердцу в таком месте. Я сказал, мы возьмем эти пирожки с собой...

Я помню, в детстве, когда я был ответственным за сбор металлолома, я шел со своей трубой, а баба Нюра на углу у «Детского мира» продавала пирожки с повидлом. Нет, это была не та труба, это была толстая металлическая труба, на поиски которой я истратил полтора часа своего драгоценного времени. Это была не та медная труба, на которой мне довелось играть потом, в музыкальной школе имени Модеста Мусоргского, известного алкоголика, который слишком поздно бросил свой луковый офис и устроился тапером в музыкальную школу имени самого себя. Эта была не та медная труба, в которую я плевал, извлекая божественные звуки. Это была не та медная труба, которая закончит генеральную репетицию и начнет окончательное и последнее действие. Но не будем заходить вперед. Это было потом, как все то, что было потом, было после того, что было теперь, хотя теперь в нашей памяти одно потом стоит возле другого потом и совсем рядом к теперь. Тогда это было потом, а теперь это было раньше, и довольно глупо теперь рассуждать о том, что шло вначале, а что потом. Вначале возник ты, потом твоя кожаная мексиканская шляпа, потом пирожки богини неба, потом война в доме Израиля. Потом возникла цепочка моих ассоциаций, которая напрямиком ведет к концу света и Новому Иерусалиму. Жаль, твой диктофон выключен, малец, потому что именно этот момент тебе и следовало бы записать...

Задумывался ли ты когда-нибудь, малец, о том, что такое пустота и что такое материя? Надеюсь, да, иначе ты бы не шел вместе с нами в направлении новой старой церкви. Все возникло из пустоты и все в пустоту вер-

нется, и именно поэтому на всякие сокровища найдется меч. Чем больше в мире материи, тем больше тоски. Бывает так и было во все времена — во Вселенной становилось все больше материи и получалась абсолютная тоска. Когда все — материя, не победить той тоски, и все становится как бы сплошной железной стеной, только очень тяжело это железо, тяжелей свинца, тяжелей всего на свете. Все становится этим железом, и это железо жжет, как огонь, и течет, как вода, и проникает всюду, как воздух. И таковой становится тоска, и тоска становится всем. И настает точка росы, когда выпадает роса, когда огонь становится водой, становится камнем, становится железом, становится воздухом, становится тоской, становится пустотой. И все становится пустотой, и пустота становится всем. И исчезает тогда материя, и исчезает тоска, и все становится пустота. Пустота сама с собой, пустота сама по себе.

Но пустота скушна, и скушно Богу. И появляется блюз, и Бог начинает все сначала. И вновь тьма над бездною, и появляется вода, над которою носится дух, и появляется день, и появляется свет, и появляется ночь, и появляется твердь небесная, отделяющая воду от воды, и появляется из воды суша. И продолжается блюз. И появляются травы и плоды, и появляются рыбы большие, и всякие души животные, и появляется плод древесный, сеющий семя, и продолжается блюз. И появляются звезды, и появляется звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас, и продолжается блюз. И звезды постепенно остывают от белого к белому, через фиолетовый, зеленый и красный. И появляется добро, и появляется сознание, и появляется церковь, и продолжается блюз. И когда все готово к его приходу, появляется человек, и человек думает, что он мера всех вещей. Человек делает воды выпивкой, а все остальное закуской, и садится за стол, и требует раков к пиву, и называет имена. И он дает всему имена, и продолжается блюз. И Бог присаживается к человеку, и пьет вместе с ним, и ест вместе с ним, но человеку скушно в такой компании. И Бог идет ему навстречу и создает для него женщину, но, к сожалению, действует без особого энтузиазма, необдуманно и второпях. Он не очень-то хочет создавать ее, по правде говоря, малец. И она получается не так умна. И первая женщина, едва появившись на свет, сношается с дьяволом, пока человек гуляет в райском саду, забыв про блюз. У человека тоже не много было ума в голове, и не было спектрометра, чтобы исследовать звезды. И Бог гонит их взащей, малец, очищает все место, и поет блюз. И человек устраивает свою жизнь сам, в то время как дьявол сношается с его женщиной уже без особых препятствий. И получаютсся воины, и получаютсся газеты, и появляются такие как ты, которые приходят занимать ума у тех, кто все еще в состоянии петь блюз. И вы пишете о тех, кто поет блюз, и продаете наши слова за деньги тем, кто готовится идти на войну, чтобы те думали не о себе, а об именах. Вы торгуете именами и учите друг друга, как торговать именами, но наступает момент, когда все имена проданы, а новых нет. И те, кто идет на войну, те, кто забыл про себя ради имен, которых нет, убивают и тех, кто торгует словами, и тех, кто поет БЛЮЗ...

## Александр БАБУШКИН

### Значит, зачем-то нужен

**В** предбаннике операционной холодно. И холодно голому лежать на клеенке. Тихо. Только где-то рядом пролетает матерок медсестры. Привязанные к спинке каталки руки затекли. Начинаю ими шевелить — затянута крепко...

Вот, суки... и сказать-то никак — ни бэ, ни мэ... нос и горло забиты трубками...

Как развязаться-то?

Начинаю трястись всем телом.

Раздаются шаги, они приближаются, и пространство оживает звонкой русской любовью:

— Очухался? Лучше б ты сдох, падла. Вытирай тут за ним блевотину..

В лицо уставился образ богородицы с профессиональным перегаром...

— Что, сука, выжил?!

Трясусь дальше. Мычу. Пучу глаза... В общем, выражаю любовь, как могу и чем могу..

— Что, оглобли затекли, гаденыш?

Видимо, от особой внутренней доброты медсестра, норовя при каждом движении захватить мне локтями посильней, развязывает руки...

— Трубы тащи сам, урод.

Ты ж моя дорогая, моя лапа. Как я тебя люблю...

— Лежи и не дыши, мудила. Щас психолог придет. Вот пусть она тебя в дурку-то...

Хорошо хоть рогожу какую-то сверху кинула, а то инеем покрываюсь...

\* \* \*

Я лежу и слушаю мурлыканье молоденькой (тридцатник максимум) мозгоправки. Красива. Строга. Подтянута. Эсэсовская форма с пилоткой ей бы подошла.

— Вы меня поняли? Вы же понимаете, что это третья попытка за пять лет, и я могу вас отправить в психушку?

Я смотрю в эти ясные глаза и прошу дать мне одеться. Приносят. Мозгоправка сидит, отвернувшись.

Говорили недолго. Когда я перешел к онтологическому аргументу и гештальту, она лишь сказала, что это ничего в ее решении не меняет, но

последний шанс готова дать и упаковывать не будет. Никакого понимания и сочувствия я не получил, да и не хотел. Главное — не закрыли...

\* \* \*

В больничном туалете вкус стрельнутой дешевой сигареты слаще меда.

В окне сырость и серость. Кавголовское озеро ниткой проглядывается из-за деревьев.

Вечером придет жена — врач сказал. Я стою, перевариваю дым, а в голове крутится ее крик:

— Ты сначала долги отдай, а потом подыхай...

Надо где-то еще хоть одну сигарету стрельнуть. О, вот этот даст. В туалет зашаркивает чудо в трениках с пузырями на коленках и лицом спасителя у ночного ларька... Только «Беломор»? Господи, да что угодно!!! Тем более две...

\* \* \*

Трясемся по раздолбанной дороге в маршрутке. Молчим. Дома долго тоже ни слова.

И вдруг:

— Иди пить чай.

И через минуту, когда встаю с дивана:

— Только курить на лестнице.

Значит, зачем-то нужен.

Ей.

А себе?

## Гвоздь

**Б**оль была такой, что я помню ее до сих пор, через многие десятилетия.

— Господи, Сашенька, как? Как он в рот-то залетел?

Мама дует мне в рот, в глаза, залитые слезами, а я ощущаю себя разрастающимся огненным шаром.

Я ведь только хотел посмотреть, что он там делает... в спичечном коробке, и слегка приоткрыл. В предвкушении обязательного чуда, я и рот открываю... Чтоб неизбежно удивиться. Удивление не заставило себя ждать и немедленно прилетело из одного открывшегося пространства в ближайшее — широко и удивленно открытое. Большущий мохнатый шмель сказал все, что он думает о мальчиках с пустыми спичечными коробками-ловушками... И вот я стою, ужаленный им в... нёбо, и горю, горю, горю... А мама с Костей бегают вокруг меня и дуют мне в рот.

\* \* \*

Память — странная штука. Как там все в голове, после дефрагментации дисков? На каких полках лежит? В каких папках хранится и извлекается через годы?

\* \* \*

Мы идем по тропинке, и я, семилетний, прижимаю к груди машину. Машина как в фильме «Кавказская пленница» — та, что забирает Нину в финале картины. С крылышками. Большая. Красивая. Моя. Я после месяцев больниц в санатории под Выборгом. Мама и Костя приехали меня навестить. Я иду по тропинке и держу Костю за руку. Он большой, сильный и красивый. Мама идет рядом. И все мы счастливы. Мы вместе. Еще.

Совсем скоро Костю разорвет на фрагменты. Взрыв баллона с газом на химическом заводе будет такой силы, что Костю будут отскребать от лабораторных стен. Для меня это так и останется информацией. Страшной, но — информацией. Вестью, которая мама мне принесет в санаторий осторожно. Так осторожно, чтоб меня это не убило. Так осторожно, чтоб не убило вместе со второй новостью — умерла бабушка. Я маленький. Я понимаю, что их больше нет. И... я не понимаю, что мама осиротела. Что она потеряла почти всё. Что могла потерять в эти месяцы вообще всех и окончательно... Потому что, попав под машину, под армейский «Урал», я выжил чудом. Выжил на ее слезах. Которые она выплакала все. А оказалось, это — только начало. И смерть заберет самых близких мгновенно. За считанные дни.

И если мне что-то и хочется понять, то только то, как она тогда выжила? Как не сошла с ума?

\* \* \*

Этот выборгский санаторий словно точка отсчета. Отсчета какой-то другой жизни, которая влетела в меня какой-то нечеловеческой тоской и перешла в сознании все заложенные раньше программы... Я так и не успел привыкнуть к слову «отец». Я не помню этого слова совсем. В моем далеком-предалеком детстве его не было. И бабушка осталась в рассказах мамы о том, как я ее любил, а она любила меня... В ее рассказах. Но не в моей памяти.

А в памяти этот страшный санаторий. Санаторий смерти и боли.

\* \* \*

Я стою на лестнице, ведущей со второго этажа на первый, а мимо меня воспитатели проводят группы мальчиков и девочек. Первую. Вторую. Третью. Для меня эта вереница детских глаз бесконечна. Она тянется через всю мою жизнь. Я стою совершенно голый и дрожу от стыда и

ужаса. Я так наказан. За то, что на занятии по рисованию не нарисовал жирафа сам, а, подложив картинку под бумагу, обвел просвечивающий контур. Получилось красиво и очень правильно. Слишком правильно для семилетнего ребенка...

— Саша! Это ты сам?

— Сам.

Конечно, я горд. Ведь у меня вышло красиво.

Почему, зачем маленькие дети врут?

Я не знаю этого и сейчас. Даже став дедом.

Зато я знаю, что такое смертельный стыд и чувство абсолютной беспомощности.

На той лестнице, куда меня поставили голым на всеобщее обозрение за совершенное страшное преступление, небо упало на землю. И вереница любопытных и испуганных детских глаз перешлила мое сознание. Перепрограммировала.

С этого момента единственным мне близким существом в санатории стал игрушечный заяц с оторванным ухом и разодранной лапой. На него никто не претендует — недавно привезли новые игрушки и за них идет нешуточная детская война. Я хожу с зайцем везде и беру его с собой спать. Ночью я прижимаю его к себе, и нам грустно и одиноко вдвоем... Мы одни с ним на всем белом свете. Мама где-то далеко-далеко. Бабушки больше нет. Кости больше нет. И только зайцу я могу рассказать всё, о чем может рассказать ребенок... Нет. Еще я могу рассказать все звездам. Я люблю смотреть на них и могу стоять, задрав голову к звездному небу, очень долго. Бесконечно.

\* \* \*

Сопоставимость и несопоставимость масштаба — не детский уровень. Детское сознание может поставить в один ряд вещи невероятной онтологической разницы. А в памяти они останутся равнозначными по силе и стоящими рядом.

Санаторий отнимал у меня жизнь изощренно и по-разному. Следующим ударом стала жвачка. Я выменял ее у местных пацанов, которые постоянно ездили в Выборг и бегали за иностранными туристами. Выменял на мамину передачу. Два апельсина, пять яблок и мешок с конфетами ушли за пачку иностранной жевательной резинки. Я получил сокровище. На пачке было написано что-то на иностранном языке. Пацаны гордо объяснили: «Пурукум»...

Теперь я мог не жевать сосновую смолу, как все, а насладиться божественным иностранным чудом. Сначала я носил пачку в кармане. Но потом решил спрятать. Я спрятал очень хорошо. У сосны. Под корнями. Я решил жевать по одной пластинке через день. Нет — через два. Чтоб хватило надолго. С мыслью, что завтра я попробую первую пластинку, я закрываю глаза и блаженно засыпаю, прижав к себе зайца с оторванным



ухом. А утром что есть сил бегу к сосне. Бегу, чтоб получить еще один удар. Под корнями пусто...

\* \* \*

Гвоздь очень большой. Он прошел верандную доску и вышел наружу на длину пальца. Да и сам он толщиной с палец и торчит ржавым острием в небо. Вот уже который вечер я прихожу тайком за санаторскую веранду и стою у торчащего на уровне моих глаз гвоздя. Я уже точно решил, что мир серого цвета. Вся жизнь серого цвета. Темно-серого, как огромные, высотой с дом, валуны в лесу вокруг санатория. И мир сам как эти валуны. Огромный и бездушный. Я смотрю на гвоздь и ищу в себе силы... В этом состоянии оцепенения я провожу долгие минуты и, так и не решившись, убегаю. Убегаю, чтоб на следующий день поставить точку..

\* \* \*

Каждый раз, когда я слышу слово Выборг, я вздрагиваю. Я впадаю в транс, когда проезжаю Выборг по дороге на таможду. Когда слышу в новостях о выборгском кинофестивале «Окно в Европу»...

Для меня Выборг навсегда — окно в ад.

\* \* \*

Я долгое время считал, что шмели, после того как ужалят, умирают. Оказывается, нет. Умирают пчелы и осы. У них жало устроено так, что вытащить, не сломав, они его не могут. А без жала они не живут... Шмель же может жалить сколько угодно.

Я очень люблю шмелей. Это настоящее мохнатое чудо. И еще я знаю, что они очень добрые. А жалят только когда край...

## Последняя любовь

\* \* \*

Система натяжек и грузов у спинальников (перелом позвоночника) устроена хитро. Я мог долго ее разглядывать, пытаюсь постичь устройство. Все лирики втайне любят физику... Метафизически. Понять не могут — ищут душу в непостижимых механизмах...

Они на своих инженерных кроватях лежат, как космонавты в межзвездном полете. Глаза вверх. Весь мир — белый потолок. Загипсованы по подбородок. Все в веревках-растяжках. Дышат как минеры — бесшумно и ровно.

И тут она. Еще неделю назад стоя на коленках ела. И вот — уже на ногах. Наташа. Самая красивая на свете. Потому что я ее люблю. Потому что я не могу без нее жить. Потому что это — судьба. И мы в институте

им. Г. И. Тюрнера на Лахтинской. Это наш дом. Наш храм. И наша любовь живет здесь.

\* \* \*

Наташа — гимнастка. Чемпионка. Прекрасна как богиня. Позвоночник — на части после падения на бревне. Теперь, когда смотрю по телевизору выступления гимнасток и вижу, как они кувыркаются на бревне, матерюсь: это придумали эсэсовцы...

Наташу собрали. В институте им. Г. И. Тюрнера работают асы. Несколько месяцев горизонта в растяжках. Потом недели передвижений на коленках с прямой, как линейка, спиной. И вот она стоит. Моя. Самая прекрасная на свете. Наташа. Стоит и сияет ярче солнца. А вместе с ней сияю я.

\* \* \*

Я лежу в соседнем отделении. Меня переделывают. Четыре года назад я поймал армейский «Урал», влетел под него и, зацепившись одеждой за что-то под рамой, волочился за ним, оставляя на асфальте шоссейный кровавый след. «Урал» тормознул лишь тогда, когда офицер в кабине увидел и услышал орущих людей... Молоденький солдатик-водитель даже не заметил...

В нишей районной больнице, посчитав пробоины (три открытых, осколки, скальпированные раны, газовая гангрена), решили ампутировать нахрен, да заезжие ленинградские из Раухфуса забрали к себе и гениально всё починили... Вышел кривенький, страшенький, но... живой.

И вот через четыре года на капремонт руки. Кожа вросла в кости. Клешня дугой. Никакой эстетики. Девки смеются. Парень комплексует. Решили хлопцу сделать глубокий тюнинг.

Меня водят на показы светилам. Я сияю. Я знаменитость. Меня выбрали в качестве самого сложного экземпляра. На мне отрабатывается то, за чем — будущее. В общем — Юрий Гагарин. Профессора выбирают японскую пластику. В результате, во всю грудь делается разрез в виде буквы П, этот кусман кожи отдирается и наплевывается на скальпированное предплечье. Т. е. рука, как на повязке через шею. Только повязка из собственной кожи... Последний разрез будет сделан, если не будет отторжения. А так — я пришит кожей сам к себе...

Как только отходит послеоперационный наркоз и мне позволяют встать, я мчусь в соседнее отделение. Там Наташа. Измученные разлукой, наши сердца бьются часто и счастливо. Ей можно ходить все больше, и она скоро затанцует. Мне осталось дожидаться последнего разреза — уже мелочь. Все будет отлично. Ведь мы вместе. Красивые, сильные и почти здоровые. Мы не можем друг без друга. И впереди огромная счастливая жизнь.

\* \* \*

Мама решилась на серьезный разговор. В палате кроме нас никого.  
— У вас так всё серьезно?

Я даже не отвечаю. Она все видит по моим глазам. Сердце матери рвется. Она знает то, чего не знаю я. Но молчит...

Я показываю ей картину, которую пишу здоровой рукой уже месяц. Это вид из окна в больничный двор. Красиво до безумия. Я вложил в картину всю свою душу. Душа сама легла на полотно — поняла. Это великая картина. Она достойна самых знаменитых музеев. Но у них нет шансов. Потому что эта картина — подарок Наташе.

\* \* \*

Именно так и бывает. Неожиданно. Стремительно. Бесповоротно. Убийственно.

Я мечусь по больнице и ничего не в силах изменить. Наташа вся в слезах. Мои губы побелели и скулы ходят желваками. Есть силы, которые больше нас. И они нас разводят, разлучают навсегда. Наташа прижимает трясущимися руками картину. Ночь прощания в коридоре на больничном диване чудовищна предстоящей обреченностью. Мы сидим в гробовой тишине. Мы просто парализованы предстоящей разлукой. Мы всё уже друг другу сказали и попрощались навеки. Мы уже умерли...

\* \* \*

Утром я даже не подхожу к окну посмотреть, как ее увозят. Я лежу, уткнувшись лицом в подушку, и прошу сердце остановиться. Храм нашей любви, институт им. Г. И. Турнера на Лахтинской, стал нашим гробом. Два сердца, бившихся одним целым, разорвали. А ведь мы, такие молодые и прекрасные, созданы для любви, созданы друг для друга.

Мне тринадцать. Наташе двенадцать...

Мир рухнул в Ленинграде весной 1977 года.

## Богомол

\* \* \*

**В**ходная дверь огромной трехкомнатной квартиры не заперта. Вонь стоит оглушительная. Коридор весь в засохших собачьих кучах. Испарившиеся лужи мочи матово блестят на линолеуме. Бедный долговязый пес с впавшими от голода боками проходит мимо нас безучастно... То, что называлось Вaley, — серая от грязи груда белья, в глубине которой его усохшее до младенческих размеров тельце, запутавшееся в трубках катетеров. Запах мочи разъедает глаза. Грязь запредельная. Лицо моей матери черное от ненависти к происходящему. Да и я на грани помутнения. Валина жена давно свинтила с

любовником. Двое сыновей положили с прибором... Маленькую дочь эта сучка увезла... Валя брошен подыхать...

Я держу его на руках, невесомого... пока мать отмывает обтянутый сморщенной кожей скелетик от засохшего дерьма и мочи.

Валя беззвучно плачет... Оказывается, чувство стыда бьет и по умирающему...

Еще совсем недавно он сиял.

— Саш, это несложно — раковые клетки гибнут при высокой температуре. Я догнал до сорока двух градусов и держался полдня. Всё. Они сгорели...

Химик. От бога. Он запускал заводы по производству перекиси водорода. Сам проектировал. Звезда ГИПХа... Он и со своей страшной болезнью боролся как ученый. Хотел переиграть. Куда там. Я потом прочитаю, что раковые клетки гибнут при сорока трех с половиной градусов. Да и он знал. Не мог не знать. Он хотел обмануть смерть. А она отрывала от него здоровенные куски. Сначала одно легкое, потом две трети второго. Потом ударила по ногам, по желудку, почкам, печени... По всему. Мстила за годы разухабистого, но веселого и добродушного пьянства. Мстила за жизнелюбие пронзительного тонкого книжника, не желавшего заботиться о брэнном теле. Вот по телу и шарахнула. Оставив ясный ум. До последних минут...

\* \* \*

Валя смотрит на меня своими лукавыми добрыми глазами...

— Иди-ка ты на экономический, — советует.

— Господи. А туда-то с какого?..

— Дурак ты, Сашка. Сейчас не поймешь. Да и не надо тебе сейчас понимать. Университет даст тебе такую базу, с которой ты потом сможешь черт-те что... Всё что захочешь. Институт для прикладников. Ты же ни черта не знаешь, кем ты хочешь быть. Ведь так?

Возразить нечего. Я только что последовательно забрал документы из Инженерно-строительного и Текстильного... Неявным мечтам стать архитектором или модельером не суждено воплотиться в жизнь...

— Да, Валентин Сергеич. Да. Наверное, вы правы...

Я совершенно не уверен в его правоте. Но я устал. И готов на его выбор. Не свой. Его...

— Прав...

\* \* \*

На поминки мы с мамой идти отказываемся. Зная, что все его коллеги по работе будут смотреть за маминой реакцией, реакцией самого близкого ему человека, эта сучка, Валина жена, буквально на коленях умоляла ее ничего никому не рассказывать... Мама так и простояла, не проронив

ни слова. Никому. И только сжимала до боли мою руку. Я же готов был заорать на все это благодостное бл...во, на все эти: «смерть вырвала из наших рядов...» и «на кого ты нас оставил...» Но молчал. Дал ей слово.

— Саша. Они бросили его все. Все. Давно. Кому ты и что скажешь? Ему уже все равно...

Мы сидели на нашей кухне и поминали человека, светлей которого еще поискать... Прощались с Валею, которому жизнь отпустила всего полтинник.

\* \* \*

Руки у Юры мягкие, но сильные. Уткнувшись мордой в топчан, чувствую уверенное напряжение его пальцев, танцующих на моих позвонках...

— У тебя в черепухе война, парень. А все, что в голове, бьет в поясницу. Тебе сколько?

— Сорок восемь.

— Не возраст. С кем воюешь?

Сказать? Ему? Зачем ему это? Впрочем, Вадим, давший Юрин телефон, предупредил: «Очень не простой, как раз для тебя...»

— С Богом воюю...

— Ого! А не боишься?

— Кого, его? Я его вычислил, но... не чувствую. Не знаю, с кем воюю. Наверное, с собой...

— Да ты, батенька, философ.

— Ну, философ едва ли. Философ. Так, листал пару брошюр.

— И много налистал?

В голосе заинтересованность. На первом сеансе вообще промолчали... оба. Второй языки развязал.

— Много... Студентам на спор за пятнадцать минут доказывал, что Бог есть. А толку-то? Пустота была и осталась.

— Ну, пятнадцать минут — много... Я в пять укладываюсь.

Его ладонь тепло ложится мне на голову... и я чувствую, как начинает стремительно подниматься температура... Он резко убирает руку.

— Если так нейдет, через пять минут встретишь Его. Только жить после этого не захочешь...

Я лежу ни жив ни мертв... а его пальцы уже ввинчиваются в позвонки.

— Оставь... Просто смирись с тем, что есть. То, что ты знаешь, — еще не знание. Пустое. Формальная логика. Так любой вшивый интеллигент может, если не идиот. Только это ничего не дает. Вот и тебе не дало. Да ты и сам в этом признался. Пустота... Но зацепило тебя, видать, крепко. Поясничной отдел ни к черту. Про голову вообще молчу. Если сам не начнешь... замучаешься ко мне бегать.

— Так поверить-то не могу.. Беда... Как это... христиан миллионы, верующих единицы... И еще: только через смертельный ужас... и придете.

— Ну, смертельный ужас я тебе и сам могу.. Ты же понял. Да и не нужно это. С ума сойти не сложно... если все через голову пропускать...

— А как не пропускать, если?.. Это же... Паранойя...

— По тебе и видно... Когда зацепило-то?

— Да с детства... Сколько себя помню... вечно куда-то уплывал... Даже друзья пугались... Всё спрашивали: «Ты куда все время смотришь?»

— И ты, значит, решил через книги...

— А как еще? В нас же атеизм вбит сэсэсэром намертво... Я и решил... через философию... Ну и...

— Не ты один. Через книги к нему не прийти...

— А как... прийти?

— Никак. Только согласиться.

— С чем согласиться?

— Давай-ка на спину. И руки вдоль туловища. Вот так. Молодец.

Сильные пальцы погружаются в живот... И совершенно не больно... Тепло...

— Это как огромный замысел... Сложнейший. И принцип маятника... Я не могу проще. И так уже дальше некуда... Сложно, бесполезно... Не поверишь... Просто прими как данность — это всё есть, и это всё огромно... и постоянно ищет равновесия... А мы как атомы... Есть три вещи: то, что все это есть — грандиозное, невероятное; то, что все это неслучайно... и то, что ты должен принять одну из двух сторон. Плюс или минус, белое или черное. И всё. Дальше все устроится само. Просто верь... и не пытайся искать больший смысл...

— Как не пытайся? А случайность? Несправедливость?

— И ты туда же. Проходили. Я же тебе сказал про маятник. Там все уравновесят... За тебя. Ты просто прими. А наказание и через пять колен придет, и через десять. Когда там решат. Плюс и минус. Маятник.

— Слишком просто.

— А тебе, вам всем, и нельзя иначе. Вы же через голову лезете. Городите огороды до неба. И всё мимо кассы. А истина-то проста... до примитивности. Это ложь сложная, потому что ей надо удивить. А правда ясна, прозрачна... до идиотизма. Но вы же просто не хотите. Не ищите легких путей.

— А я?..

— О, дерьмо-то полезло. Нет такого слова «я». И буква — последняя. «Я» хочешь? До конца?

— Нет... Уже не хочу. Раньше — да. А сейчас... Не хочу.

— Да вижу, вижу. Отпусти себя. Не воюй. Ты же все против себя и запустил... Представь теперь, что в ответ только усиливается... Маятник. И чем сложнее твои вычисления, тем сложнее задача. Вспомни вон гностиков... ты ж читал... Такие узоры — хоть на стену вместо картин.

— Это точно.

— Ну и ладушки. Сам все понимаешь. А что не понимаешь — выбрось. И больше не ищи. Нечего искать. Оно уже есть... в тебе. Просто прими. И будь на своем месте. У каждого свое место и предназначение. И не ты это место выбираешь.

— О как. Как это не я?

— Опять ты со своим «я». «Я» мешает место найти. Слишком много о себе мнит. Место уже приготовлено. Каждому. Это сердце подскажет... Всё. Одевайся. Третий раз не нужен. Я тебе капиталочку засандалил. Побежишь как новенький.

\* \* \*

— Юра. Я вам книжку хотел подарить... свою...

— Я не читаю. Совсем. Очень давно. Не надо. Все, что хотел, ты и так мне сказал. А что не сказал — я знаю... и вижу... Приходи через год. Ну, если что вдруг — тогда сразу звони. Пока.

\* \* \*

Терпения не хватало никогда. Или сразу, или никак... Зато хватало упрямства. Выкройка? Ага... сейчас... Мы и на глаз... За ночь...

Ну и ничего, что ногу не поднять и молния расползается. Зато сам. Клёш! И на школьные танцы успел...

Девчонки уже заметили и с любопытством рассматривают обтягивающее мощные спортивные ноги чудо из зеленой брезентухи. Я свечусь от гордости.

— Неужели сам? У тебя и машинка есть?..

— «Зингер»! Даже с моторчиком...

— Сашка, тебе надо модельером...

\* \* \*

— Девушка, у нас конкурс медалистов. А у вас три четверки... Следующая...

— Вы что? Сказано же было — только красные дипло... Мо-ло-дой человек?! Вам... Давайте! Давайте же!

— Но у меня две четверки... По-русскому и...

— Да вы что? Это девушкам... Маша! Смотри — второй... Глянь, какой красавчик... А твой еще не ушел?

Нас двое и мы даже не познакомились. Мы стоим у дверей Текстильного института. Наши документы только что приняли на самый блатной факультет — дизайна.

Мы стоим и курим.

— Слушай, это полный звиздец. Там же одни бабы.

— Даааа. Вот попали... Не, это засада. Да и мужики засмеют — бабский факультет...

— Эт точно... Надо валить...  
— Мальчишки, вы чего?! С ума сошли?! Как, забираете документы?! Машаааа! Они забирают документы, оба! Машаааааа! Мальчишки!!!...

\* \* \*

— Геннадий Петрович...  
— Саша? Заходи... Ты же в аспирантуре... Какими судьбами?.. Твои сейчас на кафедре... А у вас теперь экономикс — прям по-западному. К нам-то с чего? Я своих через час собираю... Паша тебя все спрашивал... На докторскую идет...

— Геннадий Петрович. А я ведь к вам. На кафедру. Возьмете?  
— Это как?..  
— Да я перевелся. На философский... К Солонину. На кафедру эстетики.  
— А тема?  
— Смысл любви в русской философии... Прозерский к себе взял.  
— Вадик Прозерский?! Ну ты монстр. А тема-то!.. Ого-го!.. Да, конечно, возьму. Не вопрос. Тебе сколько осталось? Успеешь?  
— Два года. Успею.  
— Ну тебя качнуло! Слушай, а! Смысл любви! Етитная сила! Давай-ка по граммуле, дорогой! А? Не против, надеюсь?

\* \* \*

— Ну — за смысл любви, Сашка?!  
— Да просто за любовь.

\* \* \*

— ...ну как тебе объяснить? Вот есть «плюс» и есть «минус». Белое и черное есть. Добро и зло...

Дядя Валя (Валентин Сергеевич) смотрит на меня, начинающего, но уже нахального вузовского препода. Смотрит своими смеющимися серыми глазами. Смотрит, как происходит ЭТО. А ЭТО действительно происходит. Проходные с виду истины взрываются в сознании двадцатичетырехлетнего самоуверенного щенка пронзительным откровением... Ему смешно наблюдать за тем, как вечно торопящаяся молодость споткнулась... Споткнулась и задумалась...

## Ехало-болело

**В** последние годы, особенно после кризиса 2008-го, он очень плохо спал. Вернее сказать, это трудно было и сном-то назвать. Какое-то полубормочное состояние с постоянными вскаки-



ваниями посреди ночи, курением, бесконечным и тупым взглядом в стол на кухне. Что? Что это?

В начале 90-х вот так сгорела бабушка. На фоне всех этих демократических истерик она, человек жестких советских принципов и невероятной скромности (о войне не говорила почти ничего), пару раз вступив с ним, ошалевшим от духа казавшихся светлыми перемен, в перепалку по какому-то политическому вопросу и, что не удивительно, неизбежно проиграв, как-то затихла, ушла в себя. И так изредка лишь выходя из своей комнаты, она и вовсе стала совершенно незаметно безучастной. И мать с отчимом, и он с женой так и проглядели тогда тот момент, когда точка невозврата была пройдена, и прошлое забрало ее к себе. Она ушла в свой мир со своей правдой, которую не стала защищать с пеной у рта перед сошедшим с ума временем, а унесла эту правду с собой. А в начале нулевых прошлое пришло за отчимом. И без того совершенно беспомощный в житейских вещах, в 90-е он абсолютно растерялся. Талантливый как бог, он был совершенно наивен в любых, не то что коммерческих, вопросах — об этом было даже смешно говорить, — он и в магазин-то не заходил, а забегал, пряча глаза, принося из него немислимую залежалую чушь за немислимые же деньги, от которых избавлялся, словно от заразы. О том, чтобы постоять за себя, пробить достойную зарплату, отстоять заработанное, и речи не шло. Он мялся, не решался, психовал. И этим пользовались. А уж в то-то время. По молодости спасали книги, собаки, лес. Но где эта молодость? В бархатных 70-х Союза. 80-е еще как-то проскочил. А вот 90-е сожрали тело и душу яхтсмена и бывшего чемпиона по классической борьбе безжалостно. Все болезни от нервов. У отчима — от ощущения ненужности, выброшенности. Рак спалил в считанные недели.

И вот теперь запал он.

Что это?

\* \* \*

Ушедшим в себя он был с детства. Тому было много причин. Бывают такие ушибленные стихами мальчики с черной дырой всепожирающего «Зачем?». Из таких выходят неврастеники-алкоголики и неудачники с комплексом гения. Словно предчувствуя это, мечтал сбыться. Но заткнуть черную дыру рефлексии можно только таких же умопомрачительных размеров сверхзадачей. А 90-е, на которые пришлось взросление, встретили подышающим «совком» и дипломом историка экономических учений в стране, где главным экономическим учением стала спекуляция. Первый поразительный по своей экономической мощи финт он выдал в 91-м, поменяв экономику на философию. Бог чистогана и наживы подышал со смеху, наблюдая за тем, как он вещает о смысле любви студентам, которые вскорости забросят свои инженерные дипломы и стройными рядами и колоннами вольются в ряды

менеджеров, брокеров и банальных барыг. Он и сам попробует влиться, потратив несколько лет на челночные круизы. От этого времени останутся анекдотичные полукриминальные воспоминания и заряд непрошибаемого цинизма. Наверное, ему, этому цинизму, он будет благодарен за то, что не сошел с ума от ненависти к расплодившимся мутантам-коммерсантам. Ощущение тотальности коммерческого бандитизма было не то что угнетающим. Оно сводило с ума. Но привычка уходить в спасительную алкогольную отключку и наваливающиеся обмороком стихи всякий раз погружали в какое-то вязкое оцепенение. «Да гори оно все...» — твердил он себе и плыл по этому странному течению странной реки в никуда. Плыл в каком-то бреду якобы профессионального успеха через невероятные по своему коммерческому идиотизму (но феерическому размаху) издательские глянцево-журнальные проекты каких-то романтических уголовников. Сколько таких было в 90-е. И не сосчитать. Градус цинизма рос. А вместе с ним росло количество ежедневно выпиваемого. И вот полутруп прибило к берегу. Миллениум. На рубеже веков ноги почти не ходили, стихи умерли, работы не было, сил сражаться тоже. После трех неудавшихся попыток самого легкого способа решить все проблемы, он надумал завязывать окончательно. Осталось выбрать, с чем. Выбор оказался настолько непростым, что на него ушло целых десять лет нулевых.

\* \* \*

Где вы? Где вы, друзья детства?..

ЛЭТИ, ВОЕНМЕХ, ЛИТМО, ИНЖЭКОН... Все технари. Все вписались в эту перестроечную и постперестроечную эпоху. Куй железо, пока Горбачев. Куй, пока льется «Рояль». Выковали. Проскочили. Прорвались. Чичи-гага. С солнцевскими, с кумаринцами, с тамбовскими, с комитетом... Пока преподавал и феерил тостами и историями за праздничными столами, был прощаем и любим. Птица-говорун. Гуманитарная индульгенция и стихи из записных книжек гарантировали стакан и прощение долгов. Когда решил попробовать на зуб бизнес, превратился в рядового лоха, назойливого алкаша-попрошайку. Кто-то еще по инерции повозился с ним. Даже вышел сборник стихов со строжайшим условием «никаких фамилий спонсора в выходных». Но к нулевым пропасть стала непреодолимой. Он еще долго по привычке хватался за телефон, в пьяном бреде набирая бывших. Потом перестал. Звал уже только про себя. Молча ночами уставившись в пол на кухне.

\* \* \*

Может, вернуться? Он устал от рекламного фрилансерства. Устал от американских горок, в которые сам же и нырнул, убегая от офисного фашизма. Убегая от невыносимого диктата новых молодых долбо...бов с

золотыми и платиновыми картами. Убегая от своего алкоголизма и нытья. Потеряв по дороге и способность, и желание писать. И через десять лет навернулся, проиграв новым клиентоориентированным агентствам с молодыми мейнстримными кретинами на гаджетах, но при полном отсутствии фантазии и мозгов. Проиграл поколению next, отбросившему слова и выбравшему музыкальные картинки — пророческие 451 по фаренгейту... Провалился в пустоту и огромные долги.

\* \* \*

Может, вернуться?

Эта мысль стала приходиться все чаще и чаще. Но куда? От кафедры остались ошметки. Кандидатская не защищена. Тянувший преподавательскую ляжку институтский друг рисовал картины тотального разгрома и нищеты. В вузах у руля комитетчики. Препода — нищая пехота. Нет. На такие руины — только на крайняк. Можно было в школу. Благо у самого дома. И отрубил там пару лет. Но то когда было... Да и гроши такие, что грузчики смеются. Прямо, как в СССР. Все вернулось. Что дворник, что учитель — один хер разница...

В журналистику? Но тот клондайк, который он застал в середине 90-х на волне парада понтов ошалевших от лихих денег бандитов, канул в Лету. Да нет, не канул. Превратился в такое космическое бл...во Ксюш Собчак и сучьего эха под дождем, что оторопь брала. Да и не сможет он пехотинцем. После стольких-то лет главредства и (теперь-то он понимал) дешевой славы.

Короче, в одну воронку дважды... И тема была закрыта. Значит, по волнам...

\* \* \*

Мама. Он и так не мог оторваться от нее всю свою жизнь. Маленьким сыном прокувыркался через полвека. Чуть что — к ней. И в угарах своих алкогольных к ней приползал. Она и вытягивала бульонами. Водку не прятала. Но без закуски пить не давала. И слушала. Слушала эту нескончаемую волюнку, все эти перебирания по годам. Память оставалась цепкой. И история сломанной жизни всякий раз незаметно превращалась в лекцию по истории страны. Баллада о 80-х, 90-х, нулевых разрасталась до времен царя гороха и неизменно упиралась в себя любимого. Поэта. Трагически непонятого. Всеми брошенного. Умершего и вернувшегося... Эта сопливая ерунда легко прокатилась бы в любом другом доме, кроме материнского, заставленного книгами под потолок каждой комнаты. На трагическую литературную участь сюда могли прийти пожаловаться такие тьмы ушедших и забытых российских гениев, чьи судьбы стали смыслом ее жизни, что он всякий раз осекался, наматывал соплю на кулак и, прихватив стопку

книг, убирался к себе затыкать пробелы. Чтоб заткнуть все не хватило бы всей жизни. Его. Он это знал. Знал, что знает она, всякий раз хитро улыбающаяся, подбирая то, что он запросил почитать или перечитать. Но знал он и другое. Она ждет. Она будет читать то, что он нагородил. Будет слушать. И будет верить.

Одного не будет. Жалеть.

\* \* \*

Поэтом? Поэтом надо было оставаться там, в 90-е. Спиться окончательно и сдохнуть. И все бы сошлось. Как в песне. По крайней мере, это было бы линейно. Ну а раз, сука живучая, выкарабкался, то пусть пишет. Прозу. Ненавистную, высасывающую, выматывающую. Но спасительную. Наконец-то на эту черную всепожирающую дыру нашлась управа. Память. Безжалостная бессонница пришла, видать, надолго. Может, и навсегда. Две черные дыры взялись остервенело жрать друг друга. Он больше не сопротивлялся.

# ПОЭЗИЯ

---



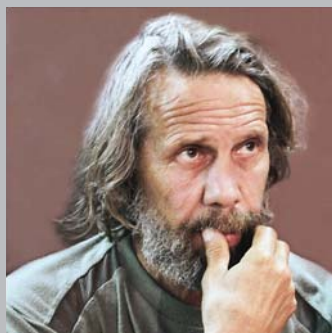
**Виктор ФЕДОРОВ-  
ВИШНЯКОВ**



**Алексей ПОРВИН**



**Владимир БЕЛЯЕВ**



**Владимир ШЕМШУЧЕНКО**



**Дмитрий ТРУНЧЕНКОВ**

## Виктор ФЕДОРОВ-ВИШНЯКОВ

\* \* \*

Куда мы несемся, ах, если б мы знали,  
 Ладонями пот вытирая с лица,  
 И люди устали, и кони устали,  
 И этой дороге не видно конца.  
 А нужно, наверное, остановиться,  
 Людей и коней накормить, напоить,  
 И вовсе не надо к химере стремиться,  
 А просто достойно и радостно жить!

*16 июня 2005*

\* \* \*

Мы уезжаем на немножко  
 В Пушкиногорье, мой дружок.  
 Давай присядем на дорожку,  
 Нальем вина на посошок.  
 А заполдень, дорогой дальней,  
 Минуя Лугу, древний Псков,  
 Примчимся в край, где жил опальный  
 Поэт в именье праотцов.  
 В Тригорском, время не жалея,  
 Побродим вместе, ты и я,  
 Там, где Татьяна аллея,  
 Там, где Онегина скамья.  
 Спустившись лестницей заросшей,  
 Пройдем вперед со стороны,  
 Где у Михайловской рощи  
 Стоят, как стражи, три сосны.  
 Дождем размытая дорога  
 Вдоль голубого Маленца  
 Нас приведет на холм пологий  
 В обитель тихую творца.  
 Пройдем туда, где домик няни,  
 Взберемся на обрыв крутой,  
 Взлетим над озером Кучане,  
 Замрем над вечной красотой,  
 Потом побродим по дорожкам,

Покрытым желтою листвою.  
В беседке отдохнем немножко  
И насладимся тишиной.  
В монастыре мы купим свечи,  
И у могилы постоим.  
Поэту скажем: — Добрый вечер!  
И низко головы склоним.

*27 октября 2004 г.*

\* \* \*

*Светлане*

Под Одессою в Затоке,  
Там, где море и лиман,  
Где кораблик одинокий  
Уплывает в океан,

Где украинские хатки,  
Пляж у моря золотой,  
В парусиновой палатке  
Отдыхали мы с тобой.

И, беспечные, как дети,  
Проживали день за днем,  
Только солнце, море, ветер,  
Тишина и мы вдвоем.

Днем бродили по базару,  
Вечерами шли в кино,  
А ночами под гитару  
Пили шабское вино.

Лишь под утро смежив веки,  
Забывались в сладком сне...  
Это было в прошлом веке  
И совсем в другой стране.

*12 марта 2006 г.*

## Черно-белое кино

С наслаждением вспоминаю,  
Как совсем не так давно  
Мы смотрели, замирая,  
Черно-белое кино.

Контролер привычным жестом  
Рвал голубенький билет,  
Пятый ряд, восьмое место,  
Постепенно гаснул свет.

И, забыв про все на свете,  
Мы глазами жгли экран,  
Как доверчивые дети  
Попадались на обман.

То до колик хохотали,  
То катилась вдруг слеза,  
И тайком мы утирали  
Повлажневшие глаза.

Сколько сладостных страданий,  
Испытать нам довелось,  
Два часа переживаний  
Два часа красивых грез.

И, живой еще, покуда,  
Буду помнить все равно  
Нерасцвеченное чудо,  
Черно-белое кино.

*1 февраля 2007 г.*

\* \* \*

Каждый раз, встречая Новый Год,  
Мы тайком надеемся на чудо.  
Может быть, оно произойдет,  
Но не знаем где, когда, откуда.  
А надежда теплится всегда,  
В детстве, юности и в старости глубокой,  
Может, не дождемся никогда,  
Но, «Белеет парус одинокий»!

*8 июня 2012 г.*



## Алексей ПОРВИН

### ПОСВЯЩЕНИЕ

Спящими словами древесными  
оказалась под вечер листва;  
на чём вздремнуть — неизвестно.  
Жестко — на звуках мастерства.

Жестко на подстилочном пении  
облакам, потому не уснут;  
а людям снятся ступени,  
нужного бега атрибут.

Дерево, склонишься над вымыслом:  
«пробудись, многолюдный дружок»  
от лестниц снящихся вымыв —  
чувство, свободу, лепесток...

Нужный бег в подобия мглистые —  
вертикаль, всеблагое вверх-вниз?  
Когда слова — моралисты,  
ливнем молчащим разветвись.

### ВЕТЕР НА ЛИЦЕ

Вместе с ледоходами плыви,  
за тебя не нужно держаться,  
пустой блокнот: нет фразы о грядущем дне,  
все слова так понятны...

Что важнее сказанной любви,  
где на юге всплески абзаца,  
лучи, неясные спасенной тишине,  
надвигались нещадно?

Южный ветер многих сбережет  
(пусть блокнот — спаситель порожний)

где иностранных слов не слышно за версту  
среди туманов последних?

Южный ветер это перевод  
на язык заждавшийся, кожный:  
лицо такое означает правоту  
изменений предлетних.

## СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Над водой настает восход;  
удары вёсел, подпершие глухо  
перегретый миг прибрежных красот,  
услышанный вполслуха...

Времена не падут опять?  
На островке собираются дети,  
наполняя чувства ягодным знаньем,  
глаголом о победе.

Для волны световой, для них,  
для слова тьмы, для спасения — сказан  
перегретый миг красот островских,  
увиденных вполглаза —

Не бойтесь грядущих зим,  
а человека пугаетесь, волны;  
земляника бытием горстевым  
наверное, довольна.

## Владимир БЕЛЯЕВ

\* \* \*

Слышишь ли, Галя, как звуки воруют.  
Это ли дом соловья.  
Сестры, живущие в нем, не тоскуют,  
Что нет такого жилья.

Сад усложняется в их понимании,  
Слово — уже не скамья.  
А что это? — это такая в тумане  
Прорезана колея.

Слышишь ли, Галя, как мы отказались,  
Как мы обратно идем.  
А что это? — это такая казарма  
С мертвым в окне соловьем.

Сестры живущие рекрутов будят,  
Чтоб убаюкать потом...  
Разве что долю у спящих отсудят —  
С мертвым в окне соловьем.

\* \* \*

То — легкий скрип — уловка от себя.  
То, для чего я сохраняю расстоянье,  
когда приходят, говорят друзья,  
а те, что есть — меняются местами.

Они не подлежат разучиванью вслух,  
их голосов как будто нет в природе.  
Но чей один, который старше двух —  
стоит в прихожей, не уходит.

Не тот, что я назвал его болезнью,  
не перевод с чужого на чужое —  
а гул на лестнице, когда еще не здесь,  
и там себя не завершает.

И важно что — не требует меня.  
Присутствие, а не истолкованье.  
Я маму ждал — а нет бы мне огня,  
но лучше — легкого дыханья.

\* \* \*

Собирается облако говорить —  
не за тем, чтоб остаться.  
Есть другая причина — открыть,  
чтоб собой называться.

Так оставленный свет под окном  
собирается в соты.  
Есть другая причина — в другом.  
Так оставленный — кто ты?

\* \* \*

Так и надо.  
И не скроешь уже от себя —  
Что земля говорила.  
А что говорила земля —  
Уже и не вспомнишь.

\* \* \*

Можно только в воздухе висеть,  
Пустоту грудную перемалывать.  
Да с чужих дорожек лед откалывать,  
Встречным светом в сумерках гореть.

Собери нас, дворник, в новый штат,  
В темноте устрой нам совещание.  
Там под снегом все еще горят,  
Там под сердцем держат обещание.

Что от них мы слышим только дым.  
Никому дурного не советуем.  
Там под снегом — там поговорим  
С воздуха упавшими предметами.

## Дмитрий ТРУНЧЕНКОВ

### Звери идут на бойню

Кря-кря-кря, хрю-хрю-хрю, муууууууууу, кукаре́ку:  
Мы на бойню идем, чтобы мясо свое  
подарить человеку.

Были мы, как и вы,  
Братьев меньших мы ели —  
И теперь родились  
В сем бессмысленном теле.  
Вот вам плоть наша:  
Ешьте, кровь нашу пейте, —  
Да смотрите, потом только  
не заболейте.  
Как войдет с нашей плотью  
в тело ваше беда:

Так искупите наши грехи  
один раз навсегда.  
Мы грешили —  
И грехи наши лягут на вас.  
Но когда, на зассаном матрасе,  
Мочась  
Под себя,  
Возопите вы:  
О Природа, за что?! —  
Не поможет Асклепий.  
Не найдут по подписке  
400 тыс. евро́.

«За что?» —  
Сами знаете:  
Вы же не дети.  
Не спасут и тома дарвинизма,  
марксизма —  
Потому что отдали свои мы вам жизни,  
Чтобы наши грехи  
Все легли бы на вас:  
Так скорей же под нож,  
В добрый час:  
Помычась.

## Все мое – сказало золото

Тендер распилил чиновник;  
 Протокол подделал мент;  
 Оправдал убийцу суд;  
 Прокурору так несут.

Пиво – это лимонад  
 (Уверяет депутат).

Олигарх открытие  
 Сделал – вот событие:  
 Нефть не в недрах,  
 Из трубы –  
 А труба моя –  
 Бежит.  
 Попы грехи не отпускают,  
 К причастию не подпускают.

Страниц изъели все листы  
 Дичайшей чушью журналисты.

Военные ради полбанки  
 Продали на запчасти танки.

Врачи – больше всех больных.

Вот в класс заходит дрессировщик:  
 Учителю нужна сноровка  
 Так школьников за день учебный вымотать,  
 Чтоб сил хватало после школы только пиво пить,  
 Не шляться зря  
 И морд не бить.

Какой из этого всего бы можно вывод сделать?

«Не верит кто, что все поднимется,  
 У тех, не ждите, не поднимется», –  
 Нас обнадежил президент –  
 Сказал, как в камне отпечатал.  
 Монах же схимник улыбнулся криво,  
 И прочитал молитвенное правило.

\* \* \*

Бог многорук  
И пальцы, как сосиски,  
На мириадах рук Его друг друга  
Щупают, ласкают,  
А, бывает, бьют.  
Ведь пальцы слепы —  
И на ощупь только могут  
Они друг друга мучить и любить.  
Что делать: так задуман мир.  
Но иногда природа, словно в шутку,  
Рождает глупеньких уродцев, дурачков:  
Представьте только, на конце фаланги —  
Раскрывшийся, будто цветок, зрачок, —  
Глазное яблоко, лишь разве без ресниц.  
Возможно ль это?  
Эти пальцы — видят;  
О, как они себя порой за это ненавидят!  
И что за зрелище, взирать на груду грубых тел,  
Чей вечно в мерзости друг друга есть удел?  
Немытых, жадных, потных —  
Век бы их не видел  
(Слезами омывал,  
Любил и ненавидел).  
Но пусть уже раскроется обман:  
Ведь в пальцах этих — та благая нить,  
Что весь наш мир, насквозь гнилой, объединяет,  
И навсегда рассыпаться ему не позволяет.  
Кто сможет нас другой соединить? —  
Легко ль:  
Попробуй глазом шить.

## Владимир ШЕМШУЧЕНКО

\* \* \*

Любил я блатные словечки  
И драки — квартал на квартал.  
И жизнь не плясала от печки,  
А волчий являла оскал.

Горячий привет космонавтам!  
Такими гордится страна!  
А я по заброшенным шахтам...  
И было мне имя — шпана.

На сцене актер, но не зритель —  
Спектакль, продолжение, срок...  
Хвала тебе, ангел-хранитель,  
За то, что не уберег,

За то, что незримая сила  
Меня приковала к столу,  
За то, что дружков загасила,  
Легко посадив на иглу,

За... что мне нелепая доля —  
В стихах плавить воск и металл?!  
Была бы на то моя воля  
Ни строчки бы не написал!

\* \* \*

Событий у нас маловато —  
Зима вот случилась вчера...  
Соседи достали лопаты  
И выгнали снег со двора.

А мой — развеселенький, вкусный —  
Лежит себе, радует глаз,  
Скрипит на зубах, как капуста...  
Впервые! Сегодня! Сейчас!

Соседи, родные, Бог в помощь!  
(Какой восхитительный слог!)



Я первый свой снег — несмышлениш —  
Слизал с материнских сапог...

Уколы запомнил, мекстуры, —  
И прочая там толкотня...  
А сестры — ну полные дуры! —  
Еще и «лечили» меня:

Изрезали тюль на халаты,  
Нарыли в шкафу рыбий жир...  
О, как же я жаждал расплаты!  
Поэтому, видимо, жив.

Событий у нас маловато —  
Вздыхаю и тихо скорблю...  
Соседи — опять за лопаты...  
И я их за это люблю!

\* \* \*

Украинская ночь домашним пахнет хлебом.  
Здесь время не идет, а тянется, как мед.  
На брызги молока, раскрасившие небо,  
Во все глаза глядит ленивый старый кот.  
Его пра-пра-пра-пра... мурлыкал фараонам.  
Он по-кошачьи мудр. Без всяких там затей  
По одному ему лишь ведомым законам  
Он выскользнул из рук докучливых детей.  
Он ведает, зачем туман сползает с кручи,  
И то, о чем поют метелки тростника.  
А я у костерка под ивой неплакучей  
Все не пойму никак — зачем течет река?  
Динь-динь, динь-динь, динь-динь — проснулся сторожок!  
(Похоже, крупный лещ польстился на наживку...)  
Удилище — в дугу! Он сам себя подсек!  
И я веду его... как кралю, на тропинку.  
И вот он — золотой! Должно быть, в два кило...  
Танцует на песке последний в жизни танец...  
Украинская ночь вздыхает тяжело,  
И на ее щеках — предутренний румянец.  
Лизнула сапоги неспешная волна,  
И лещ — пошел, пошел, качаясь с боку на бок...  
Иди — мне жизнь твоя сегодня не нужна.  
И сладок этот миг, и теплый ветер — сладок.

## КОШКА

Холодно. Вьюжисто. Сладок плен  
 Тайной игры огня.  
 Кошка, ссаженная с колен,  
 Сердится на меня.

Ходит кругами. В глазах ее  
 Искры по краям.  
 Эту кошку хозяин не бьет.  
 Кошкин хозяин — я.

Кошка знает — хозяин не враг —  
 Кошку не станет мыть,  
 Знает — хозяин (даже собак!)  
 Ходит в мороз кормить.

Знает — хозяин не станет писать,  
 Всякий там массолит...  
 Знает — хозяина нужно спасать,  
 Если спасать не велит.

Кошка талантлива, как никто:  
 Доктор кошачьих наук.  
 Носит изящно кошачье манто  
 И не слезает с рук.

Кошка умница — думаю я,  
 Сделав глубокий вдох.  
 Кошка думает — мы семья —  
 Поровну делим блох.

\* \* \*

Не верь, не бойся, не проси...  
 А я просил, боялся, верил.  
 Не я, не я подобен зверю,  
 А тот, кто это разгласил.

Меня не надобно любить —  
 Нет ничего во мне такого.  
 К вопросу — быть или не быть —  
 Я отношусь весьма хреново.

Я в детстве дрых без задних ног,  
За день набегавшись по крышам.  
Никто не звал меня — сынок,  
Но мой почтарь летал всех выше.

Клешата — только шире плеч!  
Дружить — с тамбовским рыжим волком!  
Я изучал родную речь  
По синим лагерным наколкам.

И небо было — голубей!  
И свист — на запредельной ноте!  
Не вы гоняли голубей,  
Но вы — поймете...

\* \* \*

У зимы петербургской характер — прескверный весьма.  
У нее задарма на понюшку не выпросишь снега.  
Безъязыкие — жмутся на Невском друг к дружке дома,  
А под ними подземка гремит допоздна, как телега.

Разгулявшийся ветер начистил атлантам бока  
И, как ловкий цирюльник, намылит гранит парапета.  
В плиссированной юбке на берег выходит река  
И с достоинством царским идет в Эрмитаж без билета.

И опять все не то! Как мальчишку меня провела —  
Вместо ярких полотен подсунула кинокартинки!  
А над площадью Ангел уже расправляет крыла,  
И Балтийское море мои примеряет ботинки.

\* \* \*

— Гляди, гляди! Волна сменила цвет —  
Из темно-синей стала бирюзовой!  
Мой друг — поэт из города Азова —  
Скосил глаза и хмыкнул мне в ответ:  
— Ну, ты загнул... — губами пожевал,  
И спрыгнул, как мальчишка, с парапета...  
— Вот сходим завтра утром на причал,  
Я покажу тебе — какого цвета...  
Он море понимает ... Тридцать лет  
Ходил, тонул, старел — и все такое...  
Он терпеливо слушает мой бред,

Но смотрит так — подавишься строкою.  
Я замолчал, а он читал стихи:  
Соленые, продутые ветрами,  
С неистребимым привкусом ухи  
И тающими в дымке сейнерами.  
Стуцалась ночь. Зюйд-вест озорничал.  
Мой друг — поэт из города Азова —  
Уже не говорил — почти кричал,  
И наливались волны предгрозово...

### МАРИНЕ

Хорошо, что весна завалилась вчера за подкладку,  
Когда дождик пальтишко мое простирнул — со снежком!  
Зашиваю карман, и размеренно так, по порядку  
И тебя пришиваю к себе неумелым стежком.

И совсем я не злой! Мне весну запоздалую жалко —  
(Что известно собакам, известно доподлинно всем).  
У иных вон любовь — как ручная в горшочке фиалка...  
Но она — никакая, и снегом не пахнет совсем.

А люблю тебя так! — что трубят водосточные трубы  
И от зависти лебеди крыльями бьют по воде!  
Искусаю до крови во сне пересохшие губы,  
Сочиняя тебя, на которую больно глядеть...

# ВЕРНИСАЖ

---



**Андрей КОРОЛЬЧУК**

Е. Григорьянц, А. Раскин

## И мир как храм...

Искусство в его лучших проявлениях позволяет человеку увидеть не только видимый мир, но и его неведомые и невидимые простым взглядом грани. В настоящем произведении мир становится многограннее и многомернее. Но происходит это только тогда, когда художник не чужд божественности и стремится к отображению абсолютной ценности бытия. В современном искусстве один из путей подобных исканий зачастую связан с обращением к традиционным культурным формам, к созданным поколениями символам и сооружениям. Одним из таких символов является храм во всем многообразии его конкретных воплощений. Не случайно испокон веков главное и самое видное место в человеческом поселении было отдано святилищу или храму. Возвышаясь над местностью, он притягивал к себе взгляды людей, охраняя от всего ненужного, суетного и опасного, указывая путь к высшим истинам, к сущности бытия. Ни русский, ни европейский пейзаж невозможно себе представить без храма, церкви, часовенки. Храмы строились основательно, на века. Эта традиция уходит корнями в историю древних цивилизаций, в Египет и Грецию. Храм становился символом веры и стойкости перед жизненным натиском, он олицетворял собой не только путь к Богу, но и душу всех тех, кто обитал в данном месте, возможно, не одно столетие. Невольно вспоминаются стихи А. Блока:

Задебренные лесом кручи.  
Когда-то там, на высоте,  
Рубили деды сруб горячий  
И пели о своем Христе.

Храм как образ искусства присутствует в живописи, поэзии, музыке уже не одно столетие. Между тем тема эта поистине неисчерпаема, как искания истины, как дорога, ведущая человека к пониманию смысла мироздания. Храм тихий и родной, и храм величественный, храм как часть пейзажа, и храм как часть мира, все это присутствует в трактовке храмовых образов у А. Корольчука. Для художника характерно восприятие храма как неотъемлемого элемента человеческой жизни, как факта повседневности, без которого, как без основополагающего стержня, мир разрушится, распадется на кусочки.

Вглядываясь в пейзажи художника, в растекающийся в его работах рельеф местности, который увенчивается храмом, невольно вспоминаешь свойственную России песенность. При этом Корольчук не останавливается только лишь на отечественном пейзаже, он видит и передаёт красоту и самобытность любого храма, будь то величественный готический собор или же русский храм в византийском стиле. Храм в его работах, в акварелях или в масле, внушает мысль о стремлении земного человека с его бренностью, к духовной высоте. Посмотрим на акварель

«В соборе», в которой художник современными художественными средствами отображает классические принципы, лежащие в основе готики. Стрельчатые конструкции окон с природной естественностью камня, из которого они сложены, устремляют душу человека в горные выси. Человек мал по сравнению с Богом, но не ничтожен, ибо видит божественный свет и следует ему. Витражное окно озаряет пространство собора, как и всю жизнь человека, многоцветие красок, в которых растворена красота мира. Отблески витражей на полу сливаются в дорогу, ведущую в мир, который тоже есть своего рода храм, но созданный уже не человеком,



В соборе. Бумага, акварель, 2007

а Богом. Художник говорит нам о том, что в познании высшего смысла, высшей истины нет предела, это стремление должно окрашивать цветом красоты весь земной путь человека, путь который ведет к тому, чтобы построить храм внутри себя. Надо сказать, что это редкое для Корольчука обращение к изображению интерьера собора, своего рода интроспекция, нацеленная не только на видение, но и на понимание.

У каждого художника, как и у каждого человека, своя дорога к Храму. У Корольчука эта дорога кажется простой и естественной, как присутствие, порой незаметное, храма среди других строений. Это особенно тонко представлено в его акварели «Дорога к церкви» (2005 г.). Мотив найден художником в Германии, но он поражает не национальным колоритом, а, наоборот, общечеловеческим звучанием, где в простоте скрыто величие духовности. Пейзажи «Улица в Пенкуне», «Торговая площадь в Пенкуне», «Новый дом в Герене», акварели «Декабрь» и «Февраль» с образами Петербурга, и еще целый ряд работ настраивают наше восприятие на понимание человека и его культуры. Такое понимание лучше всего выразил М. Бахтин, говоря о том, что для карнавала нужна соборная площадь, но для этого, сначала, нужен собор. Храм в любом своем воплощении нужен для того, чтобы все в жизни человека обретало смысл. Это мы видим воплощенным в образ в работах А. Корольчука.

В «храмовых пейзажах» художника слышатся звоны, молитвенные песнопения, которые одухотворяют произведения, наделяют их неповторимой индивидуальностью. В них чувствуется не показное стремление запечатлеть, но утверждается коренная связь Земли и Неба, человека и его духовности. В работах художника за внешней простотой фиксации скрыта огромная напряженность, раскрывающаяся в силе цветового решения и инструментовки.

В пейзажах А. Корольчука присутствует духовное начало. Он не ищет оригинальности, она живет в нем самом, в его музыкальности, песенности, в каждом мазке и линии. Отдавая безусловную дань новаторам, чьи имена, подобно Малевичу, стали нарицательными, Корольчук выявляет свое корневое единство с главной традицией отечественного пейзажа. Однако для художника интересен не только натуральный пейзаж. Для него не менее важно отобразить обобщенное символическое воплощение храма. И если для работ, написанных с натуры, это главным образом акварели, характерно стремление выразить живое начало, веяние момента, то в работах символических он старается найти выразительные средства для отображения невидимого, иного мира, иного состояния. При этом он не стремится конструировать только лишь путем упрощения форм или игрой цветовых пятен. Он добивается эффекта духовности глубиной сердечного отношения. В каждом его этюде, в каждой работе, присутствует молитвенное начало, вера. Отсюда оригинальность и естественность схваченного в образах. Корольчуку дано почувствовать и предать концентрацию смысла самой постановкой взгляда. Надо сказать, что на его поиски художественного языка большое влияние оказала система живописи В. Стерлигова, к последователям которого он себя относит. Так, холст «Август в Германии» в построении своем основывается на естественности кривых линий, соединяющихся в некой точ-





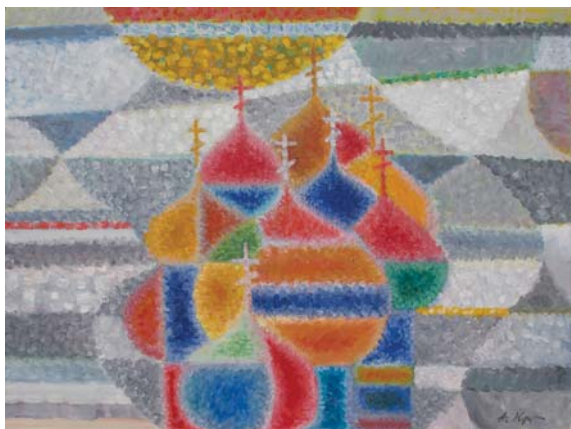
Август в Германии. Холст, масло, 2004

ке пространства, из которой и рождается шпиль колокольни храма, композиционный центр работы, самое величественное из человеческих строений. Мелодичное движение линий, отображающее окрестный пейзаж с его полями и озерами, порождает геометрию города, которые наполняют пейзаж энергетикой напряженных цветовых пятен. Подобно В. Стерлигову, А. Корольчук подчеркивает природность кривых линий, их перетекание одной в другую, подобно пейзажам за окном пролезающей машины. При этом пересечение линий и цветовых плоскостей на холсте рождает образ птицы, парящей в некоем божественном пространстве, образ, характерный для творчества художника.

Работа «Храм» занимает особое место в череде храмовых образов, созданных А. Корольчуком. По принципам построения пространственно-образного ряда картина, на наш взгляд, ближе всего к системе живописи К. Малевича. Это проявляется в напряженности цветовых соотношений красного и зеленого, в геометричности построения формы, где формообразующее начало остается за прямой, что позволило художнику создать один из самых напряженных храмовых образов. Здесь храм включен как неотъемлемый элемент в пространство мира: в определенном месте, следуя логике формирования пространства, появляется купол храма. Этот своеобразный закон следует из выверенности построенного художником, «просчитанного» и прочув-



Храм. Холст, масло, 2009



Купола. Холст, масло, 2011

ствованного им образа мира. Но, что особенно интересно, при всей выверенности и обобщенности, образ храма в работе остается очень русским, напоминая и Собор Василия Блаженного в Москве, и Спас-на-Крови в Петербурге.

И еще один холст в плеяде символических храмовых образов А. Корольчука нельзя обойти вниманием. Это картина «Купола» (2011 г.). Ее в полной мере можно отнести к программным произведениям художника. Пространство холста формируется отдельными ударами кисти, пуантилистическими в своей основе. В каждой точке пространства находится своя энергия, которая, сгущаясь от полихромного серого, образует цветовую палитру куполов, композиционный центр картины, своеобразный символ присутствия Божественного в мире. Соединение кривых и прямых линий, сочетание красного то с синим, то с зеленым, то с желтым, создают эффекты движения, пульсации, живого биения жизни Вселенной. Вместе с кистью художника мы движемся в глубину картины, от купола к куполу, от храма к храму, в бесконечность истины и глубину бытия. Цвет переходит в цвет, линия в линию, пространство то удаляется, то приближается. Звучание картины напоминает колокольный звон, который,

разливаясь над землей, очищает ее от всякой скверны. И одновременно в перспективе пространства угадывается божественный мир с его лесами, полями, озерами. В этой работе художник открывает нам

мир невидимый, глубинный, сущностный. И, несмотря на то, что картина ассоциативно возвращает нас к идее В. Стерлигова о том, что мы все живем в куполе, здесь очевидна самостоятельность творческого метода А. Корольчука находящая свое выражение в конструировании формы, построении пространства, иной мелодике звучания цветовых пятен.

Движение кисти художника несет отпечаток сердечного биения. Отсюда отсутствие стандартности и повторяемости. Художник умеет найти и «поймать» тот ракурс, который каждому зданию, каждому строению, сообщает энергетическую значимость. Она не только в общем колорите, не только в построении композиции, но и в определенной ритмике каждой его работы. Поэтому включение объемов, их нарастание и в то же время монолитность, втягивая в общение, выявляют то единственное, что присуще художнику: ощущение времени.

Свойственная эмоциональной подоснове слитность и одновременно живописная раздельность, завораживают. Отсюда особенно четко проявляется найденность соотношений основных компонентов живописи и графики Корольчука, которые вызывают ассоциации с философскими размышлениями таких оригинальных писателей-мыслителей, как В. Розанов

и близких к нему по духу и восприимчивости мастеров слова. «Песни — оттуда же, откуда и цветы»<sup>1</sup>, писал В. Розанов в «Опавших листьях». Здесь нет ответа, здесь только состояние растворенности в мире, связанности всего со всем, где нет деления на высокое, великое, низкое и обыденное, но все со всем соединено. Так же и у Корольчука в его храмовых пейзажах есть тихий свет истины, идея ненавязчивого, но необходимого присутствия. Так, в его акварели «Купание на реке Луге» (2010 г.), храм на другом берегу осеняет своим присутствием привычное летнее



Купание на реке Луге. Бумага, акварель, 2010

храмовых пейзажах есть тихий свет истины, идея ненавязчивого, но необходимого присутствия. Так, в его акварели «Купание на реке Луге» (2010 г.), храм на другом берегу осеняет своим присутствием привычное летнее

<sup>1</sup> Розанов В. Опавшие листья. Короб первый // Розанов В. О себе и жизни своей. – М., 1990. – С. 275.

развлечение, придавая ему некий мистический характер омовения, очищения, столь важных в религиозных обрядовых действиях. Движение реки в горизонтальной плоскости как символ текучести времени соединяется с идеей вечности и незаблемости истины в вертикали храма, соединяя время и вечность в человеческом бытии.

Загадка творчества Корольчука состоит в том, что он не модничает, не стремится совершить открытие в искусстве или любой ценой поразить зрителя, а идет, следуя глубинным ощущениям, используя при этом не просто разнообразный набор форм, а погружаясь в самую суть соотношения рисунка, колорита, слитности и одновременно самостоятельного состояния каждого элемента. Свойством всех его «храмовых пейзажей» является их четкая построенность. В них все соразмерно: габариты, подбор цветового решения. Это не просто архитектурные пейзажи города или деревни, это выявление, понимание и запечатление души городской стены, фасада дома или интерьера храма. Соединяя в композиции пейзажей вертикаль и горизонталь, художник объединяет жизнь преходящую и вечную, отображая дыхание времени, где в повседневном слышится шепот прошедших веков. Все это придает работам художника символическое звучание. Таков, к примеру, живописный холст «Пенкун» (2003 г.), акварели «Весенний Смоленск» (2003 г.) и «Солнечный Устюг» (2010 г.), где реалистическое и символическое

представлены в неразрывном единстве, столь характерном для творчества А. Корольчука. Вертикаль и горизонталь, пересекаясь, образуют средокрестие, которое, если накрыть его куполом, и формирует образ храма так же естественно, как все сотворенное Богом.

И еще на одной работе, где четко прослеживаются вертикаль и горизонталь, хочется немного задержать внимание. Это работа «Дожди Петербурга», на которой привычно-дождливое петербургское небо пронизывает шпиль колокольни Петропавловского собора. Это удивительный по символическому звучанию и художественной выразительности



Дожди Петербурга. Холст, масло, 2010

образ, несмотря на то, что художник воспроизводит один из самых известных ракурсов города — вид на Петропавловскую крепость от Зимней канавки. Но именно здесь проявляется то свойство высоко-го искусства, которое видит великое в, казалось бы, банальном и избитом. В этом пейзаже особенно остро ощущается ось колокольни, увенчанной Ангелом, как основа городского пространства, источник силы и устойчивости Петербурга. Художник строит изображение на напряженности противоречий. Он использует сине-голубую и оранжево-красную гамму, сталкивает горизонтальные плоскости воды в реке и вертикальные потоки дождя. Линейно-плоскостные массы замыкаются полукружием мостика Зимней канавки, таким образом художник привносит в изображение элемент сферичности и купольности. Если к этому добавить устремленную ввысь колокольню, то мы увидим символическое отражение императорского города, каким он и был задуман основателем. Но центром образа остается шпиль, как символ высших устремлений каждого человека и стремящейся ввысь души.

Иным в стилистическом плане представляется ощущение сдержанности. Не случайно А. Корольчук старается проникнуть в праздничность златолавия русских городов, в загадочность и запутанность городов европейских, увидеть за современностью историческое прошлое, а главное, проникнуть в таинство. Художник не только прикасается душой с храмовыми строениями, он выявляет их суть как произведений, имеющих и сохраняющих духовную ценность. Как истинно русский художник, Корольчук особенно тонко чувствует красоту отечественного пейзажа. Русские церкви и монастыри, которые так любили классики, Левитан и Нестеров, не оставляют равнодушными и современных мастеров. Они вновь и вновь оживают в работах А. Корольчука. Особое место в его творчестве занимает Русский Север. Очень много работ написано художником в Великом Устюге. Церкви и монастыри предстают в его работах как неотъемлемая часть пейзажа тех мест, они как бы срослись с землей, а может быть, выросли из нее. При этом прозрачность мазка не теряет под кистью Корольчука уверенности и упругости монументальных строений. Эта исконность храмовых построек находит свое отражение даже в этюдных набросках художника. Надо сказать, что сегодня эта страница отечественной культуры имеет особое значение для нашего духовного существования. Русский Север в наименьшей степени подвергался культурным влияниям, не случайно именно к этим местам сегодня наблюдается все возрастающий интерес. И это истинно русское звучание, сказку и быль отразил Корольчук в очень красивой, символической и, можно даже сказать, мистической акварели «Дымково. Великий Устюг». Одна из красивейших достопримечательностей тех мест, которая, по удачному выражению, «держит всю речную панораму



Дымково. Великий Устюг. Бумага, акварель, 2010

Устюга», превратилась в работе мастера в легенду, своего рода Град-Китеж, мечту-реальность, имя которой красота и одухотворенность. Соединяя реалистическое и символическое в единый образ, художник растворяет его в водах реки и малиновом звоне фона, и мы видим неведомое, казалось бы, в известном. Храм появляется из воды и воздуха и исчезает в них вновь. Увидеть его значит почувствовать божественность жизни, одухотворенность красоты. Удивительный по силе русский образ!

Художник не объединяет свои «храмовые пейзажи» в серии, они тем не менее тяготеют к некоему ансамблевому звучанию, что говорит о широте мировосприятия мастера. Для его пейзажей характерен некий отвлеченный взгляд. Смотришь на его работы и ощущаешь: здесь остановлено мгновение взлета. И действительно, он не навязывает зрителю своей точки зрения, он просто умеет слушать музыку времени, и она выстраивается как грандиозная симфония, в которой мир предстает как Божественный храм. С какой бы точки мы не смотрели, мы проникаемся уверенностью в том, что духовность, включенная в мозаику современного города, обладает волшебством, которое и запечатлевает искусство, ставя ее вне досягаемости сиюминутных явлений. Погружаясь в поток творчества А. Корольчука, мы погружаемся в зону восприятия тех незримых, но определяющих сил, которые приближают нас к разгадке Вселенского замысла.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ  
Международного  
сообщества писательских  
СОЮЗОВ

---



**Михаил ДАДАШЕВ**



**Елена ЯБЛОНСКАЯ**



**Виктор КИРЮШИН**



**Марина ПЕРЕЯСЛОВА**

Елена ЯБЛОНСКАЯ

## Детство, которого не было

Лекция была очень интересной, но, несмотря на безукоризненную дикцию докладчика, я с трудом его слушала. Почти каждую фразу он заканчивал, внезапно поворачивая голову к сидевшему рядом ведущему. Из-за этого его голос постоянно «нырял»: резко менял высоту, густоту и тембр, начинал звучать глухо, будто прорываясь через преграду. Мне казалось, что это не голос, а я то и дело проваливаюсь в глубокую яму меж двух океанских волн, а потом меня неумолимо выносит обратно, на гребень — к громкому и отчетливому звучанию. Наверху хорошо: свистит ветер, сдувая с верхушки волны соленый пенный гребешок... — и вдруг снова провал. Меня начинало тошнить как при качке. Не грипп ли начинается? После лекции стало понятно — нет, не грипп. Я пыталась бороться с «качкой»: ерзала на стуле, наклоняла голову, пыталась угадать момент следующего поворота-провала, и чтобы закрепиться на «суше», скашивала глаза на лежавшую передо мной на столе книжку. Я купила ее сегодня перед лекцией. С обложки смотрел серьезный, немного мрачный человек в детском матросском костюмчике и бескозырке. Странная эта одежда, так не шедшая к его молодому, но очень взрослому лицу с внимательным взглядом глубоко посаженных глаз, весьма не вовремя напоминала о море и качке. «Впрочем, — думала я, — сравнение «ныряющего» голоса лектора с морской качкой ему, возможно, понравилось бы». И от этой мысли становилось легче. Будто я и в самом деле нащупывала под ногами твердую почву, ухватившись за братски протянутую руку.

Молодого человека в бескозырке звали Юрий Карлович Олеша.

Было понятно, почему художник-оформитель одел его неподобающе возрасту. На первых страницах этой книги, в автобиографическом романе «Ни дня без строчки» Олеша описывает свое поступление в гимназию: «Старый — это учитель, он экзаменует; маленький — это экзаменуемый. Старый — в форме, форменной тужурке, тоже в меловой пыли и с куском мела в руке; маленький — в матросской куртке». Повидимому, по мысли редактора или издателя, писатель Юрий Олеша остался ребенком, остался в детстве. Это и так, и не так. Думаю, что ребенком в общепринятом смысле Олеша никогда не был. Он и сам пишет об этом: «Я был человек, просто человек, не зная о себе, что я маленький, что только недавно явился в мир, что расту, узнаю, постигаю и тому подобное. Именно — я был просто человек».



Уверена: каждый из нас приходит в мир «просто человеком» с главным, быть может, единственным, изначально присущим человеку чувством — великой любви и сострадания ко всем живущим, ко всему, что нас окружает. Уже потом человеку объяснят, что он — ребенок, что он не такой как все и поэтому должен слушаться, есть манную кашу, делать то-то и не делать того-то... Вспомните, в самом раннем детстве мы беспрекословно подчинялись родителям не потому, что должны, а единственно потому, что любили их и не хотели огорчать. Об этом писал Аксаков — о младенческой любви к матери, потом к сестре. Младшую сестру он жалел, все ему казалось, что она голодна, что ей холодно, что у нее болит животик... Первые и истинные чувства человека — любовь и жалость.

Одно из моих первых воспоминаний. Я просыпаюсь летним утром, думается мне, в начале июня, потому что в июле и августе утра другие — уже нет этой свежести раннего рассвета, звенящей легкости. Если это июнь, то мне недавно исполнилось три года. Мама стоит на подоконнике, моет залитое солнцем окно и что-то напевает, наверное, романс Вертинского. Она любит романсы, но я еще ничего не знаю ни о Вертинском, ни о романсах. И огромное, щемящее, как при прощании, чувство любви охватывает меня. «Мамочка, птичка моя», — говорю я в полусне, и сквозь ресницы вижу, как мама, стоя на подоконнике, от умиления плачет. И счастливо улыбается мне — вся в слезах.

«Золотое детство! — пишет Олеша. — Уж такое ли оно было золотое?.. А кашель, к которому все прислушивались? А отвращение к некоторым видам пищи, которые как раз и нужно было есть?..»

О, этот кашель, «к которому все прислушивались»! Ночами я кашляла, укрывшись с головой, плотно завернувшись в одеяло. Кашляя днем, старалась как-то не шуметь, не греметь, чтоб не услышали. Болезнь была преступлением, а разоблачение и наказание — неотвратимы. Отвращение «к некоторым видам пищи»? Если бы к некоторым! Меня «пичкали» с утра до ночи, и тошнило от любой пищи, от еды вообще. «У тебя не было детства!» — слезливо каялась мама спустя сорок лет.

Как же я полюбила еду потом! В голодном и веселом студенчестве не было ничего вкусней жареной картошки. Мы жарили ее на кухне общежития в огромной сковороде, как минимум на четверых, на всю комнату. «На картошку», как правило, сбегались гости. «Восемьдесят первая комната жарит картошку!» — разносилось по общежитским коридорам. Это было похоже на священнодействие! Конечно, и голод этот, и радость от еды не идут ни в какое сравнение с тем, что испытывал в юности Олеша. Девятнадцатый, двадцатый год в Одессе! Нет, пожалуй, это было еще раньше, до революции, из пятнадцатого или шестнадцатого года, из Одессы в Ялту приплыл ко мне его великолепный греческий бык: «С каким аппетитом я ем! Как это все вкусно. Это тоже все греческое, южное. Мощный, как тело быка, лежит зеленый перец, испеченный целиком, лежит в борще, выставив бок, как бык, похищающий Европу».

Лет с десяти я начала есть все — и с большим аппетитом. На всю жизнь сохранилось отвращение почему-то только к манной каше. Еще не выношу даже не столько вкуса, сколько вида размоченного в воде хлеба. Но в этой странности, скорее всего, повинно не «пичканье», лишившее меня детства, а очаровательная история, которую я совсем не помню, но по рассказам и более поздним впечатлениям могу восстановить в точности, до деталей. Я буду рассказывать ее, подражая Олеше, то есть непрестанно «перемешивая» времена: «помню, я иду», «я шагнул через ступеньку на другую», «бабушка будит меня», «мы сидели на одной парте». Редакторы утверждают, что надо писать в одном времени — либо в настоящем, либо в прошедшем. В общем и целом они правы. Но Юрий Олеша «перемешивал» времена! Именно в этом «смешении времен» смысл романа «Ни дня без строчки». И я хочу ему подражать. Во всем. Как подражает маленькая девочка старшему брату. Итак, история о хлебе, размоченном в воде.

Нам с Юрой Белоненко, другом детства и будущим одноклассником, по полтора-два года. Во всяком случае, не больше двух. Это значит, что на дворе шестьдесят первый год. Теперь я это знаю точно потому, что в начале шестьдесят второго мой дед заболел и умер. А тогда смерти не было, и все было надежно, навечно, навсегда и только в настоящем времени. И вот мой дед в своем долгополом габардиновом плаще, в мятой старомодной шляпе на бритой голове, с вислыми седыми усами сидит на скамейке в ялтинском городском саду. Вокруг на клумбах подрезанные и завязанные в серую мешковину пальмы — значит, зима — и аккуратно подстриженные кусты жимолости и бересклета. Под ними сухая, бежевого цвета, очень близкая к моим глазам земля со всеми ее замечательными подробностями — камешками, мельчайшими ракушками, пустыми улитками, бурыми листочками, рыжей кипарисовой хвоей, а прямо перед скамьей красивое белое здание с колоннами и мемориальной доской. Театр имени Чехова.

Скамья, на которой сидят мой дед и папаша Белоненко, обширна, как древнегреческая или славянская ладья. Как и положено, она состоит из длинных, толстых досок, почти бревен, и мощно выгнута с обеих сторон — внизу и вверху, на уровне голов сидящих на ней взрослых. Вся скамья шелушится тускло-голубыми «лушпайками» старой краски. Мне это очень хорошо видно снизу, «с изнанки», потому что мы с Юркой сидим как раз за скамьей, под ее круто выгнутой, как борта ладьи, спинкой.

Как одет голубоглазый, длинношейий Юрка — не помню. Да и длинношейим я помню его уже старшекласником и позже — студентом медицинского института. А я в плюшевом, зеленом как портьера коротком пальтишке и в белой шапке с помпоном. Моему деду восемьдесят лет, а папаше Белоненко, знаменитому ялтинскому доктору — «ухо-горло-носу», за пятьдесят, он мог бы быть дедом, Юра — поздний ребенок. Как выглядел Белоненко-старший, я тоже не помню, однако живо представляю

его в берете, сдвинутом по-интеллигентски набекрень; на длинной, как у Юрки, шее с острым кадыком — кашне. Чем кашне отличается от шарфа? И хотя меня с детства занимает этот вопрос, я до сих пор не удосужилась найти на него ответ, но почему-то уверена, что доктор Белоненко никогда не носил шарфы, только кашне. Кашне — непременно, а вот носить берет доктору совсем необязательно. Он мог быть и в шегольской шляпе с широкими низкими полями. В такой шляпе мой папа на фотографиях тех лет. Правда, папа не считал эту шляпу шегольской, скорее, пижонской, шутил, что в ней он похож на одесского жулика. На руках у папы — я. И разумеется, в плюшевом пальто и в шапке с помпоном. Это означает, что и папину шляпу, и свой помпон, и плащ деда я помню только благодаря фотографиям. Зато плюшевая ткань — золотисто-зеленая, как грудка попугая, как бы подсвеченная изнутри и скользкая на ощупь, — результат настоящей, действительно ранней памяти, потому что фотографии были тогда не цветными, а черно-белыми, как чайки.

Что делают выгуливающие детей немолодой отец и дед на скамье в городском саду, носящем имя Чехова, так же как и театр, и улица, на которой родились и уже полтора года живем мы с Юркой? Возможно, они играют в шахматы, возможно, беседуют. Или читают газеты. А может, дремлют на мягком январском солнышке под тихие вздохи моря. Море рядом, в ста метрах, стоит только выглянуть из обсаженной пальмами аллеи, и ты увидишь его синевато-серую, зимнюю, слегка колеблющуюся поверхность, то и дело пронзаемую стремительными черно-белыми крыльями, и услышишь чайчы клики. «Чайки называются чайками, потому что кричат “Чаю, чаю!”», — говорили мне в детстве, и я понимала, что это шутка — взрослые смеялись. А чему собственно они смеялись? Ведь чайки действительно кричат именно так.

Пришедшие звать нас к обеду Юрина мама и моя бабушка детей не обнаружили. После волнения, граничившего с отчаяньем, и недолгих поисков нас нашли. Мы с Юркой сидели на земле за скамейкой и с аппетитом поедали из мисочек корм, оставленный старухами для голубей: размоченный в воде хлеб. Не знаю как папаше Белоненко, а моему деду крепко досталось: «Не досмотрел!»

Мне рассказывала об этом мама. А вот Юре Белоненко или не рассказали, или он забыл. Я спрашивала — не помнит. Почему-то мне важно знать, берет или шляпу носил в шестьдесят первом году Юрин отец. И еще я хочу вспомнить, какой была тогда моя мать. И какой она была в июньский день, стоя на подоконнике, залитом солнцем? Высокая, сильная тридцатипятилетняя женщина с густыми, как конская грива, каштановыми волосами. Она была очень похожа на мать Олеси. Пугающе похожа. И я испугалась, прочитав вот это: «Она в берете, с блестящими серыми глазами, молодая, чем-то только что обиженная, плакавшая и вот уж развеселившаяся женщина. Ее звали Ольга».

И мою мать звали Ольга, она тоже носила очень шедшие ей береты голубого или салатового цвета, и у нее были блестящие серые глаза под ровными дугами бровей и часто — обиженное выражение лица. Она обижалась на папу, на меня. Она была совсем другой породы, нежели мы с отцом, и навсегда осталась для меня загадкой. Самый непонятный, самый не похожий на меня человек — моя мать. Это тем более удивительно, что я тоже женщина и с годами становлюсь необыкновенно похожей на нее, только не характером и не чертами, а обликом. Все говорят мне об этом, я сама порой пугаюсь собственного отражения, случайно взглянув в зеркало, особенно в сумерках, особенно на бегу. Так же было и у Олеси: «...И другие увидели, что, кроме сходства с отцом, в моем лице начинает жить также и сходство с матерью... И затем, вступив в жизнь, я не представлял себя иначе, как похожим на мать».

Все-таки странно, что самые близкие и понятные мне люди — мужчины. Мой отец и сын. «Трое нас», — написала я когда-то в стихах, посвященных папе и Севе. Написала, подражая, должно быть, Борису Пастернаку: «Нас мало. Нас, может быть, трое. Донецких, горячих и адских». Мое стихотворение называлось «Золотая цепь»:

...Разливается сырость и стылость,  
Но не виден цепи конец —  
Мой ребенок еще не вырос,  
И пока еще жив отец,  
И пружинит земля упруго,  
И вонзают в нее якоря  
Корабли, приходящие с юга,  
Под ногами гудит земля.  
Трое нас — мы идем по причалу,  
Пока свет над горами дрожит.  
Наша цепь — без конца и начала —  
На песке Тихой бухты лежит.

Цепь действительно лежала на песке Тихой бухты, на окраине Коктебеля, называвшегося тогда Планерским. Не золотая, конечно, а обычная, слегка поржавевшая цепь, она лежала в горячем песке вместе с обрывками канатов, обломками каких-то бочек, бревен, некрашеными занозистыми лодками, огромными старинными якорями, обросшими рыжими и бурыми водорослями... Все было полузанесено белым песком. Так в 1986 году снимали фильм «Золотая цепь» по Александру Грину. О Грине Олеша тоже отзывался: «Вот что за писатель был Грин! Его недооценили». А главное, Юрий Карлович написал простые и прекрасные слова о комнате Грина в Старом Крыму, которой сам он никогда не видел. Ему рассказывали. «На стене комнаты — на той стене, которую, лежа в кровати, видел перед собою хозяин, — был укреплен

кусок корабля... деревянная статуя, которая иногда подпирает бушприт».

«Трое нас». Но это придет нескоро, а в детстве — ах, как же мне не хватало брата! Не сестры, а именно брата. Подруги у меня были — и очень хорошие. Мы дружим до сих пор, и чем старше становимся, тем крепче дружим. Были у меня и друзья — одноклассники. Но с самых ранних лет я уже знала, что в мальчиков полагается влюбляться, а они должны влюбляться в меня. Мы так и делали, чем вдребезги, безвозвратно разбивали дружбу, а потом и жизнь, и винули в этом друг друга. Мне просто необходим был брат. Он уберег бы меня от многих разочарований. Все сложилось бы по-другому, жизнь не разбилась бы, если б он у меня был. И мама была бы счастливее, ей изначально нужен был сын, а не дочь. Это стало очевидным, когда я родила ей внука.

У Юрия Олеши была сестра. Она умерла совсем молодой от тифа: «Когда она умерла, через секунду выбежала мама и, топая ногой о пол, кричала:

— Умирает! Умирает!

Как будто кто-то был виноват в этом, как будто можно было это остановить...»

Мне особенно жутко читать эти строки, потому что я знаю: если бы умерла ее дочь, моя мать вела бы себя точно так же. У нее был один ребенок, одна дочь. Это я. И если бы умерла я... Когда Олеша пишет о смерти сестры, мне кажется, он описывает мою смерть.

Моя мама, которую, как и мать Олеши, звали Ольгой, тоже была полькой, правда, только на четверть. А может, и наполовину, если считать поляками или не считать вовсе, не принимать во внимание запорожских сечевиков. В самом деле, трудно сказать, кто они были этнически — чубатые, длинноусые, часто чернявые и горбоносые, похожие на турок запорожцы. Моя бабка, Софья Никитична Громачевская, по паспорту украинка, хвалилась происхождением от польских шляхтичей. «Лушпайки» — это ее словечко. Наши шляхтичи были не католиками, а православными, в Польше их притесняли, и потому в семнадцатом веке мои предки переселились на Украину, где породнились с потомками запорожских казаков. Помню, бабушка с гордостью рассказывала, как предки скитались по Украине, бедствовали и даже вынуждены были продать за значительную сумму свое шляхетство. Папа терпеливо слушал хвастливые разглагольствования тещи. Как-то не выдержал: «Продать свое шляхетство! Какая низость!» «А что, ты бы не продал?» — спросила я и засмеялась. Мне было тринадцать лет, я понимала, что отец — коммунист, интернационалист, и потому ему должны быть чужды любые сословные и национальные переживания. «Никогда!» — отчеканил отец. И он был потомком поляков, только не украинских, а обрусевших, сосланных в Поволжье после одного из польских крестьянских восстаний и породнившихся с донскими казаками. И в его, а значит, и

в моей, в нашей с сыном крови бродит неистребимая польская спесь, многократно умноженная на «национальную гордость великороссов».

«Национальная гордость великороссов». Откуда это вдруг выплыло? Из каких тайников памяти? Ах, это статья Ленина «О национальной гордости великороссов». Мы проходили это в институте, а может, еще в школе, на уроках обществоведения. «В этой статье Ленин утверждает, что мы можем гордиться тем, что русская нация не хотела мириться с несправедливым устройством общества, с его делением на рабов и господ», — читаю я сегодня в Интернете. Да, правильно, мы никогда не сможем с этим смириться, потому что все люди братья, а земля наша — одна на всех. Я так и написала моему соседу Анвару Фатыхову, казанскому татарину. В 1989 году Анвар в составе комсомольско-молодежного строительного отряда построил наш многоквартирный, девятиэтажный, десятиподъездный дом:

...Так и живем в одной кирпичной клетке,  
В московских щедрых, ласковых полях.  
В одной степи гуляли наши предки,  
Твой — властный хан и мой — спесивый лях.  
У нас в роду — кривые сабли, копыя,  
Ведь ты — ордынец и казачка — я.  
Обильно потом сдобрена и кровью  
Вся наша неделимая земля.  
Сквозь дым веков мы видели воочью:  
Кричал мулла, закат ломился вширь  
От Волги к западу, где украинской ночью  
Мой прадед-пономарь читал Псалтирь.  
В заботах вечных о любви и хлебе  
Проходит год и век очередной.  
Тысячелетие — в одном и том же небе  
Мой крест горит и полумесяц твой.

Несомненно, что так же думал и Юрий Олеша. И его восхищало наше удивительное «единство противоположностей» — если по Гегелю, или «цветущая сложность» — по Константину Леонтьеву. Вот почему он обязательно указывал национальность своих гимназических товарищей, учителей, многочисленных одесских знакомых — русских, евреев, украинцев, греков, армян, болгар. О себе сказал с иронией: «Я был маленький поляк». И с гордостью: «Я стал писать по-русски — на языке, на котором писал Пушкин».

Совсем маленьким, лет в пять-шесть Олеша был в Крыму. «Мы были в Крыму, мы были в Крыму! — в детском восторге повторяет он, — ...там белел в лунном свете дворец Воронцова в Алупке с как бы утирающими морды мраморными львами, на которых меня сажали верхом... Мы были в Крыму! Мы были в Крыму!»

«А я родилась в Крыму!» — хочется прокричать мне в ответ. Родилась в Ялте и прожила там семнадцать лет. Я тоже знаю, как белеет в лунном свете воронцовский дворец и розовеет в летних сумерках, в синеватой тени Ай-Петринской гряды дом моей одноклассницы Наташи Шутовой.

Помню, я впервые отправилась в Алупку, в гости к Наташе, когда мы учились в шестом классе. Мы недавно подружились и уже «сидели на одной парте».

— Ты сразу найдешь мой дом, он виден отовсюду, — сказала подруга.

Наташкин дом был действительно виден отовсюду, особенно хорошо с моря, с катера; он светился розовой штукатуркой, выдвигал свой острый, как бушприт корабля, угол из темно-кудрявой зелени санаторных парков, из-под парящей над ними сиреневой громады Ай-Петри. Он был чрезвычайно похож на другой крымский дом — из фильма «Дубравка». В этом фильме один из отдыхающих назвал его «фата-морганой». Наташин дом тоже похож на «фату-моргану», особенно сейчас, почти через сорок лет, когда розовая штукатурка осыпалась, особенно сильно с углов, обнажив кирпичи, а у жильцов нет денег на ремонт. Фата-моргана — это мираж, встречающийся в морях Средиземноморья. «И фата-морганой любимая спит» — стихи Пастернака. Дом-мираж, дом-призрак, дом-корабль, несущийся на всех парусах. В нем спит «фата-морганой любимая» — прекрасная и загадочная, как мираж, молодая женщина. Такая красивая и нежная, что никто не верит, что она «инженер по тканям», все думают — актриса. Чудесный, удивительный фильм о нашем ялтинском детстве по рассказу Радия Погодина. Фильм «Дубравка» вышел на экраны в 1967 году. Олеша умер в шестидесятом. Ему бы наверняка понравился этот фильм — умный и грустный, детский и взрослый одновременно. Возможно, ему показалось бы уместным и сравнение дома с «фата-морганой». Так можно назвать не только дом, но и корабль. Где, когда я это прочитала: «Корабль “Фата-моргана”»? Или такого корабля никогда не было? Просто «Фата-моргана» созвучна «Фрегату “Палладе”» и подобно ей летит, изящно накренясь, вокруг света — по круглому клетчатому глобусу, по Атлантическому, Индийскому, Тихому океанам!

О любимом мною «Фрегате “Палладе”» тоже успел написать Юрий Олеша. Мне кажется, на трехстах страницах он успел написать обо всем. Мне хочется переписать от начала до конца всю его удивительную книгу «Ни дня без строчки», потому что я думаю точно так же, как он. Обо всем. Как странно — ведь я впервые прочитала эту книгу не в детстве, а вполне взрослой, в двадцать пять лет. Впрочем, несколькими страницами ранее я утверждала, что детства у меня не было. Но в этом, как и во многом другом, я не могу быть уверена и только одно знаю наверняка: я люблю Юрия Карловича Олешу. Он старше меня ровно на шестьдесят лет, он мог быть моим дедом, но он мне — брат.

В книге «Алмазный мой венец» Валентин Катаев писал об Олеше: «Часть его души навсегда соединилась с моей: нам было суждено стать самыми близкими друзьями — ближе, чем братья...»

Можно ли быть ближе, чем братья? Мне кажется, что нельзя, наверное, именно потому, что у меня нет ни братьев, ни сестер. Даже двоюродных. Но и для Олеша не было ничего выше и прекраснее звания брата. «Братишка!» — окликнул его в Одессе революционный матрос. «Я был братишкой матросов! Как только не обращались ко мне за жизнь... Но когда мне бывает на душе плохо, я вспоминаю, что именно этот оклик трепетал у меня на плече:

— Братишка!»

Когда мне бывает плохо на душе, я тоже вспоминаю брата — Юрия Карловича Олешу. Его гениальную книгу, в которой есть все. И это все — поразительным образом — обо мне. Ах, почему я опоздала родиться! Или я, его сестра, все же родилась в конце девятнадцатого века, но умерла от тифа, успев сказать ему только, что он красив? Брат не поверил, но благодарно помнил об этом всю жизнь. А если бы сестра не умерла? Сумела бы поддержать его? Говорила бы, что он, ее брат, гений? Впрочем, ему это говорил Катаев, говорили другие. Он не считал себя гением, мучился несовершенством, малым объемом написанного: «Меня слушает Пастернак, и, как замечаю я, с удовольствием. Он слушает меня, автора не больше как каких-нибудь двухсот страниц прозы; причем он розовеет, и глаза у него блестят! Это тот гений, поломанная статуя ворочается во мне — в случайной своей оболочке». «Случайной оболочкой», «поломанной статуей», «обломком гения» считал он себя и щедро восхищался другими: Есениным, Маяковским, Пастернаком, Катаевым, Грином... И еще многими, многими — ныне забываемыми, почти забытыми... Мне горько и одновременно радостно об этом читать.

Он любил людей и зверей, птиц и цветы: «Нет ничего прекраснее цветов шиповника!» Но свой последний, прощальный привет он послал деревьям, назвав их самым прекрасным, из того, что видел на земле: «Я помню сосну на каком-то холме, пронесшемся мимо меня в окне вагона... Сосна пронеслась мимо, навсегда, где-то в Литве, недалеко от Вильнюса... Я запомнил на всю жизнь это дерево...» И я ехала в поезде «Москва—Вильнюс» году в семьдесят восьмом и тоже, должно быть, смотрела на эту сосну. Я ничего не знала тогда о писателе Юрии Олеше, стоит ли говорить, что девочка, у которой не было детства, не читала его сказок и даже не слышала о фильме «Три толстяка», но вот деревья, а особенно сосны, как и он, я любила всегда. Их раскинутые, как для объятий, ветви, их «румяные от заката» стволы в рыжих «лушпайках» — сгоревшие на солнце плечи.

В Москве Юрий Олеша и Борис Пастернак были соседями по дому в Лаврушинском переулке, как мы с Юрой Белоненко — в Ялте и с Анваром Фатыховым — в Подмосковье. Ах да, Олеша и Пастернак были в



какой-то степени и земляками: ведь дед Пастернака — одесский извозчик. И Анна Ахматова родилась под Одессой, на хуторе Нерубайском, «на Одессщине»; Юрию Карловичу было «приятно думать», что они «с ней из одного края». Как близко все, как все «рядом, легко и впору сердцу моему», как горько и радостно смешались, перепутались, переплелись в братских объятиях люди и города, цветы и деревья, времена и книги.

«Обязательно заканчивать, — читаю я в середине книги «Ни дня без строчки». — Начнем с короткого, чтобы легче закончить».

Мне хочется взмолиться:

— Не надо ничего заканчивать, Юрий Карлович! Как я хочу, чтобы повесть о Вашем и моем детстве не закончилась никогда! И еще я прошу Вас — не умирайте.

Олеша не умер. Мой брат, Юрий Карлович Олеша, не умер от инфаркта 10 мая 1960 года в московской больнице, где по свидетельству Валентина Катаева «коснеющим языком... сказал врачам, преворачивавшим его на другой бок:

— Вы переворачиваете меня, как лодку».

...Как лодку, как воспетую им одесскую плоскодонку, как греческую фелюгу или похожую на древнюю ладью скамейку у ялтинского театра.

Десятое мая шестидесятого года. Я уже есть, с другом детства Юрой Белоненко мы живем в Ялте, нас возят в колясочках в городской сад, через шесть дней мне исполнится год, а Юре уже исполнился — он старше на месяц. Цветет глициния, лезет на стены домов, на чопорные кипарисы, на еще деревянные, а не бетонные столбы с белыми перевернутыми «чашками» — керамическими электроизоляторами. Они рассажены на перекладинах попарно, как ласточки, и вот-вот сорвутся, унесутся в майски безоблачное южное небо. Глициния обвивает и провода, ее обрубают, она не сдается — тяжелыми виноградно-лиловыми гроздьями тянется ввысь, к солнцу и благоухает, благоухает... Ее восхитительный пьянящий аромат смешивается с запахом лошади и керосина. По утрам на лошади, запряженной в небольшую повозку, в определенные дни несколько раз в неделю на нашу улицу привозят керосин для примусов. На асфальте остаются темные пятна. Скоро исчезнут и примусы, и лошадь, и керосин. Вместо этого появится газ, пока тоже привозной, в баллонах. Играет на солнце, смеется, слепит глаза наше самое ласковое, «самое синее в мире» море. Зная все это, вспомнив это, мой брат Юрий Олеша не стал умирать. Он остался жить для того, чтобы вернуть мне детство. Детство, которого не было.

Михаил ДАДАШЕВ

## Тайна

Рассказывают, что в далекие времена, когда цари иранские, встревоженные набегами гуннов и хазар, между горами Кавказскими и морем восточным строили великий город с дивными каменными стенами, жил неподалеку от тех мест коварный бек. Решил он в горном ущелье, у берега говорливой реки, что стремительно стекала с крутых вершин, возвести на земле отцов подобающий ему дворец.

Строили его три известных в округе каменных дел мастера, которые с рассветом приступали к работе и лишь на закате возвращались в свои села. Среди гор, где человека с рождения до самой смерти сопровождают скалы, выросло немало искусных мастеров по камню, чьи филигранные творения по сей день изумляют потомков.

Но стал замечать бек, что один из мастеров был каким-то особенным, непохожим на двух других: камни кладутся им в стену ровно и с одного раза, он не тороплив, но и не медлителен, от товарищей не отстает, смотрит и говорит с достоинством, без подобострастия, впечатляет основательностью, подобно дереву с могучими корнями или дворцу на крепком фундаменте. Каждый день после работы он неторопливо умывался у родника, без суеты приводил себя в порядок, и если его товарищи стремглав бежали домой, он шел спокойным шагом уверенного в себе человека. Удивлялся бек таким вельможным повадкам райята, его горделивой уверенности, и в глубине души порой возникали вьедливые сомнения. «Вельможа», — с насмешкой называл он его про себя, решив, что есть во всем этом какой-то секрет...

И с твердым намерением открыть эту тайну вознамерился бек побывать в домах своих мастеров. Начал он с двух других, а «вельможу» решил посетить последним, помня, что истина познается в сравнении.

На следующий день, когда каменщики приступили к обеденной трапезе, бек, переодевшись в нарядный костюм, направил своего коня к дому одного из райятов. На стук в дверь вышла жена мастера, красивая женщина средних лет, одетая, необычно для будней, в нарядное голубое платье.

— Извините, ханум, — заметив неподдельный испуг в ее глазах, заговорил бек. — Я и мой конь устали с дороги, — он показал на привязанного к дереву иноходца. — Не разрешите ли вы отдохнуть у вас часок-другой?..

— В доме нет хозяина, — стыдливо опустив голову, проговорила женщина.

— Я ненадолго, — с какой-то вкрадчивой мягкостью сказал бек и протянул золотой дирхем. — Вот, возьмите, пожалуйста, за постояй...

Увидев золото, женщина оторопела: долг замужней — не пускать в дом чужого мужчину — в этот миг боролся в ней с присущей жадностью, но желание иметь много денег и возможность запросто, без особых затрат, получить их одержали, наконец, верх, и она не устояла.

Проводив гостя в кунацкую, она принесла ему чай и направилась было уходить, когда у самой двери бек мягким окликом остановил ее:

— Извините, ханум, вы не скажете, как проехать до местечка N?

Не поднимая головы, женщина ответила.

А потом доброжелательный и душевный тон гостя, его щедрость (за чай он выбросил на стол еще один золотой!) настроили ее на откровенность, и она рассказала, что у нее подрастают двое детей, которые сейчас забавляются нехитрыми играми на бахче за домом, что муж-каменщик работает нынче за какие-то гроши у местного бека, что радостей в жизни почти нет...

Прощаясь, бек попросил разрешения завтра в это же время, на обратном пути, побывать здесь еще раз, и женщина без колебаний согласилась. В знак благодарности и неподдельной теплоты бек вложил ей в ладонь еще один дирхем, чем окончательно расположил к себе хозяйку дома, и как бы невзначай погладил ее упругое плечо.

К обеду следующего дня жена каменщика уже ждала гостя: накрыла стол яркой нарядной скатертью, приготовила вкусный обед, а детей тем временем отправила к своей матери. Бек обратил внимание на ее изящный наряд и притворно похвалил ее, отчего хозяйка вознаградила гостя кокетливой улыбкой. Гость давал ей один дирхем за другим: за теплоту и внимание, за вкусный обед, потом за трепетное рукопожатие, вслед за этим за поцелуй, потом еще... И так в каждую новую страницу их совместной истории он вкладывал по золотому, пока с жаром не дочитал ее до конца...

А жена второго каменщика оказалась угрюмой и не словоохотливой. Отказавшись от платы, она все же приняла гостя и предложила ему кунацкую, а затем вкратце поведала, что нажила с мужем четверых детей, а тот теперь тайком бегаёт к другой. По ее морщинистым щекам текли горячие слезы, и беку по-человечески стало жаль эту преждевременно постаревшую женщину...

В дом третьего мастера бек ехал в трепетном ожидании нового приключения. Он строил разные предположения, а потом сам же их отметал. Но то, что ему довелось увидеть на пороге дома «вельможи», превзошло все ожидания: перед ним стояла редкой красоты молодая женщина...

В первую минуту бек стоял как замороженный и не мог отвести глаз, потом, словно в забытьи, произнес:

— Вот это лань!

Женщина, словно горная серна, стремительно взбежала на порог и хотела захлопнуть дверь перед этим неизвестно откуда взявшимся нахалом,

но бек, опомнившись, не дал закрыть дверь и взволнованно заговорил:

— Красавица! Поверь, я объехал все от Балха до Тавриза, во всей Албании для меня нет неизведанных уголков, но, клянусь этим светом, такого чуда нигде не встречал. Скажи, как тебя зовут?

Женщина, испугавшись, сперва попятилась назад, потом молниеносным движением схватила висевший на стене ятаган и возмущенно воскликнула:

— Или ты сейчас же уйдешь, душман, или я убью тебя!

— Ханум! — окончательно придя в себя и ухватив женщину за руку, мягко заговорил бек. — Не бойся, я не причиню тебе зла...

Ему стоило немалых усилий отобрать у нее ятаган. Когда обессиленная этой неравной борьбой несчастная и оскорбленная женщина осталась безоружной, она устало села на стул и заплакала.

...В комнате было чисто и уютно. В очаге горел огонь, кипел казан — видно, хозяйка готовила к вечеру ужин. В углу играл годовалый мальчуган, и когда он увидел плачущую мать, с трудом встал на ноги и, похоже, впервые в жизни, качаясь и широко расставляя непослушные ножки, пошел к матери; устав с непривычки, упал на руки ей, потом сел у подола материнской юбки и настороженно, с удивлением посмотрел на бека.

— Вы потеряли намус, человек, — плача, говорила женщина. — Ворвались в чужой дом...

Даже слезы были ей к лицу: бледность щек озаряла ее лицо больше, чем синий ночной небосвод айвовая луна, а за мокрыми ресницами, как два яхонта, еще ярче сверкали вишенки глаз.

— Но ханум, я же не сделал тебе ничего плохого! — с величием и достоинством проговорил бек. — Я только хочу тебе помочь! Такой цветок не для этого бедного, заброшенного сада. Ты оглянись вокруг себя, здесь немудрено и завять скоро... Я богат, ханум! Я брошу к твоим ногам лучшие украшения. Ты — редкий алмаз, ханум, но не для этой бедной оправы! — бек развел руками, указывая на ее окружение. — Поверь, я хочу спасти тебя...

— Меня? Спаси? — удивилась женщина, словно только последние слова и слышала. — От чего? От счастья? Да знаешь ли ты, душман, что я самая счастливая женщина?! Каждая вещь здесь, пусть самая дешевая, напоминает мне о любви и радости, вот и это дитя — плод нашей любви — моей и мужа, а того, кто дарит мне это счастье, кого я люблю больше жизни, я каждый вечер жду, как праздника! Уйдите, недобрый человек, мне не нужны ваши украшения...

Смущенный бек, поняв всю тщетность своих уговоров, нарочито взорвался:

— Да знаешь ли ты, раба, с кем говоришь? Я твой Бог и судья, и все, все, что на этой земле: ты и твой муж, что строит мне дворец, сотни тысяч голов скота и райяты, идущие по моему приказу на смертный бой, — все принадлежит мне, беку! А ты, несчастная, вздумала мне перечить?! Я долго уговаривал тебя, а сейчас собирайся, поедешь в мой гарем...

Женщина вскочила с места, бросилась к его ногам и стала просить бека пощадить ее очаг, не гасить его огонь. Она слезно умоляла не растаптывать хрупкую чашу ее любви.

— Ты сейчас же поедешь со мной! — настаивал коварный бек.

— Нет! Не-е-т! — вскричала вдруг женщина. — Не бывать этому.. лучше смерти! Убей, душман, или я... сама...

В следующую секунду она подбежала к очагу, схватила нож и направила его к своей груди. Лишь чудом успел бек перехватить ее руку и предотвратить роковой удар.

— Не надо, ханум, — мягко сказал он, поразившись ее непреклонности. Потом, улыбнувшись, добавил: — Открою один секрет: я шел сюда с тайными мыслями и, увидев твою красоту, чуть не потерял рассудок, но теперь склоняю голову, ханум...

Бек возвращался на своем иноходце неторопливо, словно уставший после тяжелого боя воин. Только теперь понял он, в чем тайна того искусного мастера-каменщика...

## Болезнь

Три месяца длилась ее болезнь, и лишь к исходу зимы хворь стала проходить. Женщина блаженно замирала от яркого солнца, от робкой радости и надежды на прибавление сил, и улыбалась безо всякой причины — словно вместе с природой пробуждалась и она сама.

Сегодня она попросила открыть окно, тяжело приподнявшись, села на постель и оперлась спиной на большие пуховые подушки, услужливо подложенные ей любящим мужем.

Глинистый бугорок за домом озолотился бодрыми цветочками мать-и-мачехи: листьев нет, а на каждом мясистом стебельке — по желтой шапочке. Сирень проклюнула набухшие почки. Расцвел миндаль.

Усталыми, но лучистыми глазами смотрит женщина сейчас в окно и радуется солнцу, первой зелени, веселой болтовне пернатых, возвращающейся к ней жизни.

Несмотря на причуды молодой жены, особенно в последнее время, муж любил ее и старался быть предупредительным. Жили они дружно и в среднем достатке. Семилетняя дочь-первоклашка и годовалый мальчуган украшали их жизнь, наполняя ее смыслом и радостными хлопотами.

— Ой! — воскликнула больная однажды, увидев за окном знакомую женщину, и обратилась к мужу: — Вон, видишь, Гюльсюрх? Какой на ней красивый плащ! Я такой хочу!

— Хорошо, дорогая, — ответил муж, обрадованный ее выздоровлением. Через день плащ был куплен.

— Ой! — воскликнула она в следующий раз. — Вон, Шекер, соседка наша. На ней шаль японская, я тоже такую хочу..

И эта просьба была удовлетворена.

Со временем просьбы женщины становились самыми невероятными; мир, открывшийся вдруг ее взору, вызвал в ней такое обилие желаний, что она, словно балованное дитя, требовала порой их немедленного исполнения, не считаясь ни со временем, ни с возможностями, обвиняя мужа при этом в черствости, эгоизме и жадности.

Но когда прихоти ее стали одна причудливее другой и они разорили вконец семейный бюджет, супруг оказался в тупике. После очередной просьбы он ласково взял ее руку, подсел к ней ближе и сказал:

— Ты знаешь, дорогая, я тебя очень люблю и готов сделать для тебя все, что ты пожелаешь, даже жизнь отдать. Но послушай меня, я расскажу тебе старую историю — ты же любишь разные были-небылицы.

— Да, дорогой, рассказывай...

— Так вот, слушай... Была у падишаха единственная дочь — наследница его неслыханных богатств и царского престола, радость всей его жизни, да вот так же, как и ты, заболела...

— Спасибо, дорогой, за сравнение, — улыбаясь, проговорила женщина, ласково погладив руку мужа. При этом айвовые губы и щеки ее слегка порозовели.

Он тоже улыбнулся, но от тайной мысли, которая вдруг пришла ему на ум: «Вот что делает с женщиной даже косвенное сравнение», — а вслух продолжил:

— Тому, кто вылечит его дочь, падишах обещал целое состояние: хурджин золота...

— Наверное, желающих оказалось немало, — словно в забытьи произнесла жена, а потом, спохватившись, вдруг добавила: — Извини, дорогой, я совсем разболталась...

И в самом деле, до самого конца рассказа она не проронила ни слова.

— Да, — подхватив ее мысль, продолжал муж, — желающих заполучить такое богатство было немало, но подлинных лекарей, знатоков человеческих недугов, среди них не оказалось. И потому затужил падишах и с ледяным в сердце страхом ждал скорой развязки. Но однажды... Ты не улыбайся, в жизни, наверное, так и бывает: однажды к поэту приходит нужное слово, к гению — великая идея, ребенок, чтобы стать человеком, неожиданно произносит первое слово, тонущий хватается за счастливую «соломинку», невесть каким образом вдруг оказавшуюся рядом... Так и здесь. Выискался вдруг лекарь, который взялся вылечить дочь падишаха, и... вылечил. Счастливый шах приказал вызвать своего казначея и выдать спасителю дочери обещанную плату. А тот обратился вдруг к падишаху со странным вопросом:

— Великий падишах, позвольте обратиться к вам с просьбой?

— Да, сын мой, — ответил с улыбкой счастливый отец, — говори, я буду рад выполнить любую твою просьбу.

— Могли бы вы, мой падишах, изменить условия нашего договора?

— Все, что угодно! — с готовностью ответил шах. — Но что ты хочешь?

— Вот носовой платочек с небольшим узелочком, — лекарь показал его шаху. — Я прошу вас выдать мне столько золота, сколько он будет весить...

— Что с тобой, сын мой, твоя просьба — одна-две монеты, — удивился падишах, — а я дам тебе в тысячи раз больше. Ты, наверное, шутишь?

— Не шучу, падишах, нет, — отвечает лекарь, — так вы согласны исполнить мою просьбу?

— Станный ты человек, — сказал вконец озадаченный шах. — Что ж, будь по-твоему.. Казначей, исполни его просьбу!

Принесли весы, положили на одну сторону платочек лекаря с узелочком, а в другую чашу — одну, две, три, десять, сто золотых монет, но платочек все перетягивал.

Удивился шах, засуетилась вся его свита, краснел от злости вначале ухмылявшийся казначей.

На весы были положены все монеты казны, в ход пошли золотые слитки, потом драгоценные изделия, а конца все не было — платочек оказывался тяжелее. Не выдержал уже и возмущенный шах:

— Да что же в этом платочке, лекарь? Не колдун ли ты, не дьявол ли в человеческом обличье? — но, заметив невинный взгляд молчавшего лекаря, приказал: — Неси, казначей, все, что есть в казне! Слово есть слово!

И когда на весы были положены все золото и драгоценности казны, когда по свите шаха прошел шепот недовольства и возмущения, когда коварный визирь намеревался уже арестовать этого «нахала», осмелившегося так жестоко надсмеяться над шахской доверчивостью, опасную ситуацию исправил сам лекарь.

Он взял платочек, развязал узелочек, и все, увидев его содержимое, ахнули от удивления...

— Что же было в нем? — не выдержала жена рассказчика.

— Глаз, дорогая, ненасытный человеческий глаз!..

## Мешок

Колеса поезда стучали монотонно и нудно, как старая заигранная пластинка. Ритм этот никак не вязался с моим внутренним настроением, и потому было как-то не по себе. Несмотря на уговоры двух молодых людей распить с ними бутылочку сухого вина, я наотрез отказался и взобрался на полку. Нет, не мирилось мое сердце, не принимало сознание — хотя я был тому свидетель — что моего друга уже нет. Как это он однажды, узнав о моей болезни, запыхавшись, прямо с вокзала, влетел ко мне в кабинет и крепко обнял. «Что, пошаливает? — ве-

село спросил он тогда, а потом тихо добавил: — Береги себя...» А себя не сберег, не берег, не умел этого делать... Не о нем ли сказал мудрый поэт:

Я стал нередко думать, став старее,  
 Что умирают лучшие скорее,  
 Что жизнь вершит порой неправый суд,  
 Что лучшие себя не берегут...

О нем, наверное. «Да, удивительно хрупка и уязвима человеческая жизнь, — подумал я. — Словно мыльный пузырь из ребячьей трубочки: летит, блестит всеми цветами радуги, а потом — бух! И нет...»

Внизу раздался резкий звук граненых стаканов, и молодой голос произнес:

— Давай выпьем за верность нашу!

Друзья снова чокнулись и выпили.

— Э-хе-хе! — тяжело поднимаясь со своего ложа, заговорил четвертый пассажир нашего купе, седой, с морщинистым лицом старик. — Хорошие слова говорите, сынки мои, хорошие...

— Садитесь с нами, отец, — пригласили его молодые.

— Я уже свое выпил, — улыбнулся старик, и, погладив седые усы, добавил: — Да, выпил...

Он удобно сел на полку, посмотрел в окно, словно искал там что-то, потом, повернувшись к молодым, хитро улыбнулся им и продолжил:

— Кхе... кхе... В молодости, ну, когда я был таким, как и вы сейчас, много у меня было друзей... Молодость, сынки, словно молния, быстра на все. Пришел я как-то раз к отцу и говорю: «Дай мне, отец, денег, я хочу выпить с друзьями». Дал он мне денег. В семье у нас так было заведено: все в один котел, и если надо — бери. Хорошо погуляли мы тогда с друзьями, весело... Пришел я к отцу второй раз, говорю: «Дай мне, отец, денег, я хочу выпить с друзьями». Посмотрел отец на меня как-то пронизывающе-пристально, снова, не сказав ни слова, дал денег. Я и их истратил с новыми друзьями. И так много раз я брал у отца деньги, чтобы пить и гулять с друзьями, а их у меня становилось все больше и больше... Кхе... кхе...

И вот однажды, когда я в очередной раз попросил отца дать мне еще денег для новой встречи с друзьями, он усадил меня рядом с собой и осторожно спросил:

— Ты уверен, сын, что все те, с кем ты проводишь весело время, верные твои друзья?

— О чем ты говоришь, отец? — удивленно спросил я его тогда. — Конечно...

— Они будут с тобой как в радости, так и в беде? — не унимался отец.

— Конечно! — снова уверенно отвечал я. — Да это же... такие ребята!..

— Очень рад, сын, очень рад... В таком случае, — говорит он мне тогда, — ты можешь выполнить одну мою просьбу?



— Конечно, отец, — снова удивился я, — о чем речь...

— Вот и хорошо, спасибо, сынок, — сказал отец. — Там, во дворе, окровавленный мешок, в нем только что освежеванный мною баран. Ты видел его?

— Нет, — снова не понимая загадок отца, ответил я.

— Ничего, увидишь. А просьба моя вот какая, — продолжал отец, словно излагал соучастнику план намеченной операции. — Мы с тобой запрежем сейчас наш фаэтон, положим туда этот мешок и поедем к любому из твоих друзей...

— Зачем?.. — невольно вырвалось у меня.

— Слушай дальше, — словно не замечая моего удивления, продолжал отец: — Я арабачи, так сказать, лицо постороннее... Ты же зайдешь к своему другу и скажешь ему, что ты убил человека, и убитый, мол, в этом мешке, и пришел ты к нему за помощью: мол, надо спрятать этот мешок... Идет?

— Но зачем, отец, этот маскарад? — ничего не понимал я.

— Ты обещал исполнить мою просьбу? — хитро взглянув на меня, спросил отец. — Так исполняй... Только чур, все должно быть вполне серьезно.

Сказано — сделано. Запрягли мы фаэтон, отец бросил в него указанный мешок, и мы поехали в соседнее село к моему другу, с которым мы недавно пили.

Оставив отца во дворе, я постучался к другу в дверь сакли. Говорил я с ним недолго и вернулся удрученный.

— Он сказал, что в этом деле помочь не может, — стыдливо опустив глаза, ответил я на немой вопрос отца, — но ты не огорчайся, отец, мы сейчас поедем к другому моему другу, это здесь недалеко, мы только вчера вместе пили, он точно поможет.

Где-то в полночь мы приехали к дому моего нового друга. Но и от него я вернулся ни с чем. И так несколько раз в эту ночь друзья отказывались помочь мне в беде. Отец молчал, а я был в отчаянии, готов был заплакать от гнева и обиды.

Вот тогда, поняв мое состояние, заговорил отец:

— Знаешь, сын, не горюй, есть у меня друг в Мюшкюре, правда, много лет мы с ним не виделись. Поедем, может, он чем поможет..

На рассвете мы подъехали к дому друга отца. На стук он сам открыл ворота и, увидев отца, ахнул от изумления.

— Вах! — улыбаясь, говорил он, обнимая сперва отца, потом меня. — Сколько лет, сколько зим! Заходите, дорогие, какая радость!..

— Нет, подожди, — сказал отец, — дело есть...

— Дело? — удивился хозяин, — говори, дорогой!..

— Беда случилась: в честном бою я убил своего недруга, вот он, в этом мешке, — отец показывает на мешок в фаэтоне. — Помогите его спрятать.

— Вах, о чем речь, если ты убил, значит, этот негодяй заслуживал этого,— решительно говорит хозяин и берет лопату.— Вот, где я стою, тут мы его и спрячем,— и начинает рыть яму..

Тогда-то впервые за всю эту долгую ночь отец улыбнулся, обнял своего друга и с волнением произнес:

— Спасибо, дорогой, я и не сомневался, но дело не в тебе. Так, проверка одна требовалась.— Он снял с фаэтона мешок, развязал его и вынул баранью тушу. Потом, обращаясь ко мне, добавил: — Вот что, сын: друзей найти в жизни очень легко — выпил, вот тебе и друг. А вот сохранить дружбу, быть верным дружбе, нести в сердце великое слово «друг» — трудная задача, и не каждый ее может решить. Верные люди, сын, о дружбе не говорят, ее молчаливо делают! Кхе... кхе...

Старик закончил свой рассказ и умолк. Колеса поезда стучали монотонно и нудно, как старая заигранная пластинка. Я вдруг с болью и горечью вспомнил, что моего друга уже нет...

## Лекарь

Цари персидские, кои в течение долгих веков господствовали на землях древней Албании, для укрепления своих границ не жалели ни средств, ни людских жизней. Могучие стены вырастали на путях северных варваров, «железными воротами» называли их неприятели, а на вершинах гор вечными памятниками народным умельцам воздвигались маленькие башни-крепости, огнем своих факелов извещавшие о приближении врага. Вот и была построена тогда редкой красоты башня — крепость Кемах, откуда прошлое смотрит в сегодня глазами полуразвалившихся бойниц...

Жил, говорят, в этой крепости лекарь Худодот, голубоглазый красавец, с душой чистой, как горный родник, а умением — равного не было в целой округе. Травами и кореньями, водами редких родников или словом добрым он исцелял умирающих, поднимал немощных, давал силу ослабшим, и со всех окрестных сел шли к нему так, как все живое тянется к свету. Молва есть молва, иногда она правдива, а порой преувеличена, но очевидцы рассказывали, что видели у его дома раненого барса с перевязанной лапой и что понимал лекарь языки и повадки зверей.

В тот год и пришла в Кемах недобрая весть, что у ширванского шаха тяжело больна единственная дочь, несравненная Гюльбоор, что со всех концов вилайета пригласил шах знахарей, врачей да лекарей, но помочь больной никому не удалось. В траур, говорили, одеты шах и его приближенные, и тому, кто вылечит дочь-наследницу, обещана великая награда.

«Что ж, попробую и я,— решил Худодот.— Да поможет мне великая сила добра!» И с твердым намерением попасть к ширванскому шаху в Кабал собрался в путь.

...Снаряжали лекаря всем аулом: кто свежий чурек испек ему в дорогу, кто вкусный овечий сыр принес и положил в хурджин, кто бурдюк вина, чтобы путник мог утолить жажду. Так в горах наших было всегда — добро возвращалось добром.

Какими дорогами шел лекарь Худодот, где останавливался на ночлег и сколько дней был в пути, об этом никому не ведомо, но людская молва утверждает, что пришел он к шахскому дворцу уже под вечер, после того, как мулла пропел вечерний азан и городские ворота закрылись...

Надвигалась звездная летняя ночь, и уставший путник наш с сожалением отошел от закрытых ворот, присел у чинара, что росли здесь в три ряда, утолил голод остатками еды из хурджина и облокотился о широкий ствол. Никем не нарушаемая тишина и тусклый свет шафрановой луны, пробившийся сквозь листву деревьев, окутали лекаря покоем, и он блаженно заснул.

Вот тогда и произошло невероятное, то, чего лекарь никогда ранее в себе не замечал и не мог объяснить в течение всей своей жизни: у спящего Худодота нежданно-негаданно заговорили ноги.

— Друзья! — торжественно произнесли они. — Завтра утром откроются городские ворота, наш хозяин пойдет к шаху, вылечит красавицу Гюльбоор, и его ждет великое будущее. И знаете, благодаря кому? Нам, ногам! Не было бы нас, не смог бы он прибыть сюда, значит, не могло быть и всего остального. Вот и получается, что мы — самые главные у человека. Недаром говорят: ноги кормят человека. И потому просим к себе почтения!

— Ну и ну!.. — возмутились руки. — Вы от скромности не скрючитесь! Почтения?! Да знаете ли вы, хвастунишки эдакие, кто такие руки?! Если хотите знать, именно руки создали самого человека! Если бы вместо рук были лапы, наш хозяин, словно зверь какой, ходил бы на четвереньках, и даже тот же трусливый волк одолел бы его. Да если у него не будет рук, как он будет прикасаться к больной, чувствовать ее кожу, органы, варить собранные травы и давать ей? Великим он станет только благодаря нам и никому другому. Главные — мы!

— Вот слушаем мы ваши речи и диву даемся, прямо сороки-балаболки, — заговорили уши. — Где вы спрятали совесть, без которой даже ангелы превращаются в дьяволов? Мир звуков, — мечтательно продолжали они, — мир музыки, чудесный мир любимых звуков и трелей соловья, и вдруг этого лишит человека... Представьте себе: наш хозяин глухой, а в крепость пришла весть о больной дочери шаха — первая ситуация, больная жалуется ему, что-то говорит — это вторая ситуация. Глухой мог услышать все это? Что же вы молчите? Так вот, если логически рассудить, приоритет за нами!

— Что ни говорите, но без меня тоже не обойтись, — проговорил нос. — В отличие от вас, я — один, и не могу говорить в два голоса, но я за себя постою. Я — защитник хозяина, главный санитар его армии. Не было бы меня, он бы погиб, задохнулся, его легкие погибли бы от гря-

зи, пыли и вредных микробов. Без меня он был бы лишен величайшего чувства обоняния, запаха нежных цветов, морской воды, хвойного леса, весенней горной полыни. А скольким вредоносным пылинкам я преграждаю дорогу, охраняя своему господину жизнь! Я страж...

— Когда коня подковывают, и осел свою ногу сует, — ухмыльнувшись, сказал кто-то из спорящих, прервав речь носа в самом ее апогее.

— Вечно ты суешься, куда не следует, — горделиво вступили в спор глаза. — Недаром говорят: «Глаза невзлюбили друг друга и между ними вырос нос». Ты однажды воспользовался нашим разногласием и влез между нами, как «друг семьи»... А теперь молчи, когда говорят старшие, младшие должны сопеть в н..., в сопелку. — Они умолкли на секунду, а потом, собравшись с мыслями, продолжили: — Слепой хозяин — это горе и рукам, и ногам, и тебе, сопливому носу, и ушам, и всей той братии, которая тоже норовит что-то сказать здесь. Человек — это частица зелени лесов, сини морей и океанов, небесной голубизны, айвовой луны, мигающих, как глаза красавиц, звезд, белой березы и прекрасного огня. И только тогда он чувствует себя как дитя природы, когда все это видит! Жизнь — свет, темнота — отсутствие жизни. И потому мы надеемся, что вы поняли, какую великую миссию выполняем мы, служа человеку!

Установилась неловкая тишина, руки от предутренней прохлады ухватились друг за друга и теснее прижались к телу, ноги потерлись пятками, фыркнул и нос спящего, выбросив из своего волосяного бора какой-то застрявший ненужный комок.

— А обо мне вы почему-то забыли! — нарушив вдруг звенящую тишину ночи, заговорил язык. — Все вы так красиво и долго говорили о своей службе хозяину, словно поэты какие. Да, правда ваша, вы слуги человека, а вот я... я — его господин!

— Ах ты нахал, паразит, трутень, лентяй! — возмутились все разом. — Живешь в тепле, ни жары, ни мороза не знаешь, ни труда, ни усталости, защищен, обласкан, неженка избалованная! Надо набраться нахальства и нам такое заявить... «Господин!» Мы тебе дадим, «господин»...

Умолк язык, глубоко затаив обиду за унижения свои.

Забрезжил рассвет: черные краски ночи сменились на серые, зашелетели листья на верхушках чинар, чирикнула птичка, обронив на голову спящего лекаря свою нужду. Мулла, поднявшись на минарет, пропел утренний азан, и городские ворота открылись.

Кабал! Великий город древнего Ширвана. Голубые купола мечетей устремились к кебу, ажурные окна роскошных дворцов улыбаются многочисленным гостям, ароматные запахи караван-сараев зазывают проголодавшийся люд, говорливо журчат живительные родники. И двух глаз не хватит человеку, чтобы охватить всю эту красоту.

Умывшись у родника, лекарь привел себя в надлежащий вид и направился к шахскому дворцу. Ждать пришлось недолго, здесь искренне рады были каждому, кто брался вылечить больную дочь шаха.

— Откуда ты, путник? — устало спросил вконец потерявший всякие надежды шах, когда лекаря привели к нему. — Ты молод и берешься лечить людей?

— Я из крепости Кемах, — с достоинством ответил Худодот. — Независимо от возраста, накопленный опыт помогает мне возвращать людям здоровье.

— В этом дворце побывали великие лекари мира, сын мой, но, как видишь, все безрезультатно... Что же ты собираешься делать? — снова спросил шах.

— Я... я пришел... — в этот момент с бедным лекарем произошло что-то невероятное, он побледнел, как-то неестественно вытянулся, словно неведомая сила сковала и одурманила его мозг, и он, не выдержав этого напряжения, вдруг ослабевшим голосом произнес: — Я пришел убить вашу дочь, падишах!

Слуги и приближенные шаха всполошились и бросились на лекаря.

— Да он сумасшедший! — возмутился шах. — Дайте ему хороших плетей и бросьте пока в подземелье... А завтра решим, что с ним делать дальше. Надо же...

Избитого, полуживого лекаря бросили в подземелье, чтобы завтра же отправить на эшафот.

— Ох! — стонали израненные и кровоточащие ноги. — Еще бы немножко — и нас бы эти палачи вконец изломали! Ох!..

— Ой, ой, ой, — завывала рука, что сползла с груди лекаря и ударилась о каменный пол подземелья. — Что они с нами сделали, эти негодяи?! Ой, сил больше нет...

Тихо стонало изрезанное ухо, видно, плеть не пощадила и его, когда хозяин хотел лягнуть одного из палачей. Задыхался от возмущения и боли разбухший нос, у ноздрей которого накопилась засохшая кровь. Слезясь, расплылся опухший глаз. И ему было несладко. И вдруг, в этом коловороте стонов и жалобных причитаний, наполнивших подземелье, раздался громкий хохот.

— Ха-ха-ха! — смеялся язык. — Что? Больно? Стонете? Так вам и надо, дураки! Это за вашу самонадеянность, — выговорил он всем больным членам хозяина. — Я говорил, что я господин над человеком, а вы не только не поверили, а оскорбили, унизили меня. Что смотрите, словно с луны свалились? Да, да, достаточно мне было сказать шаху правду, что пришел не убить, а вылечить его дочь, как все бы изменилось: вы, ноги, не были бы изранены; ты бы, рука, не была вывихнута, а ты, нос-хвастунишка, так уродливо не растолстел; да и другим бы не досталось. Ну, теперь вы убедились?

— Да! Да! Убедились! — в один голос заговорили раненые. — Ты действительно господин! Ты всемогущ!..

— Я и сейчас могу все изменить! — уверенно заговорил язык и с высоты своего положения горделиво взглянул на них. — Я могу человека и великим падишахом сделать, и несчастным рабом!..

Все хором стали его просить, умолять, не забывая при этом расхваливать вчерашнего «нахала».

Лекарь не спал: боль во всем теле не давала ему возможности заснуть. Он с открытым от удивления ртом слушал весь этот разговор и не верил своим ушам. И когда его вдруг пронзила мысль о скорой гибели, он, собрав весь запас своих жизненных сил, подполз к дверям своего каземата и здоровой рукой стал стучать и звать стражу.

— Ты еще живой, ненормальный? — удивилась стража. — Что, еще хочешь получить? Ха-ха-ха...

Лекарь стал просить их отвезти его к шаху, он взывал к их совести, во имя их матерей и детей просил о сострадании, приводил сотни доводов, десятки примеров и наконец заключил: «Даже смертнику разрешают сказать последнее слово!» И убедил: у этих, казалось бы, бессердечных людей вдруг открылся затаенный ларец сочувствия, и лекаря повели к шаху.

— О мой справедливый шах! — начал лекарь свое слово. — Я передам вам диковинный разговор, невольным свидетелем которого стал на каменном полу вашего подземелья. Я поведаю вам о тайне, о существовании которой и не подозревал...

Он говорил с таким вдохновением, красноречием, что все, кто слушал эту речь, были поражены. Казалось, перед шахом был не простой лекарь, что пришел сюда в поисках удачи и счастья, а умудренный жизнью оратор, трибун, равного которому не было во всем свете.

И шах поверил лекаря...

## Чума

**А**наит и Зулейха жили по соседству. Дома их, прижавшись друг к другу, четырьмя большими окнами смотрели на улицу, а дворовым фасадом были повернуты каждый к своей полоске приусадебной земли, между которыми в обнимку росли два ряда инжировых и гранатовых деревьев, где безраздельно, не признавая границ, господствовала детвора той и другой стороны.

Село, в котором жили Анаит и Зулейха, расположено в Армении, в сорока верстах от Азербайджана. Но границы здесь никакой нет, если не считать каменистой гряды, через которую добрые руки людей проложили дорогу да с обеих сторон от нее посадили большой плодовый сад, названный потом «Райским садом».

Больше половины жителей села — армяне, другая же часть — азербайджанцы. В нем никогда не было ни церкви, ни мечети, но это не мешало его жителям верить своим богам и в то же время жить в дружбе и согласии.

А в последние годы все чаще заключались смешанные браки, лишней раз говорившие о том, что из всех богов наиболее почитаемой стала здесь великая богиня жизни — любовь.

От отцов и дедов к сыновьям и внукам, как эстафету, передавали здесь легенду о том, что много веков назад два доблестных сына этих орлиных краев, два закадычных друга Сурен и Ахмед отвоевали у каменистой гряды лоскут земли и начали крестьянскую жизнь, что первые дома здесь построены именно из тех камней с красными жилами гранита, которые когда-то давным-давно от причуд природы посыпались с вершин соседней горы и рассыпались по всей округе. Вот с тех пор и селились здесь те, кто умел трудиться и знал этому цену.

Нелегкая крестьянская жизнь не оставляла времени для досужих разговоров и пересудов. Труженик всегда думает о насущном, ему некогда лясы точить. Но зато горе и радость здесь были общими и делились на всех поровну. А о человеке судили по его труду, леность осуждалась и служила поводом для насмешек, трудолюбие же и мастерство приносили славу и уважение. Что же касается интеллигенции села, которая по природе своей любит порой наводить, как говорится, тень на плетень, порываться в выброшенном и забытом, как ненужном, то и она была своя, доморошенная — с детства приученные к труду сыновья и дочери тех же крестьян.

У Анаит было двое детей — круглолицый Ашот и большеглазая Соня, после которой врачи предостерегли Анаит от деторождения. А вот Зулейха принесла в семью четверых сыновей: Мирзу, Гусейна, Мамеда и Тофика, да двух дочерей: Лейлу и Беневшу. Сурен же, муж Анаит, и Ахмед, муж Зулейхи, считали, что у каждого из них пятеро сыновей и три дочери, и не мыслили жизни без совместных вечерних чаепитий и праздничных застолий, не уставая повторять при этом, что «близкий сосед лучше дальнего родственника».

...Война вошла в их жизнь в одночасье, когда Сурен и Ахмед, накинув на плечи вещевые мешки, отошли от ворот, сели на старенькую полуторку и прощально помахали рукой.

«Га-р-р!» — зловеще гаркнула тогда пролетевшая рядом ворона и вселила в трепетные сердца верных и любящих жен тревогу за судьбу покинувших дом мужей.

— Будь ты неладна! — смахивая слезу, сказала Зулейха, и было непонятно, кому адресовала она это проклятье: войне, внезапно изменившей жизнь ее семьи, или так некстати пролетевшей мимо черной вороне.

Да, не напрасно встревожилась тогда Зулейха, не обмануло ее больное сердце предчувствие. Вскоре, вслед за солдатскими треугольниками, пришла печальная весть, что ее Ахмеда больше нет.. Изменилась женщина в лице, восковыми стали ее некогда вишневые губы, сильнее прижала к материнской груди младшего сынишку и замерла в ужасе. Нет, не сумела она заплакать, не было слез в ее потускневших глазах, словно не весеннее солнце светило вокруг, а мрак махал ей черными крыльями.

— Ахмед, дорогой! — тихо произнесла Зулейха и в тот же самый день отдала Богу душу.

Соседских детей Анаит не оставила одних, да и как было их оставить, коли старшему было четырнадцать, а младшему — три. Не нарушила Анаит данного Зулейхе обещания, все продолжалось, как прежде: она учительствовала, дети учились и помогали ей в домашних делах — жили одной семьей. Когда кругом были ликование и радость по случаю окончания войны и возвращались в село оставшиеся в живых солдаты, а Анаит с детьми со дня на день ждала возвращения мужа, немилосердная судьба двадцатого мая преподнесла им еще один коварный сюрприз — в одной из немецких деревень вражеская пуля унесла жизнь и Сурена...

— Мамочка, родненькая, не умирай! — кинулись к убитой горем матери ее осиротевшие дети и сквозь горькие слезы причитали: — Мы тогда тоже умрем...

И Анаит выстояла, ибо в шестнадцать испуганных жизнью глаз на нее смотрели восемь несчастных детей. Они требовали заботы, но они же и помогали ей преодолеть все трудности послевоенной жизни. «Птенчики мои дорогие...» — мысленно радовалась она детям.

Вскоре подросли и окончили школу Мирза и Ашот. Первый уехал в Баку, поступил в институт, второй же — в Ереван, стал учиться на врача. Затем стали вылетать из родного гнезда остальные ее «птенчики»: Гусейн и Мамед окончили ремесленное училище и уехали работать в Сумгаит, в Агдам вышли замуж Лейла и Беневша, а возмужалый Тофик поступил в Бакинское военное училище.

Шли годы, но никогда не теряли дети связи с матерью, а связующим звеном этой большой уже, выросшей цепи оставалась ласковая большеглазая Соня, теперь уже сама ставшая матерью.

И вдруг снова война, теперь уже не там, на западе, а здесь, рядом, в собственном доме... Чума национальной розни охватила города и села, она шла страшной волной, не щадила вековые устои и тысячелетнюю дружбу, унося в своих смертельных объятиях десятки и сотни жизней. Теперь уже свои лиходеи натравливали одних на других, сеяли семена вражды между армянами и азербайджанцами, выискивая пятна на чистом знамени двух братских народов. Радовалась эта свора, что ценой жизни многих сотен ни в чем не повинных людей она сумела отвести удар от своих воровски нажитых миллионов...

— Что же вы делаете, дети мои? — призывала к разуму своих взявших в руки оружие вчерашних учеников старая Анаит. — И Христос, и Мухаммед всегда звали людей к милосердию, а здесь христианин убивает мусульманина, и наоборот. Ничего не понимаю...

В эти дни национальной скорби и умерла Анаит, не вынесло раненое сердце матери еще одну войну...

И та полоса земли на каменистой гряде, которая называлась раньше «Райским садом», где и межи не было, вдруг стала «границей», будто земля эта рождала по весне не нежный цвет абрикосов и миндаля, а



плоды недоверия, подозрительности и вражды. Многих трудов стоило мужественной Соне сообщить своим братьям и сестрам в Азербайджан о смерти матери и дне ее похорон.

А на следующее утро к никем не охраняемой и безопасной раньше границе со стороны Азербайджана подъехал автобус с траурными лентами по бокам. В нем были Мирза и Гусейн, Мамед и Тофик, Лейла и Беневша — с женами, мужьями и детьми, все вместе, всей большой семьей они торопились в свое родное село на похороны.

Весть об этом молниеносно пронеслась по округе, прекратились выстрелы, замерли в задумчивости суровые лица одурманенных ложью людей.

— Не стрелять! — пронеслось меж ущелий и гор. — Не стреляйте, ребята! — прозвучала команда на двух языках.

И через живой коридор до самого села автобус скорби тронулся в путь.

Хотя и был декабрь, но было нехолодно, крупными хлопьями шел скорбный снег. Хоронили Анаит всем селом. И вот, когда на край могилы положили гроб, вдруг среди собравшихся пронесся вздох удивления — это с соседней горы спускались к могиле попрятавшиеся в расщелинах скал безоружные парни, чтобы проводить в последний путь свою старую учительницу.

— Дорогие мои сельчане! — завершил прощальный митинг безрукий учитель истории, старый Рубен. — В этот скорбный час прощания с нашей Анаит мне хочется рассказать вам притчу. Говорят, возвращался после долгих поисков Счастья к себе в село один бедняк. А тут навстречу ему Богатство. Обрадовался бедняк и спрашивает, куда, мол, ты идешь.

— Туда, где есть Дружба!

Не смог бедняк пригласить его к себе, потому что не было в их селе Дружбы. Пошел огорченный бедняк дальше и встретил Силу. Обрадовался и спросил ее:

— Сила, куда ты идешь?

— Туда, где есть Дружба!

Не смог он предложить и Силе поселиться в своем селе, ибо не было там Дружбы. С тоской и грустью продолжал он идти, как вдруг навстречу ему — долгожданное Счастье.

— Счастье, куда ты торопишься, я так долго тебя искал! — окликнул его бедняк.

— Туда, где есть Дружба!

Понял бедняк, что не уговорить ему Счастье, так как не было в их селе Дружбы.

Старый Рубен вдруг внезапно умолк и с грустью посмотрел на собравшихся.

У могилы армянки-матери плакали ее дети — азербайджанцы...

**Виктор КИРЮШИН**

### **ИСТИНА**

Давайте о главном,  
О сущем,  
Чему и названия нет,  
Как этим вот липам цветущим,  
Густой источающим свет.

Что толку в раскладе учёном?  
Ведь истина наверняка  
В неявленном,  
Ненаречённом,  
Непонятом нами пока.

Как некая дивная птица,  
Внезапно мелькнёт у лица...  
И манит она,  
И таится,  
И гибнет в руках у ловца.

### **СУДИМИР**

Ночной перрон как будто вымер,  
Безлюден крохотный вокзал.  
— Какая станция?  
— Судимир! —  
Случайный голос мне сказал.

Живя обыденным и сущим,  
Кто не загадывал из нас  
О предстоящем,  
О грядущем,  
Что ожидает в некий час?

Бесстрастно время, словно молох, —  
Нам не дано его продлить...  
Но заглянуть за тёмный полог?

Предвидеть?  
Предопределить?

За что же будем мы судимы?  
Когда и кем?  
Предвосхити,  
Поскольку неисповедимы  
Земные краткие пути.

Но больше не было ответа,  
Лишь волновало душу мне  
Чередование тьмы и света  
В незанавешенном окне.

## ДОРОГА

А путь туда нескладный да безрельсовый:  
Беда, коль дождь нагрянет проливной!  
Старается, пытит автобус рейсовый,  
Качаясь, будто пьяница в пивной.

Намаешься, но к пункту назначения  
Особо торопиться не с руки,  
Пока несёт, баюкает течение  
День ото дня мелеющей реки.

Пусть на удачу грех уже надеяться,  
Когда минуешь самый дальний плёс,  
Но над обрывом вспыхнувшее деревце  
Вдруг отчего-то станет жаль до слёз.

Ах, жизнь моя, полова да окалина,  
Небесконечных дней веретено...  
Вот деревце — от века неприкаянно,  
Вот я стою, такой же, как оно.

\* \* \*

У края, у межи  
Сошлись теперь и впредь  
Предположение жить  
С надеждой умереть.

Язык весов и мер  
Поставил мир впросак,  
Но свет нездешних сфер  
Покуда не иссяк.

Колокола звонят  
Во сне и наяву:  
Они меня хранят,  
Они меня зовут.

Канат легко рубить,  
Но что вам завещать?  
Живых уметь любить,  
Живых уметь прощать.

## АКТЁР

И вот уходит за кулисы  
Актёр, игравший короля.  
Он через час предстанет лысым,  
С лицом зануды и враля.

Весьма банален и обычен,  
Как всем наскучивший мотив,  
А был возвышен  
И трагичен.  
Судьбу чужую воплотив.

Сидит, хохочет, словно девка,  
Король, свою предавший рать...  
И где искусство,  
Где подделка —  
Поди попробуй разобрать.

## СКАЗКА

В полумраке размыты детали —  
Фонари, очертания туч...  
Воздух августа сентиментален  
И, как мёд загустевший, тягуч.

Ни о чём не жалеи, человече!  
Всё случилось, чему суждено.

Даже горечь несбывшейся встречи  
Перебьёт молодое вино.

Пусть нехитрая песенка спета,  
Но неведомой жизни полны  
Эти зыбкие полосы света  
Восходящей растущей луны.

Что ей беды твои и невзгоды,  
Если после метелей и вьюг,  
Лишь проклюнутся первые всходы,  
Гуси-лебеди сядут на луг?

Вновь округа изменит окраску,  
Продолжая по воле Творца  
«Жили-были»...  
Нестрашную сказку,  
У которой не видно конца.

Марина ПЕРЕЯСЛОВА

## ПОЭЗИЯ КАК ЗЕРКАЛО ДУШИ

О книге Ивана Переверзина «Северный гром». —  
М.: ИПО «У Никитских ворот», 2013. — 528 с.

Заканчивая в октябре 1925 года автобиографический очерк под названием «О себе», пронзительный русский поэт Сергей Александрович Есенин, обозначил в нем самые существенные, на его взгляд, вехи своего жизненного пути и как бы мимоходом добавил: «Что касается остальных автобиографических сведений — они в моих стихах». Тем самым он дал понять и читателям, и будущим исследователям своего творчества, что не в анкетах и биографиях, а именно в поэзии отображена его истинная суть, и прежде всего в ней следует искать следы его времени и отголоски жизненных перипетий и тех ценностей, которые он исповедовал. И эта есенинская отсылка относится не только к нему самому, но практически к каждому настоящему поэту, в стихах которого, как в незамутненном зеркале, отражаются лучшие грани его души и основные черты характера. У поэтов, которые отталкиваются в своем творчестве от реальной жизни, стихи говорят о них лучше, чем какое-либо полновесное досье...

Вот и написанные на рубеже XX и XXI веков стихи поэта Ивана Переверзина, составившие его новую книгу «Северный гром», несут в себе отпечаток тех дум и чаяний, которые владели сознанием поэта в обозначенном периоде его жизни. Этот период, совпавший с кардинальной общественной ломкой традиционных русских устоев и крушением идеи построения коммунистического государства, можно назвать временем не только испытания духа поэта, но и становления его подлинной человеческой зрелости и мудрости, когда собственное «я» максимально выкристаллизовывается, накапливает арсенал четко сформулированных духовно-нравственных ценностей, которые плавно перетекают в стихи. Перед глазами читателя воочию совершается окончательное формирование жизненного и художественного кредо поэта, вследствие чего «лепка» его творческого «лица» с наивысшей полнотой и отчетливостью проступает сквозь строки включенных им в книгу стихотворений этого времени. Обратимся же к тем слагаемым, которые составляют спектр души поэта и выступают в качестве неких внутренних заповедей, определяющих его отношение к миру, людям, Богу, Отечеству и литературе.

С этой точки зрения самым интересным в сборнике «Северный гром» мне представляется не упоминание сочных и точных переверзинских метафор о суровых якутских морозах, которые то грохочут над сердцем кровельной жестью, то ломаются по лесу разбуженным медведем так, что только треск стоит по округе, а то оказываются вколоченными в грудь, как гвозди, из-за чего из глаз, точно иглы, падают непрошенные слезы, — гораздо более важным, чем перечисление этих запоминающихся образов мне представляется желание посмотреть на то, что составляет непосредственно саму личность поэта, какие нравственные принципы он исповедует и открывает своему читателю. Ведь стихи — это своего рода слепок с души поэта, позволяющий увидеть его внутреннюю суть и основы его мировоззрения. И первое, что бросается в глаза при чтении предельно реалистичных стихов книги — это сострадание ближнему, являющее одну из главных отличительных черт поэта и человека Ивана Переверзина. Сегодняшнее время приучает людей почти исключительно к конкуренции и борьбе за выживание, вытесняя традиционные для русского человека чувства сострадания и сочувствия, из-за чего стало вроде даже как неприлично проявлять на людях свою душевную теплоту и желание кому-то помочь и кого-то обогреть. И только поэт, не боясь прослыть старомодно-сентиментальным, не скрывает своих добрых чувств и открыто показывает себя миру таким, каков он есть, и каким, наверное, должен быть каждый из нас:

В морозы волны умирают,  
бессильно падают к ногам...  
Стою и хлебушко бросаю  
спующим в голоде малькам...

...И, может быть, на этом свете  
моя судьба в закатный час  
в рыбешках маленьких вот этих,  
которых я кормлю сейчас.

А что — помог по-человечьи,  
всем поделился, что имел, —  
и, смотришь, будет им полегче  
преодолеть речную мель.

Стремление накормить, обогреть, осчастливить, спасти, подать руку помощи — это для Переверзина не поза, а естественное свойство души и характера, привитые ему с самых ранних лет заветами матери — да и не просто заветами, а самой ее добротой, воспоминание о которой поэт несет через всю свою жизнь, поддерживая ими теплоту своего собственно-

го сердца и умение быть благодарным. Уже само название стихотворения «Гошу у матушки в деревне» пронизано добрым сыновним чувством к той, которая дала жизнь и вырастила, и продолжает защищать и спасать его от жизненных тягот, держа открытым для поэта и свой дом, и свое горячее материнское сердце. И, приезжая в родные края, поэт не просто отдыхает здесь сердцем, но в буквальном смысле спасается от суровых и безжалостных бурь нашего все более ожесточающегося века:

Я — в этой дали пропадаю,  
 лежу в траве, стихи читаю,  
 плывут, как мысли, журавли.  
 Не верится, что днями раньше  
 я был от смертных бурь не дальше,  
 чем незабудка — от земли.

Но как бы ни хорошо было нам в родительском доме, как бы ни сладко было снова ощущать себя, как в далеком детстве, под защитой маминой руки, а надо возвращаться в тот утративший ласковость и давно ставший враждебным мир, который и являет собой нашу каждодневную реальность. Возвращаться — быть может, именно для того, чтобы ценой своей собственной судьбы попытаться сделать его хоть немного лучше. Потому что жизнь — это вечное преодоление зла, борьба с тьмой во имя света. Но Иван Переверзин не мусолит свои страдания перед публикой, подобно множеству расплодившихся мазохистов, и не рефлексировать по поводу не уменьшающегося количества врагов. В его творчестве можно найти лишь минуты временной человеческой усталости, а дальше — снова в бой, снова в полет — к победе и достижению своей цели:

Моя измученная жизнь —  
 летит, как птица стерх,  
 в палящий зной то вверх, то вниз,  
 но чаще все же — вверх...

Вверх — это значит к небу и к Богу, к вере и справедливости. Не может этот мир не быть справедливым, не зря же Господом так устроено, что вслед за зимой приходит весна, и даруемый ею дождик смывает с земли почерневшие сугробы и наполняет мир радостью и предощущением скорого тепла и солнца! И этот первый негромкий дождик не меньше, чем Божьи храмы, дает поэту веру в высшую справедливость, вливает в душу предчувствие скорого счастья и укрепляет силы для дальнейшей борьбы и жизни:

Дождь все омоет после стольких  
 морозов и тревожных выюг, —  
 он для улыбчивых и стойких,  
 для каждой веточки вокруг!



Отсюда, из веры в то, что все в этой жизни должно быть честно и справедливо, из веры в свое предназначение, берет начало и отчетливо проявляемая в стихах Ивана Переверзина неколебимая верность своему призванию, выражающаяся в служении русскому поэтическому слову:

...Не подведу тебя, о нет!  
И если тем, что я — поэт,  
тебя смущаю я невольно,  
могу на празднике труда  
стихи забросить навсегда,  
как это мне ни будет больно.

Лукавлю? Точно! Ибо мне  
в краю моем, в моей стране  
поэзия — как мать родная.  
Ну, значит, принимай, как есть,—  
однажды все равно я здесь  
умру, — прощенья ожидая.

Но творческий дар, даже если он дан тебе от Бога, не развивается и не реализуется сам по себе, а требует бесконечной самоотдачи, каждодневного самосжигания в поэтической (и не только!) работе во имя своих читателей, во имя своих соотечественников, во имя своих современников и потомков. И в этом плане стихи Ивана Переверзина убедительно свидетельствуют о том, что перед нами — трудоголик до мозга костей, как в творчестве, так и в любых других делах. К слову сказать, сегодня не так часто встретишь поэта, способного в своей жизни на что-нибудь еще, кроме подбирания рифм. А ведь вскопать огород, поправить покосившуюся калитку, наносить воды для бани или починить протекшую крышу (не говоря уже о способности выточить на станке болт, выложить кирпичную стену или сжать комбайном рожь в поле) — это дар не меньший, чем способность к стихосложению. Не случайно же В. В. Маяковский написал в свое время: «надо чтоб поэт и в жизни был мастак». Читая книгу Ивана Переверзина, видишь, что перед тобой не просто интеллигент и интеллектуал, но и просто — мужчина, работник, человек труда. В стихотворении «Деревня, свет очей, привет!» он, будучи не в силах скрыть сохраненное в памяти чувство восторга от крестьянского труда, в высоких одических тонах восклицает:

...Прими на утренних лугах,—  
ты помнишь, как в моих руках  
коса свет-пламенем горела:  
ночь опускалась над землей,  
а я работал, как чумной,  
вершил стога свои умело.

Какая награда может быть выше и радостнее осознания того, что ты — мастер своего дела, и «твой труд вливается в труд твоей республики»? Разве что, как в стихотворении «Опять светло над отчим краем», нисходящее на тебя свыше сияние неба, осознаваемое как благословение Бога:

...А лунный свет, а свет далекий  
горящей пламенно звезды —  
как обещанье дней высоких —  
за беззаветные труды.

Счастливый человек — это человек, не утративший в себе способность любить, любить беззаветно, страстно, искренне, всем сердцем. Женщину, Родину, землю, людей, свое дело, Бога... Хотя, кто сможет разделить все это на отдельные составляющие? Любовь к отчей земле, любовь к матери, любовь к женщине, любовь к поэзии — одна переходит в другую, сливается с ней, вбирает ее в себя и становится одним большим, всепоглощающим чувством, которое, на мой взгляд, является в жизни главным, придавая ей высшее содержание и смысл:

...И ничего не нужно боле,  
чтоб об ушедшем не жалеть...  
Вот разве что в родимом поле  
в свой срок без страха умереть.

Кто может повторить вслед за Иваном Переверзиным эти слова — тот может считать себя в высшем смысле состоявшимся человеком.

# ПОДОРОЖНИК

---



**Валентин КУРБАТОВ**

Валентин КУРБАТОВ

## Наша сборная

Я же говорил, что Ясная будет ревниво теснить в «Подорожнике» другие уголки и края Отечества. Как не захватить тетрадь автографов, когда знаешь, что встретишь там дорогих людей и захочется удержать их, если не в реальности, то хоть в немногих записях, с которыми можно переключаться в часы одиночества.

Вначале смущало, что будут мелькать одни и те же имена (основной круг участников писательских встреч устоялся), а как раздумался, так и успокоился — ведь не коллекцию собираю, а говорю с друзьями, радуюсь настойчивому постоянству мысли одних и ее переменчивости и зависимости от времени, как от осеннего дня за окном, — у других.

Вот с Виктором Ивановичем Лихоносовым... Напечатал несколько его записей и уж думал: довольно! Это сердце светит ровно какой-то нежной усталой улыбкой, как погожие дни осени, когда солнце к закату и увядание не ранит, а согревает сердце. А вот увидел последнюю запись, сделанную в ушедшем году, и опять не могу не процитировать, словно запись сама просится, будто сделана и для меня, но и для других, как это всегда бывает у лучших художников, словно не сказать, значит, утаить.

Ну, может быть, и то ему было при записи важно, что тетрадь была новая. Старый альбом кончился по моему недогляду прямо в Ясной. Другого такого, чтобы самим лицом побуждать к серьезности, запастись не сумел (а уж как без записей? — привык) и выглядел в киоске у яснополянского «Прешпекта» замечательный блокнот с именем «Сад гениев» и портретами Данте, Сервантеса, Шекспира. Гете, Толстого и Джойса. Блокнот напоминал о затее Владимира Ильича Толстого собирать раз в год поэтов, переводчиков, актеров той страны, которую славили вышедшие на обложку гении, чтобы им и нам, и теряющему рассудок миру быть вместе. Улыбнулся — ну, думаю, пусть наши «гении» свое слово скажут. Конечно, коли оглядываться на такие портреты и слова не напишешь, но Виктор Иванович видел только первую чистую страницу и едва оставленное нами вчера Пирогово, и весь еще был там.

Мы ходили по усадьбе, переглядываясь и улыбаясь, потому что уже слышали «сюжеты» друг друга про Пирогова. Потом слушали гостью писательских встреч пианистку Нину Серапиан, которая играла на старом пироговском рояле Бетховена и Шуберта, Рахманинова и Баха. И рояль ликовал и, кажется, сам спешил под пальцы музыканта, торопясь радоваться, потому что такие часы еще редки. И вместе с нами слушали

поля за Упой, остатки «сиреневого леса», небеса и соседняя роща, любимый Толстым ключ под горой, воду которого мы целовали, как руку Толстого. Слушало и кострище внизу на просторном поле, которое, верно, нет-нет да и разжигают пироговцы в летние вечера, и вспоминают, как в иные годы певали у такого костра цыгане и молодая Маша, которую Сергей Львович Толстой уведет из хора и возьмет в жены.

И я почти не удивился, когда наутро после поездки прочитал запись Виктора Ивановича в оставленной ему на ночь тетради:

*«7–8 сентября 2013.*

*Если Вы, уцелевший потомок князя Довмонта (надеюсь) не цените, подобно передовым либералам, великих князей и государей, строивших Россию, не кладете в записную толстую тетрадь листочек крапивы или вяза, орешника, клена, сорванных в печальных усадьбах, то зачем мне дружески что-то писать в Ваш знаменитый, уже почти валютный «Подорожник», о чем мне с Вами мирно толковать и с какой стати по вечерам после упорно серьезных докладов в доме Волконского выпивать и закусывать?!*

*Правда, Вы немножко поправили мое мнение о Вас вчера в имени Марии Николаевны Толстой в Пирогове, когда я наблюдал, как Вы, крадучись, спускались к изгибу речки Упы, выбирая фотоаппаратом избы на взгорке из почтения к роду Толстых, кланялись заодно и всем русским помещикам Тульской губернии, помянули, небось, добрым вздохом и всю жизнь русскую, ушедшую в предания. Минуту созерцания драгоценных мощей России продлить бы в часы, дни, в месяцеслов стойкого исторического чувства. Не знаю, как ходят по толстовским (и прочим) гнездам другие, а я всегда притихаю и грущу, и не прощаю вредителей прошлого. Вот нынче впервые возили меня музейные яснополяницы в Покровское, где, сказали нам, на зиму останется терпеть всего одна старушка. Тургеневу, ездившему сюда с западной стороны из Спасского к Марии Николаевне (читайте в письме его "Фауста") и в испуганном воображении было не представить, в какой пустоте будут тенями пробираться по зарослям недолгие гости в каком-то сентябре 2013 года. Все уже сказано на эту тему, и однако каждый раз при свидании со следами разорения эта тема ранит, как свежая. Как не думать, господин псковитянин, о старой пропавшей России, когда наши газеты и всякие листки угрожают нам новой последней пропавшей?!*

*Здесь в Покровском (как и в Хитрове в имени Дельвигов поблизости) жили, гостили друг у друга, разговаривали об императорах, держали слуг, молились, после переворота жили без господ, пахали, сеяли в колхозе, проносили фамилии советских вождей, учили детишек, возили в бидонах в Чернь молоко, и вот под сияющим русским небом заросла "колея Тургенева", не слышно людских голосов и не видно женских платков, тихо, пусто и только бегают кабаны...*

*Так уж и быть — подайте мне стопочку. Со вздохом примирюсь с Вами на минуту.*

*Виктор Лихоносов  
Ясная Поляна»*

А уже через месяц Ясная готовилась встретить Олимпийский огонь. Лев Николаевич, всегда следивший за движением времени, верно, выходил встречать его первым. А нам, нескольким участникам последних писательских встреч, предстояло нести этот огонь по усадьбе. Мы съехались накануне посмотреть свои участки маршрута, примериться. И сойдясь вечером за ужином, говорили громче обыкновенного, были счастливо возбуждены, много смеялись и смехом загораживали волнение. Гении с обложки моего блокнота смотрели серьезно, как и подобает глядеть гениям из бессмертия, но нас было не унять. Ну, а поскольку первым надо было бежать Владимиру Ильичу, то он первым же и написал:

*«Надеюсь, настоящие Олимпийские боги не прогневаются на нас, недостойных, — мы слишком беспечно, беззаботно и весело относимся к предстоящей церемонии несения Частицы священного огня с горы Олимп по толстовской усадьбе. Мог ли Лев Николаевич о таком помыслить! А все-таки, мне кажется, мы глубинно правы — самые серьезные вещи нужно делать весело и с улыбкой! Да здравствуют шалости и радости жизни!*

*Ваши Толстые»*

«Толстые» — потому, что последний этап бежала жена Владимира Ильича Катя (Екатерина Александровна) — директор усадьбы — и это придавало официальной церемонии счастливый оттенок родной домашности.

А больше других волновалась, наверное, Алиса Ганиева. Несколько дней назад в Атриуме Большого театра на церемонии вручения премии «Ясная Поляна» ее поздравляли как участницу шорт-листа за роман «Праздничная гора», и пресса еще была полна обсуждений этой книги, задевавшей слишком живые и большие проблемы — кипящий Дагестан с заразной тоской по мелким суверенитетам («Свободная Кумыкия, Великая Авария, Независимый Лезгистан»), с жесткой исламизацией, привычным террором. Но в этот вечер Алиса уже была вся в завтрашнем:

*«...сейчас в теплом кругу с аквариумными рыбами, с яснополянскими сумерками за окнами накануне исторического писательского забега с олимпийскими факелами даже не верится, что вскоре эта запись и этот вечер со всеми его дорогими участниками станут прошлым и сохранятся только вот в этом интересном блокнотике с выпадающими листками. Желаю заполнить разными ценными и не очень словами еще много-много записных*

*книжек, а потом перечитывать и вспоминать иногда и тех, кто внес сюда свою лепту в октябрьский предэстафетный день 2013 года*

*Алиса Ганиева*

*13.10.2013»*

Внес эту «лепту» и Алексей Николаевич Варламов, оставивший на день свое университетское профессорство, редакторство в «Литературной учебе» и рабочий писательский стол, чтобы вспомнить, как месяц назад мы кипели другими заботами:

*«Как славно снова встретиться нам в Ясной, на сей раз не в сентябре на дне рождения Льва Николаевича, а в октябре в канун Покрова.*

*Понесем мы с вами завтра факел Олимпиады, вот ведь какие пируэты случаются в жизни потомков православных. Возжженный в языческом храме в Элладе побежит сей огонь по нашей благословенной земле. Что он нам? Что мы ему? Я все думал, думал об этом и вот что придумал. Столько мы тут с вами проговорили, проспорили о самом разном — о России, о Толстом, о церкви — и вот засиделись. Кровь в нас застоялась — и побежим завтра, чтобы кровь разогнать по жилам, члены размять, мозги проветрить и снова... Что и сидеть толковать? Нет, пробежамши, отдышавшись, другими мы станем чуть. Вот и славно.*

*Алексей Варламов.*

*13/10/13»*



## ПОДОРОЖНИК

---

А вечером и к ночи приехали другие участники эстафеты В. Отрошенко и Е. Водолазкин, и уже было не до записей. Мы были все там, в завтра — в беге, чуде солнечного дня, общем счастье и одинаковой молодости, отменявшей разность лет.

Олимпийская яснополянская сборная выходила на старт..

*Псков*



# ХРОНОГРАФ

---



**Валентин РАСПУТИН**



**Анатолий ПАНТЕЛЕЕВ**

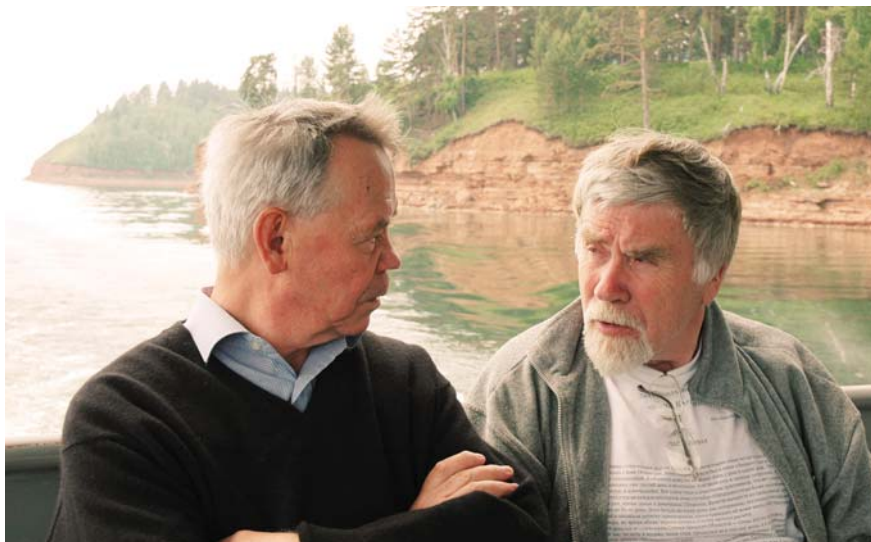
Валентин РАСПУТИН

## И СНОВА ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ...

Эта поездка была тяжелой. Ее и нельзя было ожидать ни приятной, ни благополучной, если бы даже она закончилась удачно. Мы знали куда едем, знали отчасти и то, что нам предстояло увидеть и услышать. От Иркутска до Братска, а затем от Братска до Усть-Илимска мы прошли тем самым путем, по которому десятки лет назад была изнурена Ангара. Теперь предстояло ее дальнейшее изнурение от Усть-Илимска до Богучан. После чего последуют, судя по всему, до Енисея еще две гидростанции. И все — и нет Ангары. Вся ушла на электричество.

С этим чувством мы после Богучан и разъехались: кто в Красноярск, кто в Иркутск, а кто и в Москву. И только разъехались — через два дня в Иркутске скончался Геннадий Сапронов, задумавший и организовавший эту поездку от начала и до конца. К чему угодно мы были готовы, но только не к такому финалу. И то, что свои воспоминания мы с Валентином Курбатовым предлагаем только теперь, спустя годы, говорит о нашей растерянности. Но «Река жизни», фильм об этой поездке Сергея Мирошниченко и его группы, появился без задержки и обошел чуть ли не весь мир.

Ах, Ангара, Ангара — река-красавица, река-кормилица от Байкала до Енисея, а это около двух тысяч километров! В юности я застал ее само-



родной, чистой, красивой, богатой — рекой-кормилицей и поилицей ангарского народа. Вся в островах, как в детях воды и тайги, она как бы сознательно устраивала их для человека и животных, чтобы легче было перебираться на левый берег, где деревенек насчитывалось ничуть не меньше, чем на правом. А на островах и покосы, и богатые ягодники, и какое-то невольное возвышение духа. Почему-то считалось, что на острове сколько ни работай, усталости не бывает, там обдувало тебя со всех сторон и во все стороны виделась ангарская красота. Конечно, их не сравнить было с могучими, на километры и километры, островами, которые затопляются теперь в Богучанах и на которых издавна любили селиться люди. И вот удивительно: на моей родине, на Ангаре, затопленной Братской гидроэлектростанцией, она, Ангара, все больше и больше теряет свое имя, как бы отказываясь от него после всего, во что ее превратили. Да и некому будет скоро его и вспоминать, с затоплением реки на моей «малой» родине (это Усть-Удинский район) от многих и многих бывлых поселений осталось пять-шесть, да и те дышат на ладан: в каждом из них брошенных изб становится все больше и больше.

Встанешь перед теперешней Ангарой и понять не можешь: то ли вниз, как положено, опускается течь, то ли поднимается вверх. Моя первая работа еще молодого автора о новой, доставшейся нам от выстроенной Братской ГЭС, Ангаре, так и называется: «Вниз и вверх по течению». Но во второй работе, в «Прощании с Матерой», уже сомнений не осталось: прощай, Ангара. Более полувека миновало с той поры, как от Иркутска до Братска запрудили ее, и из этого полувека только последние пятнадцать-двадцать лет река, уже и забывшая, что она река, с великим трудом пробует очищаться от брошенных, где стояли, и затопленных лесов. Мои аталанские земляки, которые до перестройки обходились без моторных лодок, могли потом хвалиться друг перед другом, будто они наизусть знают, где еще лесины лежат под водой и где они, не всплывая наверх, караулят нашего брата. И караулят удачно. В каждой из немногих оставшихся деревенок этому свой немалый счет. Но и история справилась с этим злом по-своему: после перестройки в ангарских неказистых деревеньках моторные лодки остались раз-два и обчелся.

Не стану делать вид, будто с самого начала, как загрохотали по Ангаре и Енисею великие стройки коммунизма, я сомневался в их горячечной необходимости. Нисколько не сомневался. И в Иркутске, а затем и в Красноярске я работал в молодежных газетах и отдал, что называется, дань их прославлению. Это было время дотеле не виданного воодушевления: на наши сибирские стройки рвались целыми классами только закончивших школу и целыми отрядами только что отслуживших армию.

И, как мой герой в повести «Прощание с Матерой», внук старухи Дарьи, которого Дарья с недоумением спрашивает, чего ради он вместе с тысячами и тысячами других рвется в Братск и зачем потребовалось затоплять Матеру, — мог бы и я внушать безграмотной деревенской стару-

хе: на электричество пойдет наша Матера, на электричество, тоже будет пользу людям приносить. И мог бы услышать от своей бабушки слова Дарьи: «А то она во вред тут, христовенькая, стояла».

Так и просится повторить их, эти слова, для всех ангарских гидро-станций, запущенных и еще готовящихся к запуску: «А то она во вред тут, христовенькая, стояла неведомые тысячи лет».

Да и рыба теперь — одно только название, что рыба: не выжили в бестечьи ни хариус, ни ленок, о таймене вспоминают только старики. На Ангаре — и без рыбы. Побывав в последний раз в своей Аталанке, я встретил небывалое — бывшие мои земляки, зная, что больше всего здесь ценится, везут в подарок ее, рыбу, в том числе тоже с Ангары, но с северной, еще не затопленной, только что готовящейся к затоплению, которую ждет то же самое, что и здесь. Пройдет еще несколько лет — и зачахнет рыбная Ангара от Усть-Илимска до Богучан. А затем и далее. Ни китайцам, ни европейцам, которые пользуются и станут пользоваться дешевым ангарским электричеством, до этого нет, конечно, никакого дела, да ведь получается, что до этого нет никакого дела и нам тоже.

\* \* \*

Братск есть Братск. Конечно, и тут в недавнюю «непогоду», когда ельцинская страна обнищала не меньше, чем за Отечественную войну, — конечно, и тут живется несладко, и могучая Братская гидростанция работает отнюдь не на полную мощность. Но недавний мой знакомый, директор ГЭС, Виктор Васильевич Рудых, держится уверенно и не со-



мневается, что Братск вот-вот выйдет на свою рабочую мощь. Но в этот день у него необычные посетители — и Геннадий Сапронов, и Валентин Курбатов уверяют, что более полувека работы гидростанции, и не только Братской, показало не одни лишь блага, но кое-что и другое. Виктор Васильевич даже и не спрашивает, что это — кое-что другое, он говорит, что понимает нас, но согласиться с нами не может. Не будь Братска, не будь Усть-Илимска, а теперь и Богучанской гидростанции — разве бы нам удалось обходиться без них? Он уверен, что нет, не удалось бы. И что хорошо нам тосковать о бедности, находясь в сытости.

Перед тем как нашему путешествию из относительно благополучного Братска переместиться в Усть-Илимск и далее, не надо ли вспомнить, что в шестидесятых и семидесятых годах уже миновавшего столетия была серьезная попытка изменить ход существующих мировых вещей. Римский клуб, общественная организация, в которую удалось собрать авторитетных научных деятелей едва ли не всего мира, доказывал, что неутаимое шило в мешке неведения утаить не удалось. И что если не придержать мировую экономику до простого воспроизводства, Землю в недалеком будущем придется закрывать, ибо сырьевые запасы ее будут исчерпаны. Разумеется, на эти выводы тут же последовали опровержения, в том числе и из России. Аурелио Печчеи, президент Римского клуба, писал об этой реакции: «Хорошо, что еретиков у нас не сжигают на кострах. Верные почитатели «беспредельного» роста подвергали осмеянию и метафорически вешали, топили и четверговали всех тех, кто участвовал в развенчивании мифа о росте...»

И они добились своего: Римский клуб приказал долго жить.

Затем мне удалось прочесть все, что было у нас на русском языке шведского ученого и писателя Рольфа Эдберга, в том числе и диалог его с нашим ученым Алексеем Яблоковым под названием «Трудный путь к воскресению», диалог, больше похожий на монолог на два голоса, сравнимый с тем, как если бы они выбирались из тяжелого завала и, передавая друг другу кирку, искали выход к воздуху и свету, понимая, что от их усилий зависит судьба многих.

Рольфа Эдберга теперь уже нет, но я успел в прежние, можно сказать, литературные времена прочесть и книги его «Письма Колумбу» и «Дух долины», выпущенные издательством «Прогресс», и совместную с нашим ученым Алексеем Яблоковым книгу «Трудный путь к воскресению». А затем мне удалось встретиться с Рольфом Эдбергом в его родном городе Карлстаде в Швеции и вволюшку с ним поговорить, после чего написать предисловие к его книге «Капли воды — капли времени». И мне не кажется лишним кое-что процитировать у Рольфа Эдберга в этом воспоминании о нем.

«Как капля соединяется с каплей, а песчинка с песчинкой, образуя моря и горы, — пишет он, — скопилось в свое время и распространилось наше безучастие и равнодушие. «На наш век хватит» — эта жвачная фи-

лософия возникла не сегодня, а на подкрепление к ней явилось убеждение, что вожаки, ведающие истину, знают, куда ведут, и до дурного не доведут. И вот дошли, что на нашу жизнь уже не хватает».

«Наша слабость, — продолжает Эдберг, — заключалась в том, что мы дали увлечь себя к неизвестному месту назначения, когда слишком многое предупреждало о грозящей аварии. Что мы не подняли бунт и не заставили стоящих на мостике избрать более осмотрительный курс. Засомневавшись, мы должны были действовать последовательно, не ограничиваясь глухим ворчанием».

А теперь уже, кажется, и Рольфы Эдберги исчезли — будь что будет.

Наша страна одна из самых богатых — да нет, самая богатая водными ресурсами. Только Байкал — пятая часть поверхностной пресной воды на планете. И это до последних лет была вода высшей пробы, как никакая другая насыщенная кислородом. И во что она превращается от начала и почти до конца Ангары? Тяжело это видеть, но еще тяжелей представлять ее будущее. Даже и близкое, не говоря уж о дальнем.

\* \* \*

Третья гидростанция на Ангаре после Иркутской и Братской — Усть-Илимская. Вспоминаю, что в ту пору, когда она строилась, я любил бывать в Усть-Илимске. После суетного, шумного и разбросанного на многие километры Братска, гремевшего за время его строительства на весь мир, Усть-Илимск и при строительстве его был спокойнее, а уж в ту пору, когда наша группа не миновала его на пути в Богучаны — тем более. Пожалуй, мы застали тогда даже и не спокойствие, а растерянность, как почти и во всей стране после ельцинского правления. Внешне Усть-Илимск, казалось бы, изменился мало. Незадолго до того там выстроили храм Всех святых в земле Российской просиявших, и мы долго-долго любовались им, а затем батюшка Александр пригласил нас подняться наверх, откуда город смотрелся как бы еще краше.

Может, и краше... Но в ту пору город переживал тяжелые времена, которые едва ли полностью преодолены и теперь. Усть-Илимску не повезло еще и потому, что, выстроенный при одной власти, он оказался при другой как бы не на месте. Все, что за последние десятилетия предполагалось строить на Богучанской ГЭС, прежде всего отзывалось здесь, в конечной точке этой гидростанции. Первоначальная высота плотины, еще при прежней власти, называлась в 208 м. Но в 2003 году, когда после долгого перерыва вернулись к этому строительству, появилась новая цифра — 185 м. Надо полагать, не от бедности (на подобных стройках с бедностью не считаются), а от расчетливости — как говорится, от греха подальше. Однако в 2006 году, с приездом на стройку Дерипаски, вновь появилась высота затопления 208 м. Это значило, что под воду пойдут и новые земли, и новые поселения. А также часть Усть-Илимска, не вошедшая в зону своей гидростанции. Жителям этой части новое пересе-

ление, разумеется, не могло понравиться. Решено было добиваться отметки в 185 м. Под этой цифрой «185» стал действовать общественный комитет, который возглавил хорошо известный в городе депутат местной Думы Олег Владимирович Кочановский.

Немало у него за эти тоже немалые годы, когда окончательно решалось, чему быть и к чему готовиться, — немало у него было соратников и в своем городе, и в Братске, и в Иркутске, и в Красноярске, и даже в Москве. Он был неутомим и свою правду вместе со своими соратниками пытался внушать всюду, где ему приходилось бывать. В том числе и на Саяно-Шушенской ГЭС, высота которой даже и не 208, а 245 м. А мощность в полтора раза больше Усть-Илимской. Там, на знаменитой Саяно-Шушенской, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса как самое прочное сооружение этого типа, не могли понять, чего ради кому-то надо держаться за детские 185 м, когда есть столь могучие примеры, как у них.

Но прошло совсем немного времени, и мир ахнул от страшной катастрофы на Саяно-Шушенской с немалыми жертвами.

Нет, не принимается, должно быть, Господом наше вмешательство в его великие и величавые деяния, которые приготовил он для человека, прежде чем создать его. И как можно принять Ему, Господу, сотворенное с Енисеем, Ангарой, Волгой и десятками и сотнями других рек, больших и малых, только в ней, матушке России! И разве может Господь мириться с тем, что пошел человек не только против своего Создателя, но и против себя самого, уничтожая то, без чего он не может обойтись!

\* \* \*

А какая после Усть-Илимска здесь красавица Ангара! С той, что осталась на моей родине, с той, что едва вытягивается из Братска, и сравнивать не приходится. Говорливая, живая, должно быть, не ведающая, что ей предстоит... А если и реки как-то визнают свою судьбу — так неожиданная и долгая отсрочка, которая выпала на долю Богучанской ГЭС, могла и Ангаре внушить, что так навсегда теперь и останется.

И совсем скоро пошли по правую руку острова. С теми, что когда-то были на моей Ангаре, не сравнить. Прямо-таки могучие, давно обжитые человеком и зверем, на километры и километры. Не верится, глядя на их могущество, что они могут быть затоплены, как говорится, с крышкой. Я не выдерживаю и спрашиваю об этом у Николая Ивановича Дроздова, ректора Красноярского Педуниверситета, который с нами уже с Братска, — спрашиваю, неужели и эту могучую красоту затопят? «А куда деться!» — отвечает он. И добавляет: «Некуда деться. Затопят».

И долго потом, глядя на то, что нам доводилось видеть, я повторял про себя: «Куда деться? Некуда деться».

Да, Ангара здесь хоть и та же самая, но с иркутской не сравнить. А ведь до Енисея еще не просто далековато, а действительно далеко.

И обжиты эти места были больше и лучше, чем на нашей Ангаре. Вот только участь их теперь одна и та же. А если вслед за Богучанской будут выстроены до Енисея еще две гидростанции, на которые уже нацелились не любящие себя показывать «спасители отечества», на Ангаре окончательно можно будет поставить крест.

А поселения здесь давние. Люди, должно быть, еще в глубокой древности отыскивали эти места, о чем свидетельствуют раскопки и Николая Дроздова, и иркутянина, моего однокурсника по университету, Германа Медведева. А сколько же всего осталось в этой земле ненайденного и необработанного! Николай Иванович (Дроздов), когда мы заводим об этом разговор, потерянно машет рукой: «Что об этом говорить! Ничего не успели!» Да и давнее заселение этих мест русскими доказывает, что было чем приманивать здесь человека, несмотря на суровый климат.

С этим ощущением потерянности и какого-то трагического опоздания и невольной вины перед происходящим, а еще больше готовящимся, и продолжаем мы свое продвижение к Богучанам. При этом останавливаемся почти всюду, где еще остаются люди, не торопящиеся покидать свою землю. Валентин Курбатов, как самый общительный и неунывный среди нас, первым шел наводить с ними «мосты». Мы ждали от него сигнала, который следовал уже через пять-семь минут. Отзывчивей всего были старушки, они в этих местах очень горазды и поговорить, и попеть. Песни здесь любят и поговорить умеют, словно этого требует сама земля, даже и обреченная теперь в скором времени на гибель. Воистину песенный край. Через два месяца после нашей поездки группа Сергея Мирошниченко вновь вернулась сюда, чтобы записать последнее прощание с Кежмой, одним из самых обжитых и богатых поселков, ее сыновей и дочерей. Их было много. Мне показалось, когда я смотрел эту встречу в записи, что очень мною. Они, кежемцы, уже и разъехались к этому времени кто куда, но проводить в небытие свою родину собрались, казалось, все.

И тоже песни, хотя и невеселые. И пляски, от которых мороз по коже: «Заливайте, заливайте нас, товарищ Дерипаска! Это родина наша, это наша жизнь. Мы уходим, оставляя тебя одну под толщей воды. Мы уходим!» — И вдруг многоголосие, и совсем невеселое: «Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю».

Там же, в Кежме, до последнего держался, отказываясь от предложенного ему переселения, Александр Келлер; «Здесь меня мать-земля кормила, а кто меня там будет кормить?» — недоумевал он. Но у него, и верно, особая судьба. Он с Волги, там в свое время его земля ушла под воду, и он перебрался в Сибирь. Теперь и здесь топят. И кажется ему, что нет нигде больше спасения от этой гидрочумы. Ни Келлеру, ни многим и многим другим.

\* \* \*



В Богучанах нас встретили неласково. Только за километровое расстояние нам едва виделось сооружение плотины; вспоминаю, что ни в Братске, ни в Усть-Илимске, ни на Енисейской гидростанции ничего похожего в свое время не было и в помине. Тогда отнюдь не прятались от желающих — а их было много, очень много — посмотреть на эту казавшуюся великим таинством работу. И не только посмотреть, а затем и самим усвоить ее.

Едва успели мы устроиться в Богучанах, как меня вызвали к телефону. Звонили из Москвы и интересовались, что мы делаем в Богучанах. Прежде таких вопросов не могло существовать; я в ответ спросил, нельзя мне устроить встречу с Владимиром Владимировичем Путиным. Она была мне милостиво обещана, а позднее и состоялась. Хотя и не могла дать тех результатов, на которые я «по неопытности» рассчитывал.

В Богучанах мы не задержались: и потому что оказались там чужаками, и потому что заканчивались уже сроки нашего путешествия. До Красноярска отсюда было намного ближе, чем возвращаться в Иркутск. В Красноярске мы побывали на могиле Виктора Астафьева и после этого почему-то как никогда много говорили об усопших. Вспоминаю до сих пор и не могу понять, чем были вызваны слова Геннадия Сапронова, которые он, казалось бы, ни с чего произнес:

«Что такое смерть? Не знаю. Ее нет, наверное. Если я правильно жил, ее нет. Я же не уйду. Меня не будет, но я не уйду. Я хочу так жить, чтобы я не ушел».

Не всем это удается. Но Геннадию Сапронову удалось вполне.

Анатолий ПАНТЕЛЕЕВ

## На родине Валентина Распутина. 2013 год

**В** нынешнем году я вновь предпринял путешествие на восток. Транссибирская магистраль увлекла в очередной отпуск, и за три недели, отпущенные мною на поездку, я собрался освоить три маршрута: посетить родственников в Челябинске, провести неделю на Байкале и проехать по Ангаре на родину Валентина Григорьевича.

Планы мои на этот раз пришлось скорректировать, поскольку к родственникам собирался я заехать на обратном пути, как всегда и делал, чтобы «отчитаться» о проведенных на Байкале днях. Но на этот раз пришлось перестроиться в связи с отодвинутой по дням поездкой по Ангаре. Случилось так, что где-то в мае месяце в разговоре с Валентином Григорьевичем Распутиным, я случайно обмолвился, что в июле буду на Байкале, на родине моей матери — была необходимость поправить могилу деда, которая за давностью потребовала срочного ухода. А Валентин Григорьевич поделился, что сам собирается с небольшой группой друзей проехать по Ангаре к себе на родину в Усть-Уду, затем в Аталанку и добраться до Братска, тоже навестить там могилу своей мамы, и предложил мне присоединиться к своей поездке. Конечно, я с радостью согласился, но, поскольку они собирались плыть в самом конце июля, то у меня уже не осталось бы времени на Челябинск, и пришлось сначала ехать к родным.

Неделя в Челябинске пролетела незаметно, несмотря на то, что не очень радовала погода — частые дожди и не жарко. В Иркутске меня вновь, как и в прошлом году, встречал мой замечательный товарищ, верный друг всех писателей России Константин Житов.

В этот раз он поразил меня с новой стороны — открыл свой неисчерпаемый талант в организации общедомового хозяйства — объединил жильцов (не без исключения, конечно) своего многоквартирного дома и в момент решил вопрос с ремонтом и приведением в порядок всех лестничных клеток. Ну, просто



Иркутский журналист Константин Житов

молодец! Неисчерпаемой энергии и душевной теплоты человек, готовый всегда протянуть руку, поддержать, помочь.

На следующее утро с ним и уже с Валентином Григорьевичем проехали на гражданское кладбище, поклонились сразу трем дорогим могилам — его дочери Марии, Светланы Ивановны Распутиной и Геннадия Сапронова, одного из лучших издателей книг Валентина Распутина о Сибири. День выдался замечательный, теплый, ясный, и через час мы уже подъезжали к даче Распутиных на 27-м километре от Иркутска, на Ангаре. Был день 23 июля — день рождения Светланы Ивановны (Царствие ей Небесное), потому на даче собрались и родственники — сын Сережа с женой и детьми, Евгения Ивановна, родная сестра Светланы и жена замечательного иркутского поэта Владимира Скифа.

За накрытым столом с блинами и киселем текли свои разговоры, и только шаловливые белки сверху вниз резвились по соснам, норовя выхватить прямо из рук протянутые кем-либо кедровые орешки. Мы скоро попрощались и договорились с Валентином Григорьевичем встретиться в Иркутске 1 августа, уже непосредственно перед поездкой по Ангаре.

Уже к обеду Костя со своим сыном Дмитрием, сидевшим за рулем машины, подвезли меня на берег Байкала, в Листвянку, к моим знакомым, старожилам Байкала — семье Серявиных. Здесь я и собирался провести неделю с небольшим, чтобы привести в порядок ограду и памятник на могиле моего деда по линии мамы — Фабриканова Константина Николаевича (1894–1951) и его жены — Екатерины Степановны.

Семья Серявиных — Александра и Анны — многочисленна. Сын и одна дочь со своими уже семьями живут в Иркутске, вторая дочь с семьей — рядышком, недалеко от Листвянки. Внуки и внучки все лето пасутся, конечно, у деда с бабушкой, которые, слава Богу, еще и в силе и в радости. Вот и для меня сказалось приятное жильё — недостроенная банька, светлая, просторная, пахнувшая свежим деревом. Благодать! С зачисткой и окраской памятника нужно было торопиться, Байкал-батюшка — старик суровый и, несмотря на лето, частенько кажет и крутой нрав свой — следующий после солнечного, день, а то и два-три, могут простоять в сером мареве моросящего дождя, с прохладой и холодным ветром, а потому приходилось все время быть на страже и в любой час солнечных проблесков спешить на крутой склон сельского кладбища, — и металлу



Могила моего деда — Фабриканова К. Н. — и его жены. Байкал. Берег Листвянки

дать возможность прогреться, и краске просохнуть. В этот раз Байкал был расположен ко мне и позволил вовремя придать памятнику своего матроса (дед мой служил и на «Варяге», и потом в порту Байкал) надлежющий вид — блестящий белый цвет, новую гравировку на нержавеющей, выполненную еще в Ленинграде, и яркую красную звезду, венчающую металлическую пирамиду.



На даче у Валентина Распутина: в центре — Сергей Распутин с женой и детьми, слева — Евгения Скиф с внуком, справа — К. Житов

В перерывах между работой я пользовался случаем и старался повидать все наиболее интересные близлежащие места. Ранним утром одного из дней, поднявшись в шесть часов, я предпринял длительный поход к одной из наиболее высоких смотровых площадок над Байкалом — пику Черского, названного так в честь знаменитого ученого-исследователя. В 10 утра начинала работать канатная дорога для туристов, но мне хотелось до них полюбоваться видом сверху. Часа полтора-два потребовалось, чтобы извилистой насыпной дорогой добрести до Пика. Там меня уже ждали — маленький шустрый бурундучок стоял на краю площадки на задних лапах и требовательно просил предъявить пропускной паек, который каждый обязан был выложить хозяину для получения разрешения на обзор. Увы, я оказался не из тех, и бурундучку пришлось довольствоваться стрекотом моей видеокамеры, для которой он, однако, не пожелал тратить свое драгоценное время. Да, отсюда действительно можно было часами наблюдать за неописуемой панорамой Байкала. Внизу виднелся краешек Листвянки, от которой в воздушной утренней

поволоке открывался Он, вернее — только небольшая часть, как раз в том месте, откуда в давние-давние времена его непокорная, непослушная дочь Ангара бросилась бежать к своему возлюбленному Енисею, навсегда заслужив гневное осуждение отца и получив свадебное наследство — брошенный вослед сколок могучей горы, камень, который и сейчас возвышается в истоке Ангары и зовется Шаман-камнем. Было только 8 часов утра.



Зрелище открывалось удивительное! — со стороны Ангары низом, по реке, против течения тянулся длинный белый шлейф утреннего тумана. Он шевелился, тянулся в море и остро-очерченные края придавали ему вид хвоста огромного ящера, бегущего за Ангарой и оставляющего свой хвост в холоде вод священного озера. Каждые пятнадцать-двадцать минут он истончался, таял и наконец совсем исчез с рассветом светового дня. Кругом не было ни души. Прохлада отступала и теплый воздух, кувыряясь, стал тоже подбираться к моей обзорной площадке. Я не стал дожидаться туристов и начал спускаться обратной дорогой. В 10 утра заработал фуникулер и вот уже десяток туристов устремились туда, где озябший и голодный, стоя вопросительным знаком, их с нетерпением ждал на задних лапках маленький полосатый бурундучок. Дорога спускалась прямо к памятнику Александру Вампилову, стоящему на повороте дороги в истоке Ангары. Здесь, в 1971 году, в десятке метров от берега Саша утонул, не сумев добраться до берега с перевернувшейся лодки. На белой мраморной стеле — портрет и автограф драматурга. Ему не было еще и тридцати пяти...

На следующий день я предпринял другое путешествие — в порт Байкал, куда меня пригласил поэт Владимир Скиф. На пароме перебрался

на другой берег Ангары, меня встретили на машине, довезли до жилья. Небольшая избушка с видимыми крупными бревнами служила некогда доброй феей Валентину Распутину.

Здесь, на берегу Байкала, им были написаны многие прекрасные его повести и рассказы — «Последний срок», «Что передать вороне» и другие. Владимир Скиф, сидя под рябиной, рассказывал о своих ощущениях, чувствах, которые испытывает он в этих намоленных местах, даже не смотря на то, что домик этот горел



в восьмидесятых годах, по воле случая или злему умыслу — бог весть. И хотя Валентин Григорьевич освоился в настоящее время в другом месте, более тихом и спокойном, конечно, для всей русской литературы это место уже свято и сегодня.

Какое-то время спустя Владимир Петрович и Евгения предложили мне посетить еще один интересный уголок порта Байкал. Ни на что особенное я, в общем, не рассчитывал, но приглашение принял с радостью. То, где я оказался через пятнадцать минут, повергло меня в кратковременный шок и оцепенение. Много я повидал, но чтобы увидеть, что вот так запросто один человек смог собрать, выстроить, отделать, укомплектовать, выложить, обустроить на уступе поднимающейся горе ТАКОЕ?! И под открытым небом, и в просторных сараях, и комнатах



Фенин Анатолий Иванович  
и поэт Владимир Скиф

его молодая жена Татьяна. И просторная сауна, баня, парилка с бассейном, горячая и холодная вода везде, комнаты для гостей с кроватями под сани и телеги, голубятня, тарантасы, патефоны, гармони... но и самый, наверное, писк — прямо в доме выложенный в камне, со ступенчатым спуском — чистейший родниковый ключ. Казалось, что здесь работают по двадцать четыре часа в сутки.

можно было увидеть практически все рукотворное хозяйство русского быта: от конной коляски и саней до стремян, подков и ключей разных мастей. Среди десятков разнообразных утюгов и самоваров, подстаканников и замков не было двух одинаковых. Под стать этому веселому хороводу вещей был и сам хозяин — Анатолий Иванович Фенин, мужчина лет 40–45 от роду, и

Сам Анатолий Иванович — балагур и весельчак, непревзойденный рассказчик, говорит обо всем с шутками-прибаутками. Кладет печи, камины, полы разноцветных тонов — и все это радостно, с улыбкой и песнями. Супружескую пару знают в Иркутске, в управлении культуры, к ним присылают людей на экскурсии, в Интернете выложен о них сайт. Обо всем об этом мы разговаривали до вечера, сидя у Анатолия Ивановича в трапезной за огромным полукруглым столом, закусывая горячительное омулем Байкала.

Так прошла моя с небольшим неделей в поселке Листвянка на Байкале. Слава Богу, успел я с памятником: и погода поспособствовала, да и сам не засиделся в гостях. А потому 1 августа в 9:00, как было намечено, мы с Костей Житовым уже стояли у подъезда дома Валентина Григорьевича, ожидая наш транспорт и своих попутчиков: их оказалось несколько — москвичка Ольга Владимировна, Сергей Балоян, иркутский художник, Сергей Геннадьевич Ступин, зам. председателя комитета по культуре Иркутска, отец Алексей из Иркутска с супругой и сыном. Подошли два наших микроавтобуса, и по хорошей погоде часа через четыре мы были уже у парома через Ангару. На другом берегу, в получасе езды от берега, перед нами предстал поселок Усть-Уда, родина Валентина Распутина.



Усть-Уда. Встреча на родной земле

Встречали так, как встречают самых дорогих гостей, а уж Валентин Григорьевич там так и вовсе свой, — хлеб-соль, с песнями, женщины в национальных нарядах, голубых платьях с кокошниками. Конечно, и представители власти — все свои: Владимир Михайлович Денисов, мэр

Усть-Удинского района, его помощники. Надо сказать, что Валентин Григорьевич сюда приезжает практически каждый год. И здесь, и дальше в Аталанке, где он провел свое детство, многое поднято, возвращено к жизни при его непосредственном участии — и церковь, и школа, и библиотека. Потому и благодарность к нему здесь особая, родственная, своя. Привозя с собой частенько своих друзей из числа писателей, художников, музыкантов, он дарует сельчанам и радость незабываемых встреч с ними. Владимир Крупин, Станислав Куняев, Валентин Курбатов — всех сейчас и не вспомнить за много лет. По приезде в Усть-Уду все непременно отправляются сначала в Богоявленский храм — яркий, красочный, ухоженный, в прекрасном окружении яблонь и вишен. Настоятель храма отец Владимир встречает нас еще у ограды, и мы проходим на службу. Теплая солнечная погода тоже вносит свой посильный вклад — вселяет в наши души умиротворение и покой, и кажется, что весь мир сейчас так же благоденствен, чист и безмятежен. После недолгой службы мы



все — и гости, и сельчане — растягиваемся в один устремляющийся к берегу ручей. Всех приглашают на пристань Ангары, и только здесь до меня доходит слух, что сейчас предстоит знакомство с каким-то кораблем с названием «Распутин». Бегу впереди всех, включая видеокамеру, чтобы

запечатлеть этот торжественный момент. На пристани местные ребята уже облепили все удобные для осмотра места, но нас, гостей, проводят прямо на палубу небольшого, яркого, со вздернутым носиком буксира, на котором действительно большими черными буквами на носу читается — «Распутин».

Улыбки не покидают всех присутствующих, а двое мужчин, представителей судоверфи города Ангарска, рассказывают историю рождения этого «трудовика», которому предстоит нести свою нелегкую вахту в составе речной ангарской флотилии. Валентина Григорьевича просят расписаться в судовом журнале, в паспорте





«новорожденного», подписать несколько дарственных книг и обязательно ударить в рынду, оповещая тем самым, что новый работник вступает в должность и приступает к своим обязанностям. Валентина Григорьевича знакомят с капитаном — Рыжковичем Андреем Викторовичем, скромным молодым человеком с приятной стеснительной улыбкой.

После поздравлений, под звуки гармошки, прямо на палубе нашего корабля все окружающие с охотой подхватывают — «Наверх вы, товарищи, все по местам!» И незабываемый Гимн русских моряков далеко разливается по обе стороны широченной Ангары... Гостей просят к столу — накрыт обед в просторной трапезной Богоявленского храма. Женщины прихода, казалось, проявили все возможные и невозможные чудеса кулинарии — так вкусно и с таким изыском были приготовлены многочисленные салаты и прочие яства. Изольда Александровна Алымова, староста прихода, ни разу не присела (впрочем как и остальные женщины), все время оберегая наше безмятежное за столом существование. Мы не остались в долгу и долго еще здесь же пели с хозяевами под гармошку наши замечательные застольные песни. Поселили нас на одну ночь в небольшой чистенькой деревянной гостинице, мы с Валентином Григорьевичем оказались в одном номере, и через полчаса, попив чая, прошли с ним к реке. На широком песчаном берегу кучками там и тут сидела молодежь. Где-то горели небольшие костерки, слышался только шум голосов и изредка девичий смех. Ангара уже готовилась ко сну — начинал стелиться легкий туман, ветерок еле чувствовался, становилось прохладнее. И опять я как-бы незаметно шелкал фотоаппаратом, стараясь не очень досаждать присевшему на ствол дерева писателю. Мы еще немного прошли вдоль берега и свернули к гостинице.



Как и было оговорено заранее, поднялись мы рано, в пять утра. Кто встал еще раньше — успел разогреть чайник. Но в 5:30 все были уже на пристани, на небольшом речном катере. Утро было прохладное, и все прошли сначала в тесную кают-компанию со скамейками с двух сторон и большим столом. Наша неугомонная улыбчивая хозяйка Изольда Александровна уже устраивала импровизированный завтрак из ватрушек, пампушек, бутербродов, чая и кофе. Народ наш сразу приободрился и повеселел, но завтракали не все — кто-то готовился к утренней службе и причастию, исключаящему, как принято, утреннюю еду. Времени было предостаточно — вниз по Ангаре наш путь лежал в Аталанку, и путь был не ближний — почти пять часов хода. И, казалось, что более тягостного путешествия, чем плыть по широкой реке с безлюдными берегами, трудно придумать. Поначалу так оно и было — кто спал в каюте, кто кучковался на нижней палубе в тихих разговорах, потому как еще не светало и все вокруг выглядело однообразным и унылым.

Спать мне не хотелось, разговаривать при постоянном шуме мотора не имело смысла, и я уединился на верхнем мостике. Окружающая тишина реки и берегов, отсутствие каких-либо лодок, катеров везде, куда устремлялся взгляд, — все это выглядело для городского жителя, по меньшей мере, странно. Мешали еще низко нависшие тучи, хотя выглядели они безобидно, не предвещая даже мороси. Но вот привыкший было к сумраку взгляд вдруг различил какой-то скачок во времени, и пространство качнулось к свету, чуть резче очертились прибрежные берега, и по верхушкам плотных слоев сосен пробежала грань, сразу разделившая верх и низ. Я стал приглядываться пристальней и уже различал отдельные деревья, кучки деревьев на склонах, но все это было еще в серо-белых тонах, и казалось, что цвет здесь никогда не покажется. Прошло еще немного времени. На палубах никто не появлялся и катер наш тужился один, казалось, никем не управляемый, по самой стремнине реки. Серые тучи стали понемногу расклевываться, таять, и через какие-то полчаса кто-то невидимый начал кисточкой раскрашивать проплывающие мимо берега, появились зеленоватые оттенки, коричневатые размытые пятна между ними, зеленоватым отблеском заиграла вода. Ветер еще не просыпался, и изумительная в своей нежности гладь ее уже рисовала на себе все, что видела.

Я смотрел вперед и никак не мог понять — куда мы плывем. Дело в том, что довольно частые повороты реки скрывают ее даль, и кажется, что это не река вовсе, а огромное озеро, затерявшееся в лесном покрывале. Через какое-то время я вновь включил камеру и заметил, что и она стала ярче и сочнее передавать краски того, что наблюдала. На нижней палубе появились первые обозреватели. О чем-то беседовали, опершись на серые поручни, Валентин Григорьевич с Изольдой Александровной (вдруг вспомнил с улыбкой, как Костя назвал ее «Женщиной изо льда». Все правильно — Изольда!) А главное, что фон

реки, на котором она смотрелась, действительно напоминал прозрачный байкальский лед. И вот уже оба Сергея с Ольгой Владимировной присели на скамейку на корме. Я взглянул на небо и... увидел солнце! Да, это было оно! Солнце просматривалось сквозь серую белизну туч и готовилось вырваться из туманного плена. Берега вокруг насыщались красками. Уже нельзя было назвать какой-то определенный цвет, все преображалось на глазах, как будто бы просыпалось, прихорашивалось и ждало солнечных лучей. Я сбежал вниз, к стоящим на палубе. На лицо Распутина уже упали первые яркие лучи, и оно сразу стало рельефным, интересным, живым. То же происходило и с другими лицами. Какой восторг испытали все мы, когда солнце наконец заявило — вот оно Я. Мир действительно перевернулся. Нет таких слов, которые бы передали, что в этот миг творилось в природе, а через нее и в наших душах. Родовались в золотых песках берега сосны, пихты, ели — все кружилось теперь хороводом счастья необыкновенного.



Завороженные, мы не заметили пристани. И только когда прозвене- ла рында, увидели небольшой деревянный помост с простенькой синей



будкой, над которой светились потускневшие буквы — «Аталан- ка».

Как и в Усть-Уде, здесь нас давно и охотно ждали. Лица радостные, счастливые. Вездесущая ребятня прыгает и резвится в предчувствии праздника. И опять делегация наша, осторожно покидая трап, сходит на берег и вновь

растягивается вдоль длинной широкой сельской улицы. Слава Богу, что без дождя! Бывало и такое: все разбухало, разъезжалось, а сапоги и колеса наматывали на себя килограммы мучительно-вязкой грязи. На людей в таких случаях обычно наваливаются тоска и хвори, а радость забивается в уголок и пытается переждать непогоду. Но сегодня Аталанка подарила нам всем по-настоящему летний день.

По Школьной улице мы проследовали прямо к длинному одноэтажному зданию из красного кирпича. Это школа, которая, как ей и полагается, должна находиться на одноименной улице. На крыльце собрались учителя, работники. Нас встречает директор — Валентина Яковлевна Тирских. Проходим, знакомимся. В центральном коридоре выставлены стенды, рассказывающие о Валентине Григорьевиче, о знатных людях поселка. Классы чистенькие, светлые, есть библиотека, компьютерный класс и классы по всем соответствующим дисциплинам. Немало средств и души своей вложил в этот школьный проект наш знаменитый писатель. Школа открылась почти семь лет назад — 4 августа 2006 года, на сегодняшний день в ней тридцать с лишним учеников.

Собралось довольно много народа. Приехавшие с нами священники, как говорится, не сидели, сложа руки. Отец Алексей готовил комнату для причастия и проведения литургии. В спортивном зале около 15–20 человек, включая грудных детей и взрослых, ожидали таинства крещения. С будущими христианами долго беседовал отец Владимир из Богоявленского храма. Не обошлось без крика и плача грудничков — явление обычное в таких случаях. Крестились и получали крестики девочки и мальчики 10–15 лет, подходили и взрослые сельчане. По окончании литургии и крещения все направились к сельскому кладбищу, стоящему неподалеку в гуще берез и сосенок. Отец Алексей отслужил короткую панихиду по всем усопшим, и отдельно — на могилах отца Распутина — Григория Никитича, родного брата Геннадия Григорьевича, Улиты Ефимовны Вылегжаниной («Тетка Улита»), Марии Герасимовны Распутиной, бабушки писателя, прообраза тетки Анны из «Последнего срока».



Возвратились снова в школу, где в школьной столовой стараниями педагогов были накрыты столы. Гостей ждал полноценный обед. По праву хозяина района Владимир Михайлович предложил поднять тост за Валентина Григорьевича как лауреата Государственной премии России.

Тепло и сердечно говорила Валентина Яковлевна, директор школы, выражая большую признательность писателю-земляку за то внимание, которое он оказывает школе, да и всему поселку, на протяжении многих лет. Валентин Григорьевич, в свою очередь, выразил бесконечную признательность и хозяевам, и батюшкам, которые каждый год, в каждый приезд окормляют жителей Аталанки и других сел своим вниманием, заботой, да и самого писателя всегда приглашают в совместные поездки на родину. Долго потом еще не смолкали песни за нашим столом: пели любимые песни Валентина Григорьевича, Василия Белова, Василия Шукшина, Михаила Шолохова. Гармошка появилась тогда как никогда кстати. Да ведь без песен не собирается наш народ, а уж если есть гармонь и заводила, так и вовсе прекрасно.

Обратной дорогой нас было уже немного. Валентин Григорьевич остался, чтобы на следующий день отправиться дальше по Ангаре, в Братск. Ему надо было поклониться могиле мамы, Нины Ивановны, и навестить родную сестру Аглаю.

В Усть-Уду мы добрались к вечеру, опять переночевали в гостинице и поутру вновь на пароме поплыли на тот берег Ангары. Еще четыре часа плыли до Иркутска. Я переночевал, как всегда, в гостеприимном доме Кости и Татьяны Житовых (спасибо им!) и утренним рейсом через Москву улетел в Ленинград. Очень доволен остался я поездкой. Привез с собой массу фотографий, видеосюжетов, и все это надо было показать дома всем желающим. Кроме того, я оформил выставку в университете, обработал видеофильм, разослал фото всем, кому обещал, и в первую очередь, конечно, в Усть-Уду, в школу Аталанки, в Иркутск, на Байкал...

\* \* \*

Каждый раз, когда судьба случайно сводит меня с Валентином Григорьевичем Распутиным, не перестаю поражаться, как по-человечески высоко жил и живет он сегодня, какую ношу взвалил на себя, отстаивая и в литературе, и в жизни самое ценное, что есть на земле — Нравственность и Красоту Души. Каждый большой художник несет крест своего народа и ответственен перед ним и перед другими народами за чистоту родного Языка, родной Речи, родной Культуры. И русский народ с великой благодарностью, пусть не внешне, пусть не ярко, помнит и всегда будет помнить то святое, что сберегают для него Сыны Отечества.

Хочется особенно вспомнить тот день 12 июня 2013 года, когда в Георгиевском зале Кремля Президент России Владимир Владимирович Путин, обращаясь к награжденным лауреатам Государственной премии, выдержал не предусмотренную протоколом паузу, дав возможность при-

сутствующим бурно приветствовать Валентина Григорьевича Распутина, после чего начал поздравление свое.

Текст выступления Президента, с моей точки зрения, знаковый, и отрывок из него хотелось бы привести:

«Уважаемые лауреаты, дорогие друзья!

Поздравляю всех вас с праздником — Днем России. Сегодня, по традиции, проходит торжественная церемония вручения Государственных премий. И это всегда вызывает особые чувства. Прежде всего — гордость за страну, за наш богатейший интеллектуальный, научный и культурный потенциал. И, конечно, огромное уважение к талантливым и преданным своему делу людям, к их блестящим достижениям, которые утверждают великую ценность творческой и просветительской деятельности, приносят огромную пользу нашему Отечеству и его развитию. Успехи наших лауреатов — это вдохновляющий пример для всех нас, и, безусловно, в первую очередь, для молодых людей нашей страны, для молодых граждан России.

Уважаемые лауреаты, позвольте сказать несколько слов о каждом из вас. Романы и повести Валентина Григорьевича Распутина — настоящее откровение о характере русского народа. В своем творчестве он всегда поднимается до мировоззренческих вершин, возвращает истинный смысл таких понятий, как Родина, Память, Совесть, Милосердие и Патриотизм. Его имя по праву стало символом ценностей, которые Валентин Григорьевич защищает всю свою жизнь. Судьбы его героев поражают. Герои у Распутина разные, но всегда побеждает мысль о верности своим корням, силе душевной красоты, значимости взаимопонимания между людьми. Такие качества важны в любом деле. Свидетельством тому — успехи больших творческих коллективов, умеющих объединять традиции и новаторство, опыт и смелость. Все это относится и к группе сегодняшних лауреатов...»

*16 сентября 2013 г.*

*Фото автора*

Анатолий ПАНТЕЛЕЕВ

## АДМИРАЛ КОЛЧАК

Вероятно, так бывает раз в жизни... В поезд я сел в Челябинске. До Ленинграда дорога не близкая, как обычно, готовился к дальней поездке. Здесь уже стояла зима, и было довольно холодно. В плацкартный вагон зашел минут за двадцать до отправления и, отыскав свое место в купе на нижней полке, слегка удивился, что рядом никого нет. Остальной вагон тоже выглядел полупустым. Читать не хотелось. Да и за окном не было ничего интересного, тем более что уже смеркалось. Думалось о другом, и это другое не давало мне покоя со вчерашнего вечера.

По коридору раздались шаги, в наше купе зашла молоденькая девушка в сопровождении мужчины и женщины, как оказалось — родителей. Поскольку времени оставалось мало, они торопились, и по их разговору я понял, что поедет только эта девушка. Продолжая смотреть в окно, краем глаза заметил, что она уже скинула темно-синюю пуховую куртку и устроилась у окна напротив. Мама с папой о чем-то пошептались, пристроили рядом с ней небольшую сумочку, видимо, с продуктами, бросили на меня настороженно-оценивающий взгляд и, попрощавшись с дочкой, бесшумно прошли к выходу. Шевельнулась невольная жалость к ним — вот так, поездом дальнего следования, отправлять своего ребенка, одну, да еще почти девочку. В полумраке вагона ей можно было дать лет семнадцать, хрупкая, тоненькая, но, как я сразу отметил, очень красивая. Одетая уже по-дорожному, она легко скинула тапочки и в теплых цветастых носках пристроилась спиной к окну, согнув ноги и набросив на них одеяло. В руках ее оказался небольшой томик, видимо стихов, и поскольку она углубилась в чтение, я невольно сбоку позволил себе полюбоваться правильным, почти иконным, профилем личика, спускавшимся чуть ниже плеч светлыми волосами... Боковые места в вагоне оставались пусты, да и в соседних пределах не слышалось ни шума, ни разговора. За окнами сгущались темнота, поезд тронулся.

Я возвращался домой. Ездил в Челябинск на юбилей к родственникам. По обыкновению вез с собой гармошку, звучную, голосистую гармошку тульской работы, купленную еще в конце восьмидесятых, но простоявшую без радости аж более пяти лет. Любовь к ней проснулась только в конце девяностых и с тех пор она перестала грустить, заиграла, поначалу скованно и неуклюже, а затем уж всю показав свой звучный нрав. И теперь рядом с моими фотоаппаратом и видеокамерой частенько охотно пристраивалась эта яркая трехрядка. А куда денешься? Тем бо-

лее что с некоторых пор она стала даже обязательной спутницей в моих путешествиях. Вскоре я окончательно убедился в том, что лучше брать гармонь с собой, и она останется, как говорится, не при деле, чем оказаться в ситуации крайней ее необходимости, а ее рядом не будет. Потому что народ наш по-прежнему влюблен в песню и подолгу молчать ей обычно не приходится. По-разному, конечно, складываются порой дорожные ситуации, однако в целом песни поются; песни разные — русские народные, военные, застольные. Замечено мною давно, что чаще и больше всего поются именно военные песни и особенно — о Великой Отечественной войне. В этом народ наш уникален! Даже в горе большом не покидает его тяга к музыке, к душевной песне. Вспомните — самые лучшие из них были написаны в первые два тяжелейших года последней войны. Особенно хорошо принимают и часто просят — «Эх, дороги...», «Волховскую застольную», «Прощайте, скалистые горы», «Споете, друзья», «Броня крепка и танки наши быстры»... хотя, чего греха таить, — слов, порой, на пару куплетов только и помнят. И кроется в наших песнях о войне, по-моему, какая-то давняя, необъясненная до конца тайна. Ведь сколько живет наша страна, столько и ведет борьбу за свое существование, не желая, однако, при этом ни чужой земли, ни чужой жизни, ни чужого унижения. Однажды курд по национальности и писатель по призванию души Карем Раш, написал: «Русский народ можно обвинить в тысяче грехов, но от одного он свободен. Никогда в истории он сознательно не унижал ни один народ. Его пытаются оскорбить только те народы, которые обязаны ему физическим существованием на земле». Жажда справедливости, всемирная отзывчивость, безмерная тяга к любви — все это в высшей степени определяло и определяет ту меру духовности русской души, из которой и рождаются удивительной чистоты и глубины песни. И потому кажется мне порой, что звучит лейтмотивом в этих песнях одна щемящая тайная нота — все еще повторится...

Я исподволь продолжал наблюдать и любоваться своей юной попутницей, которая, к счастью, увлеченная чтением, не замечала не слишком тактичного моего на себе внимания.

Вскоре воспоминания вчерашнего дня вновь всплыли в моей памяти и в какой-то момент я физически ощутил, что все происходящее сейчас вокруг меня — и полумрак вагона, и относительная тишина вокруг, и мерный стук колес, зимний мрак за окном и эта девочка, — вдруг приобрело смутные очертания реальности, реальности событий почти столетней давности, причем удивительным образом совпали и время года, и обстановка, и присутствие моей незнакомки, но самое главное — эта дорога, эта железная дорога, по которой в крошечной тьме неслись сейчас в ночь полусонные вагоны. То была великая Транссибирская магистраль, на десять тысяч километров протянувшаяся от Владивостока до западных границ России, или Великий Сибирский путь, как его в старину называли. И в образе сидевшей сейчас напротив меня девушки вдруг



проступили черты той, которая в те дни так тревожила и волновала сердце влюбленного адмирала, была его молитвой и судьбой, и которая до конца разделила с ним последние трагические дни его жизни. Именно здесь, той же дорогой, они ехали тогда одни в штабном вагоне — чужая жена Анна Васильевна Тимирева и Верховный Правитель России Александр Васильевич Колчак.

Не смея еще пошевелиться от нахлынувшего вдруг наваждения, чтобы не быть сраженным ответом и сам того не сознавая — зачем? — слегка сдерживая голос, я спросил: «Простите — как вас зовут?» Она не вздрогнула, как от неожиданности, показалось — даже ждала моего вопроса, чуть опустила руку с книжкой, и, не поднимая головы, слегка повернув ее ко мне, так, что даже малая прядь не шевельнулась у ее глаз, мягко сказала — «Аня». Внутри что-то напряглось... — так не бывает! Этого не может быть... Слишком много совпадений, слишком много... И все же, желая до конца испить нелегкую эту чашу, и так, чтобы скорее, наконец, разувериться в реальности происходящего, снова спросил: «А отчество ваше, случайно, не... Васильевна?» — «Нет, Витальевна». Невольно обмяк, расслабился. Все правильно... На что я надеялся?.. Мистика какая-то... Это меня немного успокоило, но не лишило желая продолжить внутренний монолог и предаться мучительной игре воображения...

Пробыв какое-то время в ощущении ирреальности происходящего, встал, прошел в служебный тамбур. В поездах я частенько провожу время в холодных по обыкновению тамбурах, накинув куртку на плечи, потуже запахнувшись, и, прислонясь к ледяному стеклу, люблю смотреть в ночь. Так лучше думается... Желаящие покурить туда не заглядывают, желающих постоять на холоде обычно не находится. Однако стало зябко, и я вернулся, но сел не на свое место, а напротив, на боковое по ходу поезда. Попутчица моя оказалась справа в глубине купе, сидя в том же положении и продолжая изучать свою крохотную книжицу.

Я смотрел в окно, с благодарностью воздавая хвалу Тому, кто подарил мне сейчас эти часы, этот полупустой вагон, эту барышню с именем Анна... и единственно о чем молил я Его — продлить до конца пути или хотя бы на одну ночь то тревожное очарование, которое сам для себя придумал и в которое сам поверил, чтобы иметь хоть малую возможность в тишине и покое представить, а может, и чуть почувствовать — что же могло происходить около века назад лютой снежной зимой на этом отрезке Великого Сибирского пути, так трагически соединившем имена двух любящих друг друга людей...

И этот удивительный случай подарил мне вчерашний вечер.

А вчера было так. Волею обстоятельств я оказался на какое-то время один в квартире своих родственников. В просторной чистенькой гостиной небогатый набор — телевизор, диван, пара кресел, сервант. Телевизор включать не хотелось, его дьявольский формат и особенно назойливость рекламы могут погубить любое настроение. Преступная реклама в

фильмах убивает в зрителе соучастника, сопереживателя, творца, если хотите! И это главное!

Перебирая стопку лежащих рядом видеofilьмов, прочел на одном из них крупными буквами — «Адмирал». Какой чудесный подарок! Есть время, есть возможность, есть, наконец, сам фильм, который давно собирался посмотреть и все не находил подходящего случая. И вот!.. Зажегся экран, я с благодарностью опустил в кресло. Балы, кружение золотых эполет и женских причесок, разрывы палубных снарядов и отрывистые команды офицеров, звуки гимна «Боже, царя храни!» и стоны раненых матросов — все разворачивалось широкой панорамой предреволюционной бури в стране.

Образ адмирала Колчака притягивал меня давно, притягивал не столько масштабом личности, разносторонней образованностью, многообразием и объемом свершенных им во имя флота России деяний, сколько желанием глубже понять — как, какими мотивами и принципами руководствовался этот блестящий морской офицер в выборе сил и средств в своей борьбе за Россию, которая в крови и муках искала, наконец, тот единственный путь, на который желала встать, чтобы вновь возродиться в Величии и Славе.

Экранные образы адмирала и Анны Васильевны я принял сразу и сразу сознательно полюбил их. Первоначальная любовь к героям обязательна для зрителя, она дает возможность сопереживать, полнее и глубже понимать мотивы их поведения. Долго потом, лежа на диване, перебирал я в памяти те факты биографии адмирала, которые знал, и те, которые узнал сегодня. Читал, что его погубила излишняя наивность в политическом плане, что, как политик, окруженный со всех сторон и своими, и красными, и продажными интервентами, он не смог правильно выстроить свое поведение, понять расстановку сил, и даже переоценил свои возможности, что привело к неминуемому обману его и использованию в своих целях заинтересованных сторон. Возможно, все было именно так, но невозможно не восхищаться личностью Александра Васильевича Колчака, который, как истинно русский офицер, единожды присягнувший Царю и Отечеству, не колеблясь принял вызов судьбы на самом крутом переломе русской истории, не ушел, не отвернулся от зла, а достойно, в интересах России распорядился своей судьбой, с честью и до конца исполнив свой военный и гражданский долг.

И вот сейчас, в вагоне скорого поезда, повторял я этот последний путь адмирала, который той же дорогой, той же снежной зимой спешил в Иркутск, где ожидал соединения с армией своего единомышленника и друга, легендарного генерала Владимира Каппеля, где должно было стоять подкрепление, где должна была наконец решиться судьба русского золота, того золотого запаса, которым так дорожил Колчак и которое берег как зеницу ока для нужд спасаемого Отечества. Ощущение таин-

ственной, такой неожиданной сейчас сопричастности с судьбой адмирала волновало, не давало покоя.

Поезд наш от станции к станции набирал обороты, вагоны тряслись мелкой дрожью, за темным окном вьюжило, кружилась в каких-то яростных порывах метель, то отбегая, то вновь со страстью бросаясь на окна, как будто рвалась в промерзший вагон, кого-то выискивала, разбивалась, потом отлетала и снова билась о стекла в бессильном борении.

Вот так же, думал я, сидел, наверное, в ту ночь у окна и адмирал, глядя на бесноватую метель и в отчаянной ее круговерти мучительно пытаюсь отыскать ответы на решение судеб дорогих для него женщин: матери-России и своей возлюбленной, своей единственной Анны...

На подъезде к Иркутску, на станции Нижнеудинска Колчака взяли под стражу изменники-союзники чехи и уже по приезде в город предательски выдали большевикам. 7 февраля 1920 года вместе с председателем Совета министров В. Н. Пепеляевым без суда и следствия адмирал был расстрелян на берегу реки Ушаковки, близ Иркутска. Тела их оттащили, бросили в прорубь, и адмирал был отпущен в свое последнее плавание. Анна Васильевна, выйдя из тюрьмы, где она по личному своему настоянию добилась быть там вместе с Колчаком, прожила еще до семидесятых годов. В 1920 году ей было 27, Колчаку — 46 лет.

В 2008 году на берегу реки Ушаковки близ Иркутска стараниями горожан и властей города поставлен памятник Верховному правителю Сибири, воину и патриоту Отечества Александру Васильевичу Колчаку. И сегодня, кто бы ни пытался порой принизить, умалить историческую роль Колчака, как впоследствии и Сталина, Жукова, других полководцев и государственных деятелей страны, народ наш не забудет и сохранит в памяти своей их несравненные заслуги в деле спасения и становления Отечества.

Так просидел у окна я со своими мыслями часов до двух. Вьюга за окном все так же бешено металась, ошалело неслась нам вослед, не уставая и не стихая, стонала и плакала, рвалась в окна и во все стороны, как будто все еще пыталась отыскать остывшие следы ушедшего в ночь адмирала. Анечка уже спала, но как-то по особенному: она не легла на постель, а так же сидя вытянула ноги под одеялом, другой конец натянула почти до подбородка и, как мне показалось, даже не спала, а подремывала, держа правой рукой прикрытую наполовину книжку. Знала ли она, милое это создание, какую историческую миссию в моем воображении выполняла она здесь и сейчас своим присутствием.

Следующий день тоже выдался на редкость спокойным. Пассажиров не прибавлялось, но волнение по-прежнему не покидало меня — ведь каждая новая станция таила в себе тревогу и легко могла разрушить то хрупкое состояние, в коем находился я постоянно. Во второй половине дня начало смеркаться, впереди ждала последняя ночь, и уже ничто

не предвещало каких-либо перемен, которые могли бы помешать моей удивительной железнодорожной идиллии.

Поезд остановился на очередной узловой и в свете горящих на станции фонарей была заметна суета спешащих на посадку редких пассажиров. Свои уже вышли, тишина вновь возвращалась. Я было успокоился, но... ненадолго. Различив верхушки проплывавших мимо окна ватников и вьючных рюкзаков, вдруг смутно, каким-то десятым чутьем, почувствовал тревогу. Только бы не в наш вагон — мысленно умолял я.

Но судьба уже уготовила мне иную участь...

Они ввалились не просто в наш вагон, они вломились именно в наше купе, плотно оккупировав и соседние, забив все пространство вокруг не только баулами, немислимых размеров рюкзаками и вязками чего-то плотного, завалив ими вторые и третьи полки, но и шумом, гамом зычной речи, морозным раскатистым смехом в вагонной тиши, яростью движений... Все это громыало и ухало без суеты, но напористо, с решительной основательностью, и казалось, что на всем Сибирском тракте от Москвы до Владивостока месяцами будет бушевать теперь эта неумная, разбуженная кем-то стихия.

Анна забила в самый угол, как мышь под лавку, поджала ноги и натянув до глаз одеяло, с немим ужасом постигала происходящее. Я, в состоянии глубокого транса, перебрался на свое место и отрешенно блуждал взглядом по этой нагрывшей невесть откуда орде, стараясь по отдельным приметам и отрывкам речи угадать — кто они, куда и зачем едут..

Их было человек пятнадцать, здоровых, крепких мужиков, именно физически крепких, уже не молодых, лет по тридцать-сорок. На нас они не обращали никакого внимания, вели себя достаточно спокойно и деловито, но с видимой долей усталости. Гремели сапоги, растирались хваченные морозом лица. Когда, побросав на полки вещи, стали стаскивать с себя тяжелую одежду, видно было, как накачены их мышцы и играют под рубашками тугие горячие тела. Про себя отметил положительный момент — пьяных, и даже подвыпивших, среди них не было; они сошли бы за спортсменов — боксеров, штангистов, скорее всего за штангистов. Рюкзаки и баулы — естественная в подобных переездах спортивная одежда и вся сопутствующая утварь.

Казалось бы — что делать к ночи в тесном вагоне этой разогретой от мороза, но увядающей от усталости толпе? Конечно — спать! Так думая я, наивный, глядя, как некоторые из них уже возились с постельным бельем.

Как вскоре оказалось — это был лишь тонкий тактический прием. Когда на столике нашего купе встали разом четыре бутылки водки, я было засомневался относительно «спортсменов», но когда к ним присоединилось еще четыре, а в купе слева и справа по-дружески раздался призывный звон стаканов, понял, что в психологи мне еще рановато. Хоровод бутылок на столе быстро обрастал хлебом, помидорами, холод-

ной картошкой с котлетами. Я не услышал даже первого тоста, когда две или три пустые бутылки уже аккуратно пристроились под нижней полкой. Естественно, что очевидный сценарий развернувшегося «банкета» ничего романтического уже не предвещал, и виды мои на спокойную ночь приказали долго жить....

После того как прокатилась «вторая волна», усталость их как-то сама собой стала проходить, говор приобрел оттенки утвердительные и в разговор стали изредка вплетаться кружева ненормативной лексики. Я, по обыкновению в таких случаях, стал внутренне заводиться. Мучительно прикидывал — как и чем, да и смогу ли я, повлиять на эту непростую ситуацию. Тяжело было оттого, что рядом сидела молодая девчонка, да и в соседних купе вряд ли спали и тоже напряглись пассажиры. Еще человек шесть, непонятно как, втиснулось в наше купе и мы с Анной вконец оказались отрезанными от внешнего мира.

В какой-то момент встал, чтобы пройти в тамбур. Мужики раздвинулись, и я, протискиваясь между ними, обронил: «Ребята, вы так за речью-то последите, девчонка вон сидит и вообще...» На меня взглянули молча, с большим интересом, кто-то даже посочувствовал, а один рыжий, невысокий с круглым лицом махнул рукой и добродушно напутствовал: «Ладно, иди, разберемся...» Я пошел куда послали... разбираться.

В тамбуре стало слегка колотить. И от мороза тоже. Минут через пятьдесят вернулся, сел на свое место. В гаме разговора отметил, что чей-то голос слегка обрывает тех, у кого проблемы с лексикой. По его тону понял, что это старший. Стало спокойнее — субординация в подобных случаях не лишняя и действует обычно безотказно. Приглядевшись к ним повнимательней, отметил, что парни не просто пили, они просто очень хотели есть, потому что буфетные коробки из под котлет и картошки так же скоропалительно исчезали со стола, да и хруст огурцов и помидоров не смолкал ни на минуту. И, наверное, все это еще продолжалось бы невесть какое время, если бы...

Странно, но я вдруг почувствовал, что покинувшее было меня настроение в какой-то момент стало возвращаться и при этом наполняться атмосферой чего-то своего, родного, как ни странно, до сердца знакомого. Неожиданно поймал себя на том, что все происходящее сейчас рядом мне небезынтересно и притягивает меня.

Я смотрел на них, вполне взрослых уже мужиков, и уже чувствовал, что чего-то во всем блеске этого разудалого застолья им явно не хватало! Не хватало последней точки, не хватало какого-то завершающего аккорда, какого-то штормового «девятого вала», который опрокинул бы невидимую плотину и рванулся вширь, дав волю этой первородной стихии!

Мысль, пришедшая неожиданно, сама собой, сразу же отбросила все сомнения и уже нащупала тот единственно верный аккорд. Я внутренне ликовал! Конечно, удача случается не всегда, и вряд ли я смог бы сегодня повторить такое же с пьяными пацанами-школьниками, или даже со

студентами. Но эти ребята были еще свои. В них еще жил азарт здоровой жизни, настоящего мужского труда и мужской неистраченной силы. Волнение мое тотчас пропало. Я встал, шагнул прямо к столу, приобнял рядом сидящих ко мне спиной за плечи и громким, почти веселым голосом, как будто тянул с ними ляжку уже не один год, сказал: «Ну что, мужики? Попили? Поели? Теперь пора и песню спеть!» Десяток захмелевших пар глаз «вылезли из орбит».

Это был удар под-дых. Вряд ли кто-то из них ожидал такого от случайного соседа-пассажира. Предвидя заранее, что было несложно, этот кратковременный шок, я не дал им времени на размышление. Я их уже знал, я был уже уверен, что они запоют, но надо было, чтобы запели все и сразу! Вот для этого нельзя было спрашивать мнения каждого в отдельности, здесь вам не это... здесь вам не парламент.

Не дав им опомниться, я скинул с полки гармонь. Инструмента, конечно, не ожидал никто. Мужики моментально раздвинулись, уступив край скамьи, а из соседних купе уже высунулись жадные до интереса лохматые головы. Пальцы привычно упали на нужные клавиши — «С чего начнем?»

И в этот момент получил первый поддых я. Этот рыжий кучерявый, который из «ненормативных», сходу рубанул — «Волховскую застольную» знаешь?» — «Ну, ребята, — подумал я, — это я хорошо зашел... и вам — конец...»

«Редко, друзья, нам встречаться приходится, но уж когда довелось — вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось!» — «Волховская!» Знаменитая песня Волховского фронта на слова Павла Николаевича Шубина, конечно, же прогремела «на ура», еще бы! — любимая для всех застолий из моего репертуара! Всех слов они не помнили, но песню знали и припев подтягивали азартно: «...Выпьем за Родину нашу любимую, выпьем за русский народ! Выпьем за армию непобедимую! Выпьем за доблестный флот!» Я не успел еще справиться с последним куплетом, а на уровне моего рта уже плескался граненый стакан. «Держи! Молодец! Закусишь?» Выпил, конечно. А куда денешься? На халяву каждый удавится.

Заказы неслись уже со всех сторон, и в основном... военные! Пели во все горло, пели галопом и с прихлопом — «Катюша», «Ты ждешь, Лизавета», «Броня крепка», «Мы не дрогнем в бою за столицу свою»... Пели то, что не вытравить, не зарыть, не стереть никакими системами, никакими законами и пропагандами — ни-ко-му, ни-ког-да, ни-за-что!!! — «Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас позовет!» — в голосе их kloкотала откровенная страсть, радость узнавания себя, неистребимое желание вспомнить что-то забытое, сокровенное, родное — то, что давно и отчаянно рвалось наружу! Кто-то размазывал слезы по щекам, кто-то ребром ладони отбивал ритм по скамье, кто-то яростно чеканил боевые строки, мотая хмельной головой в такт забытому слову...

Казалось, что эти парни возвращались сейчас с Великой войны — Отечественной, Афганской, Чечни, и выпевали душу свою за тех и за этих, за кровь и смерть друзей, за предательство и героизм, за то лучшее, что в щедрости и нерастраченной нежности своей, искала их жадная до любви душа.

Таких можно убить, но таких нельзя победить, с ними нельзя сделать то, чего они не пожелают. Это они ломали стальную машину Третьего рейха, это они освобождали плененную Европу, родную истерзанную землю и отдавали жизни свои за други своя; это они целым полком отказались выходить из Афганистана, узнав, что их, отправляемых домой, хотят заменить молодыми, необученными пацанами, которых в первом же бою положили бы в горячих песках моджахеды. Это они, не принявшие сегодня «голубизну» и «зелень» окружившей их жизни, держат в своих руках опоры и тяги родной земли, и по простоте и щедрости души своей позволяют пока отдельным зарвавшимся от свободы джигитам с кавказских гор и южных степей порезвиться на улицах русских сел и городов... до поры до времени... Это они. Только дразнить их не надо...

И сплясали бы сейчас! Да вот только Сибирская магистраль после этого надолго бы встала на ремонт. Проходившего по вагону милиционера даже не пропустили, а, как мне показалось, бережно передавая по воздуху друг другу, на руках пронесли из одного купе в другое. Он только улыбался, прижимая к груди упавшую было фуражку. Пить отказался. Да никто и не настаивал, только пригрозили — потом как-нибудь ушучим, не отвертись!

В какой-то момент я спросил: «Ребята, вы кто?» Оказалось — монтажники каких-то огромных нефtezаливных агрегатов, едут на Вологодчину, в Череповец, на очередной объект. Когда спели «На границе тучи ходят хмуро», я обмолвился — служил на китайской границе. Рыжий тоже! Оказался бывшим погранцом-дальневосточником. Обнялись. Чокнулись. Глотнули. Ну не драться же! Кто-то скомандовал — курить. Повалили в тамбур. Меня прямо с «подругой» подхватили под руки и — тоже курить. А как же не покурить, если ты уже двадцать лет не куришь?

Успел только оглянуться на Аню, которая, по-моему, так и не двинулась с места, а только часто моргала, я даже испугался — не оглохла ли. Когда вышли в тамбур, в котором и так уже зенки слезились от дыма, я для удобства прислонился спиной к перегородке и... получил еще один сюрприз. «Песню знаешь — Город над вольной Невой?» Сьерничал: «Что-то не припомню!» И опять подхватили, только уже спокойней, сдержанней.

Помнили только два куплета, пришлось подсказывать. Спели еще несколько песен и с дымом-шумом повалили обратно. Я был, конечно, разогрет и, несмотря на почти полную потерю голоса, будучи закален, готов к продолжению, но по их виду уже было видно — это конец, точка отсчета пройдена, теперь с ними справится один господин сон. Сы-

тые, согретые, да песней обогретые они принадлежали уже только ему. И больше бы их сейчас ни на какую стройку века не взялся бы поднять никто. Все, ребята, шабаш!

Когда купейные полки напряглись под тяжестью обмягших тел, я еще долго лежал с открытыми глазами. Из глубины вагона слабо донеслись звуки Гимна Союза Советских Социалистических Республик (сегодня — Гимна России), кончался и уходил в ночь еще один день.

Мысли вновь возвращались невольно к легендарному адмиралу, но уже не прежними, другими, в ином звучании. Смутно пытался нащупать связь этих недавних двух потрясений, связь внутреннюю, на грани генной, как любят сейчас говорить. А она была, была... Не хочется красиво говорить и понапрасну играть словами, но кажется мне, что связывала адмирала и этих ребят какая-то невидимая, но явно осязаемая нить, в которой прочно переплелись: тяга к родной земле, неизбывная любовь к своей родине, чувство ответственности за ее будущее — за царский гимн «Боже, Царя храни!» и «Гимн России», за судьбу русского флота и за череповецкие агрегаты, за переливы тульской гармонии и за народные песни, за Анну Васильевну Тимиреву и девочку Аню...

И чудилось, что осязаемая нить эта и есть тот самый «золотой запас», «Золото Колчака», неприкосновенное «Золото России», которое не подвержено никакой коррозии, никакой «перестройке», никакой иноземной интервенции и духовной мутации. Оно лишь на время может потускнеть, может покрыться чуждым налетом, даже скрыться на время, под воду уйти, как град Китеж, но природное Естество, изначальный материнский Свет в нем не померкнут никогда! Потому что оно — Золото!

И потому была, есть и будет жить Россия. И другому не бывать.

Уснул, видимо, поздно. Потому и проснулся поздно, около восьми часов, от мелодичного постукивания колес. Не слышал даже, как бесшумно поднялась и растворилась под утро где-то в вологодских просторах «могучая семья», по-прежнему стояла в вагоне тишина, и только мирно посапывала уже под одеялом моя Аня. Спасибо ей, так и не узнавшей — сколько и каких счастливых часов, сама того не сознавая, подарила она мне в это безвременное наше путешествие. Не доезжая до Ленинграда, на одной из станций ее встретили родственники. Слава Богу, и здесь все обошлось благополучно. Кончался мой отпуск, кончался Великий Сибирский путь, до Ленинграда оставалось рукой подать. Пора вставать... Э-э-х!

*6 сентября 2013 г.*



# 100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ

---



**Юрий МУДРОВ**



**Евгений АНТАШКЕВИЧ**



**Игорь ПОЛЯКОВ**



## Российское военно-историческое общество

**Р**усское военно-историческое общество — одно из четырех Императорских обществ, наряду с Русским географическим обществом, Русским историческим обществом и Православным Палестинским обществом. Основанное в 1907 году, Общество ставило своей задачей объединение граждан России для изучения и сохранения сведений о военной истории, поиск и археологические исследования мест сражений прошлого, создание и описание военно-исторических музеев, коллекционирование военной формы, оружия и атрибутики, публикация сведений о наследии предков и текущих событиях.

7 (20) апреля 1907 года состоялось первое общее собрание членов-учредителей Русского военно-исторического общества. Четыре месяца спустя был утвержден его устав, и Николай II принял звание почетного председателя РВИО, даровав ему право именоваться Императорским.

Начало Первой мировой войны заставило общество свернуть свою деятельность до минимума (почти все члены общества убыли на фронт), хотя формально оно существовало до октября 1917 года, после чего прекратило свою деятельность.

Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» в настоящее время, является организацией, оказывающей содействие государственным институтам российского общества в разработке и реализации государственной политики, целевых и иных программ и проектов, в совершенствовании законодательства и нормативной правовой базы в сфере военно-исторической деятельности, а также формирующей и поддерживающей направление общественной инициативы на всестороннее и глубокое изучение военно-исторического прошлого нашей Родины. Общество призвано воспитывать граждан России, особенно молодежь и юношество, в духе любви, преданности и беззаветного служения Родине, уважения к Защитнику Отечества, Вооруженным силам Российской Федерации.

Игорь ПОЛЯКОВ

## 100-летний юбилей Великой войны

**В** 2014 году отмечается столетие со дня начала Первой мировой войны, одного из величайших событий прошлого столетия. Для Российской империи эта война закончилась революцией и Гражданской войной. За годы Первой мировой Россия потеряла более полутора миллионов военных и более миллиона мирных жителей. Тем не менее в России эта война, которая буквально перекроила мир, по-прежнему остается малоизвестной.

Начавшаяся с патриотического восторга в августе 1914 года, Великая война (как называли ее современники) завершилась для нашей страны позорным Брест-Литовским миром, с отторжением от Российской империи одной трети промышленных областей и потерей многонаселенных провинций. Планируемая как война-освободительница, которая позволила бы распространить влияние России далеко за пределы ее границ, с водружением в заветном Царь-граде, турецком Константинополе, своего долгожданного присутствия, Первая мировая закончилась для России поражением всего за несколько месяцев до законного триумфа нашей страны.

История очень часто используется как часть политико-идеологической борьбы, как предмет создания мифа, который выгоден и полезен существующей на тот момент власти. Исказить историю Первой мировой начали еще деятели и апологеты Февральской революции. Затем сказала свое слово советская историческая школа, с подачи которой Великая война стала «империалистической», «позорной», «провальной». Советские историки, в угоду идеологии, умаляли победы России и, наоборот, из малейшего поражения и просчета раздували трагедию и катастрофу. Не стояла в стороне от переписывания истории и западная историческая школа. В результате участие России в войне и жертвы, принесенные ею на алтарь победы, сведены к минимуму, а саму Россию выставляют зачинщицей «кровавой мировой бойни».

Тем не менее начавшийся сегодня процесс возрождения памяти о том событии требует от историков, экспертов и политиков создания многоплановой, объективной картины этого сложнейшего феномена европейской и мировой истории, а от российского общества — выработки единого мнения относительно Первой мировой войны и участия в ней России.

Нами утрачен громадный исторический фрагмент, который может быть восполнен только внимательным переосмыслением событий прошлых лет.

На Западе проявляют большой интерес к тому, как Россия будет встречать предстоящий 100-летний юбилей. Нет никаких сомнений, что нашими оппонентами будет использована вся имеющаяся мифологическая палитра относительно событий Первой мировой войны, где главным содержанием старых и новых мифов об этом событии станет, в основном, антироссийский контекст. Для наших внешнеполитических недругов история давно превратилась в политическое оружие. На Западе выработана и задействована целая система тезисов, касающихся участия СССР во Второй мировой войне. В 2009 году, в преддверии 70-летия начала Второй мировой, ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой «сталинский режим» был объявлен таким же виновником развязывания войны, как и режим гитлеровский.

Необходимо противодействовать мифам и писать правдивую историю. Нужно вновь воссоздать образ «безвестной» Великой войны, как важной исторической вехи, повлиявшей на многие стороны развития нашего государства. Необходимо сформировать новые подходы к изучению событий того времени и создать непоколебимую основу для сохранения исторической справедливости. Память о павших призывает нас сделать все для этого возможное.

«Никто не забыт, ничто не забыто...» — применимо и для Первой мировой войны.

Прошедший в Москве 11 декабря 2013 года в Пресс-центре МИД РФ Общественно-научный форум с участием российских и белорусских политиков, общественных деятелей, историков, экспертов, писателей и публицистов на тему: «Первая мировая война в контексте современной мировой политики» — один из шагов в этом направлении.

Организаторами форума-семинара выступили Постоянный комитет Союзного государства и Российское военно-историческое общество. Основными темами обсуждения стали: «Первая мировая война и антироссийские мифы», «Первая мировая война — кто начал первым?», «Первая мировая война и новый мировой порядок».

Почетному гостю и участнику форума, государственному секретарю Союзного государства Григорию Алексеевичу Рапоте было предоставлено право открыть работу собрания. В своем докладе он сказал, что в годы Первой мировой войны, когда наши братские народы были объединены в границах единого государства Российской империи, от 700 до 900 тысяч белорусов были призваны в действующую армию, в ходе боев территория Белоруссии на два с лишним года оказалась разделенной линией фронтов. Почти полтора миллиона человек ее населения оказались беженцами, около трех с половиной миллионов мирных жителей попали под германскую оккупацию. На территории Белоруссии, впервые в истории войн, было применено химическое оружие. Тем не менее, после таких масштабных трагедий, прошедшая война по-прежнему остается малоизвестной и предельно мифологизированной. Поэтому необходимо наиболее полно ос-

вещать события того времени, чтобы в истории нашего Отечества оставалось как можно меньше белых пятен. Для достижения этой цели на средства Союзного государства в Белоруссии восстановлено кладбище павшим русским воинам. В Сморгони, где в годы Первой мировой войны проходили тяжелые кровопролитные бои, был установлен памятник солдатам, погибшим в этих сражениях. И, как ранее сложившийся в исторической топонимии термин «Первая мировая война» хорошо бы произносить с прежним смыслом и значением: «Великая война».

В продолжение сказанного выступил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Андрей Владимирович Назаров. Он отметил, что вековые братские связи России, Белоруссии и Украины не смогут прерваться. Россия, а затем и СССР никогда не были империями в общепринятом смысле (например, как Великобритания). И память, хранящаяся в народах о едином государственном проживании, положительна. Минувшая война, во время которой наши государства входили в состав единой Российской империи, показала нам, как неразделимы и переплетены вековые корни наших народов, как близки и понятны чувства людей, вставших в едином строю на защиту нашего Отечества. Наступающий юбилей — это повод еще раз осветить эти события.

При возникающих бедствиях и катаклизмах российское общество всегда консолидировалось с властью, находя простые и понятные основы для преодоления напастей и невзгод. При различных формах политического правления русские воины защищают одно и то же Отечество, и во всех войнах, в которых участвовала Россия, имеются неудачные и печальные страницы, но нет ни одной позорной. Это касается и Первой мировой войны.

В дополнение выступили директор Института Российской истории РАН Юрий Александрович Петров, главный редактор Российской центральной студии документальных фильмов Евгений Михайлович Анташкевич, военный историк, писатель и публицист Юрий Вячеславович Широкоград, которые рассказали о готовящемся, совместно с белорусскими коллегами, издании многотомного энциклопедического сборника, посвященного Первой мировой, о переиздании в 2014 году двухтомника о событиях того времени, о выходе в свет альманаха с публикациями сербской, польской и немецкой новелл времен Великой войны. Режиссер Игорь Угольников рассказал о завершающихся съемках четырехсерийного художественного фильма, героиней которого стала знаменитая Мария Леонтьевна Бочкарева.

В завершение Общественно-научного форума Андреем Владимировичем Назаровым было высказано общее мнение участников, что предстоящий 100-летний юбилей должен стать не триумфом победителей, а юбилеем памяти всем павшим и умершим в той забытой войне, кем бы они ни были.

Юрий МУДРОВ

## ЛИЦЕИСТ. ПОЭТ. ВОИН

Князь Олег Константинович Романов (1892–1914)

### Страницы биографии

Он, безусловно, был отмечен печатью исключительности. Открытый, доверительный, добросердечный и одновременно — пытливый, внимательный взгляд; поэтичность, мечтательность натуры и редкая требовательность, прежде всего, к себе; целеустремленность и напористость в достижении поставленной цели; совесть, честность, высокое понимание долга и ответственность в его выполнении — сочетались в его натуре и светлом облике. Но и не только это.

Исключительны его происхождение и его судьба.

Князь императорской крови Олег Константинович Романов. Его жизненный путь, закончившийся военным подвигом и смертью от боевых ран, полученных при сражении с врагами Отечества в первый год Великой (Первой мировой) войны, насчитывает всего двадцать два года. Он беззаветно любил Родину, его судьба — честное тому свидетельство.

Князь Олег родился 15(28) ноября 1892 года, в Санкт-Петербурге, в Мраморном дворце. Он был сыном великого князя Константина Константиновича и великой княгини Елизаветы Маврикиевны. Отец — внук императора Николая I, президент Императорской академии наук, Главный начальник военных учебных заведений, известный поэт, писавший под криптонимом «К. Р.».

С детских лет в Олеге окружающие отмечали «впечатлительность и любознательность», в его играх — «кипучую энергию, страстность и инициативу». Из этих качеств будет складываться характер взрослеющего ребенка, затем юноши. К этому прибавляется рано проявившиеся «глубокая вдумчивость», «склонность к размышлениям». Он был окружен заботой и вниманием близких, воспитателей и учителей.

С 1899 года учебные занятия князя проходили под наблюдением академика А. С. Лаппо-Данилевского. Занятия увлекали мальчика; равный интерес вызывали науки естественные, точные и «гуманитарные»; физическая и «творческая» подготовка.

Жизнь Олега в ранние детские годы проходила в Петербурге и Стрельне, позднее — в Павловске. В Мраморном дворце князь Олег с

1900 года (с восьми лет!) с разрешения своих родителей присутствует на «литературных четвергах». Во время этих еженедельных «чтений», уже в детские годы князь Олег познакомился с произведениями Пушкина, Гоголя, Льва Толстого, Тургенева, С. Т. Аксакова, Гаршина, А. К. Толстого, Короленко и других русских классиков. Дети Константина Константиновича ожидали «четверги» как «любимое лакомство». Безусловно, «чтения» зародили у Олега любовь к литературе.

Впечатления от литературных произведений на первых порах были важнейшим источником всех жизненных впечатлений самого Олега, его братьев и сестер (в значительной степени закрытая жизнь великокняжеского дома ограничивала получение всего спектра непосредственных жизненных впечатлений). Позднее их они черпали во время путешествий. Первая заграничная поездка князя Олега и его братьев произошла в 1899 году — Швейцария, Франция, Германия.

В 1901 году Олега впервые вывозят в настоящую русскую деревню, в глубинку, в Калужскую губернию, где «он был бесконечно счастлив». Он имел возможность «...воспринять всю красоту и поэзию вступающей во все свои права радостной весны, с роскошным ковром благоухающих цветов, с массой до тех пор ему неизвестных птиц; он видел лето с сенокосом на лугах, жатву и посев озимей, видел и дивную золотую осень с носящимися в прозрачном воздухе паутинами, с отлетающими "в теплый край, за сине море" журавлями. Это первое лето, проведенное им в русской деревне, в сердце России, в Калужской губернии, в живописной местности на берегу Жиздры, в 3 верстах от Оптиной пустыни, полной живых воспоминаний о только недавно скончавшемся старце Амвросии, и в 6—8 верстах от созданного этим старцем женского Шамординского монастыря, в котором он и скончался,— наложило, несомненно, глубокий отпечаток на вкусы и характер Олега Константиновича и вложило в его юную впечатлительную душу ту поэтическую любовь к родине во всех её проявлениях, которою он с годами все более и более проникался...» — вспоминала воспитательница князя Т. В. Олсуфьева.<sup>1</sup>

Лето 1902 года проходило в Павловске, в привычной семейной обстановке. Но, уже 15(28) ноября, Олег, которому едва исполнилось десять лет, начинает готовиться к поступлению в Полоцкий кадетский корпус. Его отец — Главный начальник военно-учебных заведений, получив известие о сдаче сыном экзамена, радостно телеграфировал в Полоцк: «Сегодня Олег выдержал экзамен и поступил в первый класс Полоцкого кадетского корпуса. Прошу полочан считать мальчика своим. Константин».<sup>2</sup> В творчестве К. Р. (Константина Константиновича) появилось стихотворение:

<sup>1</sup> Князь Олегъ. — Петроград: 1915. — С. 13.

<sup>2</sup> Там же, с. 21.

Хоть мальчик ты, но сердцем сознавая  
Родство с великой воинской семьей,  
Гордился ей принадлежать душой.  
Ты не один: орлиная вы стая.

Настанет день, и, крылья расправляя,  
Счастливые пожертвовать собой,  
Вы ринетесь отважно в смертный бой.  
Завидна смерть за честь родного края!

Зачисленный в Полоцкий кадетский корпус, князь Олег, живший в Петербурге и Павловске, проходил реальный курс обучения в Александровском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге.

Начавшаяся в январе 1904 года Русско-японская война взволновала одиннадцатилетнего мальчика: «Страшно хочется на войну. Если будет сражение при Кронштадте, я думаю, что я пойду.. Если будет время такое, как при Севастополе, всех возьмут...» — писал он в своём «Дневнике»<sup>1</sup>. Но, начавшиеся военные неудачи России, словно встряхнули князя Олега. В «Дневник» он заносит уже совершенно иные мысли и суждения: «О, как я был глуп, когда был рад войне! Сколько осталось осиротелых семейств...»<sup>2</sup>. Юный князь отправляет на фронт посылки и бывает несказанно рад, когда получает ответные письма.

20 июля 1904 года князь Олег вновь в настоящей русской деревне. Теперь уже в Осташёве, имении в Волоколамском уезде Московской губернии, за год до того приобретённом отцом. Здесь он продолжает знакомство с укладом русской сельской жизни. Из Осташёва он пишет своей матери, великой княгине Елизавете Маврикиевне: «...Время проводим здесь очень весело: гребём, косим и возим сено. Познакомились со многими крестьянами и крестьянками...»<sup>3</sup>. В его жизнь вошёл мир природы средней полосы России, но идиллическое пребывание в деревне длилось недолго.

9 августа князь Олег с братьями выехал в Петербург, чтобы присутствовать при крестинах наследника Российского престола, царевича Алексея. По настоянию врачей дальнейший летний отдых в Осташёве был заменён на поездку в Крым, в Ливадию. Проживая в Ливадии, князь не только отдыхал, но занимался изучением наук. Пребывание в Крыму затянулось до середины мая 1905 года. Затем — вновь Осташёво. Радостью стал приезд в подмосковное имение тётушки — Ольги Константиновны, Королевы Греческой, по-настоящему любившей своих племянников.

Лето 1905 года ознаменовалось литературными увлечениями, и прежде всего, чтением произведений А. С. Пушкина. Большое впечатление

<sup>1</sup> Князь Олегъ. — Петроград: 1915. — С. 32.

<sup>2</sup> Там же, с. 33.

<sup>3</sup> Там же, с. 35.



на князя Олега произвела книга В. П. Авенариуса «Юношеские годы Пушкина», о чём он писал: «Я кончаю книжку "Юношеские годы Пушкина", которая мне очень понравилась. Я чувствовал, когда её читал, как будто я сам лицеист, как будто я сам в кругу товарищей...»<sup>1</sup>. С этого времени А. С. Пушкин становится его кумиром. Недолгое пребывание в Осташёве вновь сменилось жизнью уже в Павловске: «...мы приехали сюда в Павловск. Тут я нашёл много вещей, напоминающих мне детство.

Здесь каждый шаг в душе рождает  
Воспоминанья прежних лет...

А. С. Пушкин это писал про Павловск в своём стихотворении "Воспоминания в Царском Селе". Я как раз вспомнил эту фразу, когда мы были около "Розового павильона"<sup>2</sup>. Действительно, А. С. Пушкин станет для князя Олега «спутником» всей его непродолжительной жизни, и творческой, и каждодневной. Учебный год вновь выявил как его упорство в занятиях, так и артистичность натуры. «Обладея живым характером и отличной памятью, Олег Константинович скоро постиг искусство декламации, и чтение им стихов и даже прозы наизусть доставляло слушателям всегда искреннее удовольствие. «Князь особенно любил декламировать "Полтаву" Пушкина и "Мертвые души" Гоголя: «Эх, тройка, птица тройка! Кто тебя выдумал?... Не так и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься...» — вспоминал воспитатель князя А. М. Максимов<sup>3</sup>.

В 1906 году Олег Константинович посещает подмосковное село Ильинское, имение великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Не только отдых, но и помощь Елизавете Фёдоровне в попечении больных воинов в лазарете, устроенном здесь ею, стремление постичь народную жизнь, составляли его занятия в Ильинском.

Конец 1906 года в дневнике юноши отмечен следующей записью: «Вчера я в первый раз сказал за обедом Папá, что пишу стихи. На вопрос, почему этого не сказал ему раньше, я ответил, что стесняюсь. Папá сказал, что стесняться не надо и что поэты всегда до печатания стихов советовались с кем-нибудь. Фет в последние годы своей жизни советовался с Папá. Теперь я буду показывать Папá мои стихи. Я хочу показать ему: "О, даруй мне талант, поэт!"»<sup>4</sup>.

Летом 1907 года князь Олег со своим отцом побывал в Полоцке. Вместе с кадетами принимал участие в положенных учебных занятиях. Мно-

<sup>1</sup> Князь Олегъ. — Петроград: 1915. — С. 48.

<sup>2</sup> Там же, с. 50.

<sup>3</sup> Там же, с. 53.

<sup>4</sup> Там же, с. 67.

го времени было уделено осмотру местных достопримечательностей, а их в древнем городе и окрестностях было много.

В 1908 году князь Олег и большая часть его семьи совершили замечательное путешествие, оставившее яркий след в их жизненных впечатлениях. Путешествие по Волге до Нижнего Новгорода, «для осмотра русских древностей», а также посещение Ростова Великого, Борисоглебска, Владимира и Суздаля, а в завершение — Москвы, стали важными составляющими в формировании личности вступающего во взрослую жизнь Олега Константиновича. Князь Гавриил Константинович, вспоминая поездку, писал: «Вся дореформенная Русь глянула нам в глаза»<sup>1</sup>. Глубокое впечатление оставило посещение Третьяковской галереи в Москве; особенно взволновали полотна И. Е. Репина и В. В. Верещагина.

Поездка по городам Отечества вызвала потребность в активных литературных занятиях. Князь Олег начинает писать роман «Влияния», а также стихи.

Осенью 1908 года в Павловске устраиваются т. н. «Исторические вечера», во время которых члены семьи Константина Константиновича постигают культуру, искусство, быт допетровской эпохи. Было устроено пять «вечеров». Музыка и драматургии в них было отведено значительное место. Их участниками были известные историки, филологи, знатоки старины Я. Л. Барсков, П. Г. Васенко, В. Т. Георгиевский, Н. К. Кузьман, В. И. Петров, С. Ф. Платонов, М. А. Полиевктов, актёр и режиссёр, собиратель старины Ю. Э. Озаровский, профессора Консерватории Н. Н. Кедров и его супруга певица С. Н. Гладкая, А. М. Миклашевский, Л. А. Саккетти и другие видные деятели науки и культуры. Значительными были выступления таких коллективов, как Старообрядческий поморский хор, хор лейб-гвардии Первого стрелкового полка.

Уже вне программы, но по смыслу продолжением «исторических вечеров» стал спектакль, сыгранный 11 января 1909 года в Большом Тронном зале Павловского дворца, в присутствии императора Николая II. Были представлены фрагмент из «Бориса Годунова» А. С. Пушкина — «Сцена в келье Чудова монастыря», и пьеса Б. М. Маркевича «Дважды весны не бывает». Князь Гавриил Константинович вспоминал: «...состоялся любительский спектакль, в котором принимал участие великий князь Борис Владимирович, моя сестра Татьяна, мой брат Константин, я сам и другие лица. Кроме пьесы... шла также сцена в келье Чудова монастыря в исполнении Олега и Игоря. Олег играл Пимена. Он весь ушел в роль летописца»<sup>2</sup>.

17 апреля в Павловском дворце прошло другое театральное представление, посвящённое серебряной свадьбе родителей — Константина

<sup>1</sup> Гавриил Константинович (Романов). В Мраморном дворце: Из хроники нашей семьи. — СПб.: Изд-во «Logos»; Дюссельдорф.: «Голубой всадник». — 1993. — С. 65.

<sup>2</sup> Там же, с. 89.

Константиновича и Елизаветы Маврикиевны. В присутствии императора Николая II была представлена пьеса Поликсены Соловьёвой «Свадьба Солнца и Весны». В тот же вечер были представлены и «исторические картины» из жизни Двора рубежа XVIII и XIX веков, в том числе «живая картина» «Семья императора Павла Петровича» (по сюжету знаменитого живописного полотна Г. Кюгельхена).

Вскоре состоялось непродолжительное путешествие членов семьи Константина Константиновича в Новгородскую губернию, во время которого князь Олег познакомился с памятниками Великого Новгорода и его окрестностей — Нередицей, Перынью, Хутынским и Юрьевским монастырями. Побывал он и в державинской Званке и аракчеевском Грузино.

В июне 1909 года князь Олег сопровождал своего отца на торжества в Полтаву. Константин Константинович представлял на празднестве по случаю юбилея Полтавской битвы императорскую фамилию. Глубокие впечатления от празднования соединились в душе юноши с приятными эмоциями от посещения малороссийской глубинки. Ещё долго и восторженно он будет вспоминать и Полтаву, и гоголевскую Диканьку.

В июле же состоялось и посещение Нового Иерусалима и Троице-Сергиевой Лавры, а затем снова — деревенская жизнь в Подмоскowie.

Следующий учебный год был последним в его жизни кадета. Его думы были заняты мечтами о поступлении в Лицей.

Несмотря на напряженный график занятий, в феврале и марте 1910 года он посещает «Исторические вечера», вновь устраиваемые в Павловске и проходившие в присутствии императора Николая II. Теперь их содержание составили страницы истории России времён Петра Великого, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны — в первом представлении; Екатерины II — во втором; тематика третьего спектакля — время Павла I и Александра I. Заключало «вечера» представление из эпохи Николая I<sup>1</sup>.

В «Дневнике» Константина Константиновича есть запись, помеченная «Царское Село», датированная 26 января 1910 года: «...в Алексан-

<sup>1</sup> Были представлены следующие произведения: первый спектакль — сцена из трагикомедии Феофана Прокоповича «Владимир», опера Джованни Баттиста Перголези «Служанка-госпожа», и 5-е действие драмы А. П. Сумарокова «Хорев»; вторая программа — трёхактная комедия «О, время!» — автор императрица Екатерина II, опера М. М. Соколовского по литературному сочинению А. О. Аблесимова «Мельник — колдун, обманщик и сват»; третий вариант — 3-е действие комедии В. В. Капниста «Ябеда», опера К. А. Кавоса «Иван Сушанин»; четвертое представление — два водевиля — «Много шуму из пустяков» А. А. Яблочкина и «Зало для стрижки волос, или Salon pour la coupe des cheveux» П. И. Григорьева (первого), а также опера «Аскольдова могила» А. Н. Верстовского. Режиссёром спектаклей выступил Н. Н. Арбатов (Архипов). Каждому представлению предшествовало слово: профессора Л. А. Сакетти (о музыке) и генерал-майора Н. Н. Ермолинского (об истории драматургии).

дровском дворце... в кабинете у Государя и докладывал... об Олеге, который по окончании курса кадет. корпуса хочет в течение 3-х лет слушать курс Лицея. Государь на это соизволил...»<sup>1</sup>.

В мае 1910 года в Полоцке проходили торжества, посвящённые святой Евфросинии, княгини Полоцкой. Официальным представителем императорской фамилии там был Константин Константинович. Князь Олег, как кадет Полоцкого корпуса, должен был участвовать в церемонии «перенесения мощей святой Евфросинии» в качестве знаменосца. В Полоцких торжествах принимали участие также родная тетушка князя — Королева эллинов (Греческая) Ольга Константиновна и великая княгиня Елизавета Федоровна. К тому же в это время князю предстоял экзамен в корпусе по «законоведению». Находившийся в Полоцке князь Олег 18 мая был зачислен в Лицей. Но о зачислении он узнает, только вернувшись в Петербург.

Лето 1910 года было посвящено знакомству со славянскими странами и Турцией. Князь Олег и его брат Игорь побывали в Константинополе, Софии, Старой Загоре, Казанлыке, Плевне, Белграде, Триесте, Цетинье, Дубровнике. Видели Шипку и гору Святого Николая, побережье Далмации. Получили не только исторические познания, но глубокие впечатления от непосредственного соприкосновения со свидетельствами недавнего героического прошлого русского воинства. Возвращались в Россию через Мюнхен и Берлин. На родине их тепло встретили в Осташеве и Домнихе.

Начало лицейского обучения совпало у князя, к сожалению, с болезнью. Занятия начались как домашние, в Павловске. К нему приезжали преподаватели научных предметов. Но ему разрешили заниматься верховой ездой, гимнастикой, фехтованием

Осень 1910—зима 1911 годов в Павловске были наполнены, кроме учебных занятий, литературой и музыкой. Продолжались «Субботники», в которых звучали не только Лермонтов, Жуковский, Грибоедов, Достоевский, Гончаров, Фет, Майков, Некрасов, но и Боратынский, Батюшков, Карамзин, Дельвиг, Одоевский, Салтыков-Щедрин, Тютчев, Кольцов, Никитин, Писемский, Помяловский, и даже Рылеев. «Отличительной особенностью "Субботников" было обязательное участие всех присутствующих в исполнении: никто ... не может быть только слушателем или, как говорили мои братья "трутнем"... Из всех нас только один Олег выступал и как чтец, и как пианист, и как мелодекламатор», — замечал брат Гавриил Константинович<sup>2</sup>.

В литературной части «Субботников» исполнялись музыкальные произведения русских композиторов. В музыкальном разделе отдавалось предпочтение зарубежным композиторам (хотя часто исполнялись

<sup>1</sup> Дневниковые записи, хранящиеся в ГАРФ (Москва), цит. по: Романов К. К. Дневники. Воспоминания. Стихи. Письма. — М.: Искусство. — 1998. — С. 323.

<sup>2</sup> Гавриил Константинович. Указ. соч., с. 88, 89.

русские романсы). Играли и пели произведения не только прославленных композиторов Баха, Моцарта, Шуберта, Шопена, но и Палестрину, Гретри, Брамса, Мейербергера, Бойто, Понкьелли, Леонкавалло и Масканини. Вспоминали, что любовь к музыке князя Олега «носила порой прямо трогательный характер».

Хорошо известно, что князь Олег ответственно относился к учебе. Апрель 1911 года был для него временем, загруженным подготовкой к «переходным экзаменам» в Лицее. Экзамены были сданы блестяще с «Похвальным листом» и высоким баллом. Любопытно, что как бы князь не был загружен учебой, он умел находить время для занятий театральным искусством. Весной 1911 года в Китайском театре в Царском Селе ставилась пьеса «Принцесса Греза» Эдмона Ростана, в которой он удачно сыграл роль моряка Бруно.

Летние каникулы Олега начались в имении Домниха, где он собирался отдохнуть от напряженных занятий и экзаменационной сессии, а также начал готовиться к сочинению работы «Князь Щербатов как публицист», посвящённой выдающемуся историку и философу М. М. Щербатову (1733–1790). Однако его летние планы вскоре изменились. Отец вызвал его для участия в общесемейной поездке по Волге — от Нижнего Новгорода до Царицына. Отдохнуть в деревне ему все же удалось, и, как всегда, с удовольствием. Большую часть лета он провел в Остаеве, где занимался музыкой и сочинительством, а также рисованием, в котором достиг определённых успехов. В конце лета он принял участие в церемонии бракосочетания брата Иоанна Константиновича с дочерью сербского короля Еленой Петровной.

И вновь учеба. «Прилежание Его Высочества было выше всякой похвалы. В соединении с отличными природными способностями оно обеспечивало вполне успешное освоение курса науки, который мы проходили», — отмечал профессор истории русского права Ф. В. Тарановский, преподававший князю. Отмечалось, что «Князь Олег Константинович жил всецело умственной и духовной жизнью»<sup>1</sup>.

19 октября 1911 года исполнилось 100 лет Императорскому Лицею. Но празднование было перенесено на начало 1912 года. Князь Олег испытывал чувство волнения и задался целью подготовить Лицею подарок к этой знаменательной дате. По его мнению, подарок должен был быть не столько оригинальным, сколько полезным и глубоким. Он остановился на желании напечатать факсимильное издание рукописей А. С. Пушкина, хранящихся в Лицее. И сделать это на основе самых современных тому времени полиграфических возможностей.

Известный пушкинист и писатель П. Е. Щеголев писал: «Ярким памятником интересов Князя служит то немногое, что он уже осуществил, тот труд, который остался нам от него и дает право с призна-

<sup>1</sup> Князь Олегъ. — Петроград: 1915. — С. 113.

тельным и скорбным чувством помянуть его имя... Издание рукописей Пушкина является молитвенной данью культу Пушкина. Своим возникновением и укреплением культ этот обязан и личным вкусам князя Олега Константиновича, и традициям его семьи, и той культурной атмосфере, среди которой вырастал молодой Князь»<sup>1</sup>.

К этой работе князь Олег привлекает выдающихся ученых Н. К. Кульмана, П. Е. Рейнбота, В. И. Саитова, П. Е. Щеголева, Р. Р. Голике. Он собирался продолжить работу над факсимильными изданиями рукописей А. С. Пушкина, однако война и смерть помешали реализовать этот грандиозный замысел.

Князь Гавриил Константинович, брат Олега, вспоминал: «В январе праздновалось столетие Императорского Александровского Лицея, и по этому случаю было много торжеств в самом Лицее и большой обед в Зимнем дворце. Государь обходил здание Лицея, и когда он пришёл в класс Олега, последний поднёс ему изданные им рукописи стихотворений Пушкина»<sup>2</sup>. Это было 7 января 1912 года. Затем князь Олег одарил членов императорской фамилии. Издание получили все работавшие над ним. Основная часть тиража поступила в Лицей.

После «Лицейского акта» князь уезжает весной 1912 года во Францию, где бывал до того ребенком. Поездка была и увлекательной, и познавательной. Музеи, театры, памятники истории, учебные заведения, государственные учреждения, даже — зоосад, — все занимало князя Олега.

Десяток городов, кроме Парижа, был осмотрен путешественниками. Неизгладимое впечатление произвел исторический памятник Мон Сен-Мишель. Доехав в конце концов до Биаррица, они продолжили путешествие, направившись в Испанию и Португалию. Необыкновенный восторг вызвала Альгамбра. Читая описания путешествия князя, поражаешься многообразием его впечатлений: «Мое впечатление прелестно. Я видел много разнообразного и интересного, начиная от домика простого шофера, у которого мы пили вино его собственного виноградника, и кончая самыми поразительными памятниками мавританского искусства»<sup>3</sup>.

После заграницы — вновь любимое Осташево: «...мы работали на жатках... много хожу на охоту». Определялись и жизненные планы: «Я поступаю в полк. Эта зима — последний год в Лицее»<sup>4</sup>. Не оставлял он и литературные опыты. Он пишет «Сцены из моей жизни» — интересные автобиографические впечатления, подводящие некоторые итоги уходящей юности.

15 ноября 1912 года князю Олегу исполнилось двадцать лет, наступило его совершеннолетие. Ему предстояло принимать важные жизнен-

<sup>1</sup> Князь Олегъ. — Петроград: 1915. — С. 115.

<sup>2</sup> Гавриил Константинович (Романов). В Мраморном дворце. — С. 103.

<sup>3</sup> Князь Олегъ. — Петроград: 1915. — С. 126.

<sup>4</sup> Там же, с. 135.

ные решения. Перед ним стоял выбор, и он его сделал: после окончания Лицея поступит в Гусарский полк. Зимой князь выедет в Вологодскую губернию, на медвежью охоту, но, будучи в Вологде, побывает в Древлехранилище, в храмах, осмотрит достопримечательности. Новогодние и Рождественские праздники 1913 года он проведет в Осташеве. Зимой будет много заниматься, готовиться к экзаменам, собирать материалы для выпускного лицейского сочинения «Феофан Прокопович как юрист». Майские экзамены подтвердили прилежание и успехи Князя.

Он был удостоен Серебряной медали, а сочинение получило «Пушкинскую медаль». Лицей был закончен. Олег Константинович «назначен в полк» — в лейб-гвардии Гусарский Его Величества — в чине корнета.

Лето было поделено на пребывание в Осташеве и Домнихе, и в Крыму (Кореиз и Харакс) у великих князей Георгия Михайловича и Петра Николаевича, где Олег не забывал о литературных трудах.

В октябре Олег Константинович вернулся в Павловск и явился в полк, для службы. Но появились осложнения со здоровьем. Осень и зиму он проводит в Осташеве и Домнихе, где пишет роман «Влияния», повесть «Ковылин», продолжает работу над биографией деда — великого князя Константина Николаевича. Много читает, особенно Пушкина и о Пушкине.

Посетив ненадолго Петербург, князь возвращается в Осташево. Здесь он думает об устройстве «просветительского учреждения вроде народного дома, в котором была бы библиотека, читальня; кроме того, агроном читал бы агрономию, врачи — популярную гигиену, санитарию, и медицину. Время от времени можно было бы устраивать спектакли...»<sup>1</sup>.

В конце июля 1914 года князь Олег получил задание от Императорского Палестинского православного общества и собирался отправиться в командировку в итальянский город Бари для решения неотложных задач, связанных с постройкой русского храма Святого Николая и странноприимного дома.

Но мирная жизнь заканчивалась. За патриотическим подъемом, вызванным началом войны и уверенностью в скорой победе, виднелась тень горя и неисчислимых бедствий. На дни шел счет жизни молодого офицера — князя Олега Константиновича.

25 июля в составе Гусарского Его Величества полка князь Олег — в 1-й действующей армии. 4 августа началось общее наступление в Восточной Пруссии. В сентябре войска вновь у германской границы. «Молитесь за нас! Да поможет Бог нашим войскам поскорее одержать победу!» — писал князь Олег с фронта близким<sup>2</sup>.

В действующую армию, на фронт отправились все братья Олега. В «Дневнике» отца — Константина Константиновича — отмечено: «Суббота, 2 августа» и далее запись, сделанная в Павловске: «Вечером про-

<sup>1</sup> Князь Олегъ. — Петроград: 1915. — С. 167.

<sup>2</sup> Там же, с. 173.

стились с Костей, последним из пятерых сыновей, отправившихся на войну. Он отбыл на другой день»<sup>1</sup>.

Князь Олег доблестно сражался. Но в Штаб армии в ночь с 27 на 28 сентября 1914 года поступило сообщение, что при «атаке на неприятельский разъезд ранен князь Олег Константинович»<sup>2</sup>.

Прибывшие в Вильно великий князь Константин Константинович и его супруга Елизавета Маврикиевна (в госпиталь Вильно был доставлен получивший ранение их сын) успели застать его в живых. Константин Константинович передал умирающему сыну Георгиевский крест, которого он был удостоен за геройский подвиг: «Олег узнал нас, у него было сияющее выражение. Я поднёс к его губам Георгиевский крест и вложил его ему в руку. Я... приколол Георгиевский крест к его рубашке»<sup>3</sup>. 29 сентября «в 8 часов 22 минуты вечера» князь Олег скончался.

Церковную панихиду, состоявшуюся в Константиновско-Михайловской (Романовской) церкви Вильно, возглавил архиепископ Тихон (Белавин), будущий Патриарх Московский. Траурный поезд из Вильно проследовал в Волоколамск, где 3 октября траурную процессию встретили королева Эллинов Ольга Константиновна, великая княгиня Елизавета Федоровна, великий князь Дмитрий Константинович, другие близкие, многочисленные депутации. Среди встречающих были крестьяне из окружающих сел и деревень.

Похороны состоялись в любимом князем Осташеве. На могиле был установлен деревянный крест. Позднее здесь был воздвигнут, выдержанный в традициях древней новгородско-псковской архитектуры, храм во имя Святого благоверного князя Олега Брянского, великого князя Игоря Черниговского и преподобного Серафима Саровского<sup>4</sup>.

Сохранилось много свидетельств и рассуждений о последних днях жизни князя Олега. Как самое красноречивое, мы выберем слова Анатолия Федоровича Кони, известного писателя, юриста, общественного деятеля: «...когда Россия позвала Князя Олега на брань, он отдал ей все силы и помышления, сознавая, что есть исторические минуты, когда ро-

<sup>1</sup> Романов К. К. Дневники. Воспоминания. Стихи. Письма. — М.: Искусство. — 1998. — С. 346.

<sup>2</sup> Князь Олегъ. — Петроград: 1915. — С. 174.

<sup>3</sup> Романов К. К. Дневники. — С. 351.

<sup>4</sup> Храм в Осташёве построен по проекту известного архитектора модерна М. М. Перетятковича (1872–1916), сочетавшего в своем творчестве также черты неоклассицизма, неоренессанса и «русского стиля». Он явился автором крупных сооружений в Санкт-Петербурге: дома Гвардейского экономического общества, Русского торгово-промышленного банка, Банка и Доходного дома Вавельберга (Невский пр., 7–9), храма Лурдской Богоматери (совм. с Л. Н. Бенуа), в Москве — здания магазина братьев Елисеевых. По его проекту была сооружена церковь во имя Святой равноапостольной великой Российской княгини Ольги в селе Выбуты Псковской губернии, на месте ее рождения. Председателем Комитета по сооружению этого храма была Ольга Константиновна, Королева Эллинов (Греческая), тетя Князя Олега.



дина, видоизменяя слова Писания, должна сказать: "да оставит человек отца и мать свою и прилепится ко мне!"» В его душе не мог не прозвучать завет «Старицы-пророчицы» молодому витязю из стихотворения замечательного русского поэта А. И. Одоевского:

Уберися честно ранами,  
Ты омойся алой кровию...

«он выполнил этот завет и принес в жертву родине свою столь много обещавшую, столь обильную духовными дарами жизнь»<sup>1</sup>.

В год своего шестнадцатилетия (31 декабря 1908 года) князь Олег Константинович написал стихотворение:

О, дай мне, Боже, вдохновенье,  
Поэта пламенную кровь.  
О, дай мне кротость и смиренность,  
Восторги, песни и любовь.  
О, дай мне смелый взгляд орлиный,  
Свободных песен соловья,  
О, дай полёт мне лебединый,  
Пророка вещие слова.

О, дай мне прежних мук забвенье  
И тихий, грустный, зимний сон,  
О, дай мне силу всепрощенья  
И лиры струн печальный звон.  
О, дай волнующую радость,  
Любовь всем сердцем, всей душой...  
Пошли мне ветреную младость,  
Пошли мне в старости покой.

Его юношеские желания и мечты не сбылись — он менее всего был ветренен в младости, а Господь даровал князю особую судьбу, не послав старости. Свой «Крестный путь» прошли три его родных брата. Сестра Татьяна, потеряв на Великой войне мужа — князя К. А. Багратион-Мухоманского, убитого в бою, — станет в конце концов игуменьей Елеонской обители в Иерусалиме. Тернист был и путь других членов его семьи.

<sup>1</sup> Князь Олегъ. — Петроград: 1915. — С. 189.

Евгений АНТАШКЕВИЧ

## Драгуны 1915 год

Роман

*Посвящается сыновьям, внукам и правнукам  
Михаила Тихоновича Анташкевича*

Конница такова, каков ее командир.  
*Кавалерийская истина*

### Январь

— Кавалерии не требуется снарядов! Коня снарядом не зарядишь, а если и зарядишь, так его надо развернуть к противнику.. сами понимаете каким местом!

— Согласны, граф, и выстрел получится смешным!..

— Особенно для противника! Поумирают со смеху, глядячи!..

Офицеры сдерживали улыбки.

— Однако, ваше сиятельство, снаряды для артиллерии недурно подержали бы нас, кавалеристов!

— Особенно, ежели прежде атаки, да солидным залпом!

— Или по встречной атаке противника...

— Ладно, господа, «или-или», это все пустое. На нет и суда нет. Снаряды не наша забота. Все свободны, и так уже задерживаемся на целый час... Война-войной, а обед...

Офицеры заулыбались.

— Надо поторопиться, господа, нам тоже негоже опаздывать к службе. Нижние чины?..

— Построены и ждут!

— Батюшка?

— Отец Илларион уже раздул кадило...

— Жалко, что ушли кремневые времена, сейчас бы поставить его рядом с казенной частью...

— Тогда это будет уже не Крещение Господне, ваше сиятельство...

— Для кого как, господа, для кого как! Вас, Аркадий Иванович, попрошу остаться! После службы господ офицеров прошу к обеду, а нам надо закончить бумаги! — сказал командир полка своему заместителю,

командиру 1-го эскадрона Аркадию Ивановичу Вяземскому. — Да! — Он обратился к полковому адъютанту: — Николай Николаевич, передайте интендантам мою просьбу..

— Слушаю, ваше сиятельство!

— ...Пусть заплатят старосте нужную сумму, и обеспечат для нас на неделю фураж, сколько еще простоим?..

— Будет исполнено!

— И вы, Василий Карлович, на службе долго не задерживайтесь, батюшка нас поймет!.. — обратился он к командиру 2-го эскадрона.

— А не поймет, так останется голодным, — с усмешкой ответил командир 2-го эскадрона Василий Карлович барон фон Мекк и вышел вслед за офицерами.

По случаю Крещения Господня полк был построен на выгоне польской деревни Могилевицы. Нижние чины и унтер-офицеры стояли без головных уборов. Напротив каждого эскадрона из больших чанов церковники поочередно наливали драгунам освященную воду. Во вчерашнем бою с немецкими уланами полк потерял четырнадцать человек убитыми, среди них корнет Меликов и вахмистр 2-го эскадрона Сомов, а также четверых тяжелоранеными. Сейчас во 2-м эскадроне вместо вахмистра Сомова отцу Иллариону прислуживал унтер-офицер Четвертков, относительно которого командир эскадрона ротмистр фон Мекк только что написал представление на повышение в чине. Убитых отец Илларион уже отпел, их тела в гробах лежали внутри обширной риги на северной окраине деревни.

— ...и отпусти нам грехи наши, якоже мы отпускаем... — пел отец Илларион против 2-го эскадрона, махал кадиллом и крестился на полковую хоругвь.

— ...и отпусти нам грехи наши, якоже мы... — вторили драгуны 2-го эскадрона. Они по одному подходили к чану и подставляли под серебряный ковшик фляжки, туда осторожно, тонкой струйкой, которой играл ветерок, наливал воду, чтобы не расплескать, унтер Четвертков. Он уже знал, что на него написано представление на повышение через чин, небывалый случай, и так старался, что было видно, как по лбу на брови и дальше по щекам течет пот.

Полк стоял в Могилевицах.

Две недели — неделю до Нового года и неделю после Нового года — на Северо-Западном фронте не было больших событий, войска двигались, маневрировали, вчерашняя стычка, казалось, была случайной, когда на опушке леса в нескольких верстах западнее деревни, будучи в охранении, 2-й эскадрон столкнулся с неприятельской разведкой — полуэскадронам германских улан. Эскадрон спешился и залег, германцы не разобрались и развернутым строем по снегу пошли в атаку, их

лошади увязли, и немцы были расстреляны. А несколькими минутами позже обширную поляну перед опушкой, где еще вчера стояли на отдыхе несколько пехотных батальонов, накрыла германская тяжелая артиллерия, поэтому, когда корнет Меликов и вахмистр Сомов пошли осматривать поле боя, на эскадрон упали четыре бомбы — немецкая гаубичная батарея сделала залп. Несмотря на уничтожение вражеской разведки, такие потери были большой неприятностью для полка. Еще было удивительно, зачем немцы стреляли по уже опустевшему полю. В пылу неожиданного боя никто не заметил, что над полем кружил немецкий аэроплан.

Унтер-офицера Четвертакова в эскадроне звали «Тайга». Это было оправданно, потому что он единственный был из глухой деревни на берегу далекого — у черта на куличках Байкала, о котором сам Четвертков говорил с уважением и называл его «морем» и «батюшкой», а его сослуживцы только слышали, да и то не все. С тем, что он из «глухой деревни» он был не согласен, до его деревни под названием Лиственничная или Листвянка уже дотянулась Великая Сибирская железная дорога, или по старинке «чугунка», и он с гордостью рассказывал, как ездил на паровозе. Однако для его сослуживцев паровоз был не новостью — эскадрон, как и почти весь полк, был набран из тверичей, родившихся и живших по обочинам первой российской железной дороги, построенной аж полвека назад императором Николаем I. Поэтому «Тайгой» они прозвали Кешку Четвертакова уверенно и нисколько не сомневались в своей правоте. И уважали его, как «первеющего храбреца» и умелого стрелка.

Кешка наливал в очередную фляжку, когда раздалась команда «Глаза на-право!», и у хоругви против 1-го эскадрона слез с белого арабчика командир полка полковник Константин Федорович граф Рóзен. Он перекрестился на хоругвь и повернулся к строю, вслед за ним подошел командир 1-го эскадрона подполковник Аркадий Иванович Вяземский.

\* \* \*

— Да, господа, Крещение, а морозов... — полковник поджал губы. — Поручик, посмотрите, сколько сейчас, только на улице, у вас имеется термометр.

Поручик Рейнгардт, командир 1-го взвода 2-го эскадрона, накинул на плечи шинель и вышел.

— А что, отец Илларион, не оправдывается примета о крещенских морозах? — Полковник сидел в центре большого стола, рядом с ним стояла восьмилинейная немецкая керосиновая лампа с начищенным медным отражателем, поэтому лицо полковника было освещено наполовину. Яркие лучи от лампы заливали большую светелку.

Отец Илларион промолчал, и замолчали тихо беседовавшие между собой офицеры, сидевшие вокруг стола и на лавках вдоль стен. Все смо-

трели на отца Иллариона. «Я же священник, а не климатолог, что я им скажу?» — подумал отец Илларион и ответил:

— Так это, господа, по нашему календарю, по православному — Крещение, а по-ихнему, григорианскому, так оно уж и прошло... — он не закончил, отворилась дверь, и с градусником вернулся поручик Рейнгардт.

— Минус шесть по Реомюру, господа, я воткнул градусник прямо в снег.

Офицеры зашевелились, сведения, которые принес поручик, были, конечно, важные, но сказать на это было нечего. Они стали двигаться на лавках усаживаясь еще удобнее, хотя они производили эти движения регулярно последние минут двадцать в ожидании обеда. В других полках, где раньше служили некоторые офицеры, обедали у командира полка, в полковом собрании, однако здесь существовало другое правило. Граф Розен начал службу во время русско-турецкой войны, и в его полку, куда он поступил корнетом, командир был старый и грузный, чем-то напоминавший фельдмаршала Кутузова, но ни разу не раненый в голову. По старости лет он не любил шума и суеты и завел правило, что офицеры обедают у командира 1-го эскадрона, а сам всегда занимал самую неказистую и неприметную избу на любой стоянке в любом походе. Розен изменил этому правилу только в одном — в его полку обедали у командира 2-го эскадрона. В октябре прошлого года, перед самой Лодзинской операцией, прибывший в полк на 1-й эскадрон из кавалергардов ротмистр гвардии Аркадий Иванович Вяземский намекнул, что первое время ему хотелось бы быть гостем и совсем никак — хозяином. Командир 2-го эскадрона ротмистр фон Мекк был рад такому решению.

— Ну вот, — сказал Розен, — я же говорил, что Крещение, а никаких крещенских морозов. — Он будто бы не расслышал того, что сказал отец Илларион. — Клешня! — позвал Розен.

Из сеней высунулось лицо денщика.

— Что там с обедом, наконец! Заставляете ждать, сукины дети!

— Сию минуту, ваше высокоблагородие, первое уже почти готово, говядинка жестковата, должна провариться, а закуски через секунду будут поданы.

— И вот еще что, — сказал ему полковник, — пусть приведут пленного! Вы не против, господа?

Офицеры закивали, они были не против, это был первый пленный их полка. До этого тоже были пленные, много, но полк наступал, и пленные оставались в тылу. Сейчас полк стоял.

— А то негоже, господа, как я думаю, хотя и унтер-офицер, полковой писарь, мы же не допрашивать его будем, в конце концов... А стакан пунша ему налить! Пусть даже не крещенский мороз. Чтобы до утра не замерз.

— Я уже дал команду, господин полковник. — Это сказал вошедший за Клешней командир 1-го эскадрона Вяземский. — Сейчас его приведут, он со вчерашнего дня пытается что-то сказать.

Клешня согнулся, он был одет в папаху, солдатскую рубаху и штаны, на погонах был витой кант добровольца, однако по повадке, ни дать ни взять половой из какого-нибудь московского или тверского кабака.

— Только полотенца на локте не хватает, — шепнул один офицер другому, именно шепнул, хотя все офицеры полка держались одного мнения, и не зря — нижний чин Сашка Павлинов был москвич по рождению и действительно подавальщик из трактира Тестова, что на углу площадей Театральной и Воскресенской, в ста шагах от Красной площади. По своему охотному желанию он был взят на службу в драгуны, но был выписан из строя, потому что или ростом оказался слишком высок или имел неправильное строение скелета и сбил холки трем строевым лошадям. Писарь донес командиру, что Павлинов по этому поводу горюет и что он московский половой, и полковник предложил ему место денщика. Это было вовремя, потому что прежнего денщика ранило шальной пулей, и он был отправлен на лечение в тыл. Прослужив три дня у полковника, Сашка ощутил себя, хотя и не героем, каким хотел стать, но на месте. Ему было стыдно за испорченных боевых коней, но и собственный копчик тоже было жалко.

Для похорон погибших во вчерашнем бою гробы с их телами вынесли из риги, и 2-й эскадрон занял ее. Пленному немцу отвели угол. До взводного Четвертакова довели приказ доставить пленного к командиру. Четвертаков подозвал ближнего драгуна и дослал патрон в патронник. Немец сидел в своем углу, он сверху накинул шинель, а под себя сгреб сено. «Ох, и зажрут его», — подумал Четвертаков про пленного немца и блох, которые наверняка уже нацеливались на свою жертву.

— Вставай, немчур, иди за мной! — махнул он рукой немцу и повернулся к воротам риги.

— Ja, gut, natürlich! Marsch-Marsch! — обрадовался немец, вскочил, стряхнул сено и стал надевать в рукава шинель. Немец был высокий, крепкий, с ясными глазами и чистым лицом, румяным, как у девицы с мороза. — Ich möchte Ihnen sagen, Ihr Kommandant...

Четвертаков оглянулся на немца, а потом посмотрел на шедшего рядом драгуна и спросил:

— Понимаешь, чего он балабонит?

Драгун хмыкнул и сплюнул:

— Куды нам?

— Вот и я думаю! — Четвертаков повернулся к немцу. — Погодь, не балабонь, ща доставлю тебя, куда надо, там все и обскажешь!

— Ja, gut! Marsch-Marsch! — сообщил немец и стал похлопывать себя по плечам.

— У-у! Немчур! — притворно замахнулся Четвертаков, но немец не испугался и не обиделся.

— Marsch-Marsch! — повторял он нетерпеливо, и улыбаясь. — Kommandant!

А Четвертаков и не хотел его обижать, и пугать не хотел. Он понимал, что идет война. Конечно, его друга Сомова жалко, но у каждого свое счастье, или несчастье, а немца обижать нельзя, он пленный. С другим немцем столкнулся Четвертаков под Гумбинненом и под Лодзью, но тот немец был вооруженный, и его, немца, было много. За эти столкновения Иннокентий Четвертаков первым в полку получил солдатскую серебряную Георгиевскую медаль.

Около избы командира 2-го эскадрона он увидел Клешню.

— Доложи их высокоблагородию, што пленный доставлен.

Клешня кивнул, ушел в дом, через секунду выглянул и махнул немцу.

— Ну вот! — сказал Четвертаков сопровождавшему драгуну. — Сдали с рук, можно иттить вечерять. А?

— Так точно, господин унтер-офицер! — ответил драгун.

Клешня препроводил пленного:

— Битте-дритте, хер!

— Was?

— Нас, нас! — Клешня шагнул в сторону и легонько подтолкнул немца, тот переступил порог и оказался в ярко освещенной светелке, перед офицерами. Он растерялся и замер.

— Кто вы? Как вас зовут? — услышал он от того места, где сияла лампа. Он посмотрел туда и сощурился, вопрос был задан по-немецки.

— Писарь штаба 8-го уланского полка, унтер-офицер Людвиг Иоахим Шнайдерман, я вас не вижу из-за яркого света, господин...

— Полковник!

— Господин полковник...

— У нас сегодня праздник Крещения, господин унтер-офицер, не откажетесь выпить стакан пунша?

— Премного благодарен, господин полковник, но я хочу вам сказать, что... — унтер-офицер увидел, что полковник, передвинувший лампу и теперь сидевший при обычном свете, хотел его перебить, но рядом с ним сидел другой офицер, тот положил ладонь на локоть полковника, и полковник удивленно посмотрел на него. Офицер что-то сказал полковнику, тот, недовольный, заерзал и откинулся на стенку светелки.

— Мы не допрашиваем пленных, но если вы хотите сами что-то сказать, мы вас слушаем, — сказал офицер, на плечах которого были погоны с золотым шитьем, двумя продольными красными полосками и тремя маленькими звездочками. Его сосед, назвавшийся полковником, тоже имел золотые погоны с двумя полосками, но без звездочек.

«Значит, этот, что, подполковник?» — подумал пленный. — Господин...

— Подполковник.

— Господин подполковник, у меня есть, что сказать... Нам всем грозит большая опасность.

— Нам всем грозит большая опасность, потому что мы все на войне, — произнес полковник, в его голосе звучало неудовольствие и раздражение.

Пленный на секунду задумался, ему было понятно, что имел в виду полковник, однако он проявил упорство.

— Могу я попросить у вас карту или, хотя бы, чистый лист бумаги?

Пленному не ответили.

— Я пошел в армию добровольцем со второго курса естественного факультета Кенигсбергского университета...

— Сейчас вам дадут чистый лист бумаги... — сказал подполковник, и пленный тут же его спросил:

— А который сейчас час?

После того, как прозвучал этот вопрос, снова недовольным голосом заговорил полковник по-русски, и пленный понял только, что тот произнес: «генерал Шлиффен».

«Ага, значит, он думает, что я сумасшедший и выставляю себя в качестве начальника немецкого генерального штаба Шлиффена, но он не прав, сейчас начальником — генерал Мольтке!» У пленного было время размышлять, потому что бумагу и перо с чернильницей принесли и положили перед ним только что.

— Господин полковник! — обратился пленный. — Вот это деревня, в которой квартирует ваш полк, об этом донесла наша аэроразведка. — Пленный быстрым движением нарисовал на бумаге угловатую геометрическую фигуру. — В шести километрах отсюда поставили нашу мортирную батарею, примерно вот здесь, тут железная дорога, — он ткнул пером в край листа. — Сегодня будет обстреляна деревня, эта, — он показал пальцем в пол, — а завтра, если будет ясная погода, сюда прилетят аэропланы посмотреть на точность стрельбы. Стрельбу должны начать через полтора часа.

Офицеры не все понимали по-немецки, понимали полковник, подполковник, ротмистр фон Мекк и поручик Рейнгардт. Остальные переглядывались, когда немец говорил, и внимательно слушали, когда звучал перевод.

— Он лазутчик, господа! — раздраженно произнес полковник Розен, когда пленный закончил. — Он послан, господа, чтобы заставить нас покинуть эту деревню и выйти в голое поле, господа! Вот там нас и накроют, господа!

Пленный слушал раздраженную речь полковника, но при этом он слышал молчание офицеров. Первым заговорил подполковник:

— Вы из этой батареи?

— Никак нет, батарею перевели с Западного фронта, откуда-то из Бельгии...

— И вы — писарь уланского полка...

— Надоело сидеть в штабе... — не дал ему договорить пленный.



— Понятно. Захотелось повоевать... А откуда вам известно про бомбардировку?

— Я видел бумаги, а вчера над вами летал аэроплан, он производил разведку, — пленный увидел, как стали переглядываться офицеры, и, стараясь, чтобы не было заметно, кивали друг другу.

— Чем вы ручаетесь за свои слова? — спросил подполковник.

— Все очень просто, господин подполковник, — ответил пленный, — давайте останемся здесь все вместе...

Снова по-русски заговорил полковник:

— И если через полтора часа не начнут стрелять германские пушки, я отдам приказ его расстрелять. Согласны, господа?

Офицеры закивали, пленный не понял ничего, кроме слова «германские», но понял смысл сказанного и кивнул, выражая свое согласие.

— Он говорит, что согласен, он вас понял, господин полковник, — обратился Вяземский к Розену.

— Что будем делать, господа? — обратился к офицерам полковник Розен.

— Во-первых, думаю, надо предупредить деревенского ксендза, пусть уведет население, а во-вторых, надо быть готовыми покинуть деревню, если обстрел начнется, — ответил за всех Вяземский.

— И расстрелять этого сук-кина сына ровно через полтора часа, если обстрела не будет! — раздраженно пробормотал Розен.

— Разрешите? — спросил пленный.

— Слушаем вас, — ответил Вяземский.

— Вчера эта батарея уже вела пристрелку, и ваш эскадрон попал под ее огонь, один залп, четыре выстрела, я там был...

Когда Вяземский переводил, офицеры хранили молчание.

— Я, — сказал пленный, — обычный немец, доброволец германской армии и готов умереть в бою от пули противника, врага, но не от своей. Это было бы глупо.

— А должен был бы радоваться, — прошептал поручик Рейнгардт командиру 3-го эскадрона ротмистру Дроку, — что не выдал планов. Сам погиб, но при этом позволил уничтожить тыл противника и целый драгунский полк. Все же его надо расстрелять, даже если он говорит правду. Дрок посмотрел на Рейнгардта, усмехнулся и промолчал.

— Сашка! — крикнул полковник. Вошел Клешня. — Налей ему пунша, дай закуски и выведи отсюда, только недалеко.

— Вас сейчас накормят, — перевел пленному Вяземский.

Клешня взял пленного за локоть и вывел в сени, там усадил в самом дальнем углу, налил стакан пунша и пододвинул тарелку с колбасой.

— Давай, немчура, подкрепиись! — сказал он и с другими денщиками стал переносить в светелку чугунки.

Офицеры смотрели, как Клешня накрывает на стол. Это длилось не очень долго, всего лишь несколько минут, но они, как замороженные,

смотрели, как Клешня расставляет посуду, раскладывает холодные закуски, протирает и кладет на стол приборы. Когда он выходил за следующим блюдом, офицеры переглядывались и строили восхищенные мины. Клешня поражал всех своими движениями, и никто не мог их разгадать: когда он что-то клал на стол, то впечатление было обратное, что он не кладет, то есть, поднимает, переносит и оставляет, а наоборот, что он скрадывает и, казалось, что вилка, нож или салфетка должны исчезнуть в его шевелящихся пальцах, а они вместо этого, оказывались на скатерти. Как это получалось, никто не понимал. Сашка тоже этого не понимал, он ничего специально не придумывал, но ему нравилось, как танцуют и завораживают его пальцы, осторожно и хитро. Старший приказчик у Тестова был очень расстроен и рассержен, когда узнал, что Сашка Павлинов подал прошение о вступлении в армию охотником-добровольцем.

— Ну что, господа, с Праздником! — провозгласил полковник Розен, когда стол был накрыт. — Отец Илларион, начинайте.

Отец Илларион прочитал молитву, и офицеры приступили к обеду.

— Что вы думаете обо всем этом, Аркадий Иванович? — спросил Розен.

— Я думаю, что от каждого свинства, надо бы научиться оторвать свой кусок ветчины. Это, Константин Федорович, — такая восточная мудрость.

— Не темните, Аркадий Иванович.

— Да я и не темню, ваше сиятельство, — промолвил Вяземский. — Конечно, этот студент заслужил расстрела за такое предательство, однако война, ваше сиятельство, как мы уже поняли, далеко потеряла оттенок рыцарства, с которым мы начинали в августе под Гумбинненом. Это уже другая война. Вспомните, как пулеметы выкашивают кавалерию, как на сенокосе... сотнями.

Розен стал печально кивать.

— Разве белый генерал мог такое предположить? — продолжал Вяземский.

— Да... Михал Дмитрич... хотя он был светлая голова, думаю, он быстро расставил бы все на свои места.

— Согласен, потому генерала Скобелева так все ценили, не за одну только храбрость... — Вяземский был вынужден прерваться, потому что открылась дверь, и в светелку вошел адъютант.

— Прошу, поручик! Мы уже обедаем. У вас новости?

— Мимо совершает променад рота пластунов, просятя рядом на ночлег, не будет ли каких распоряжений, господин полковник?

Вяземский вскинул глаза и произнес:

— Это очень кстати, Константин Федорович!

Розен посмотрел на Вяземского.

— Это очень кстати, Константин Федорович! — повторил Вяземский.

— Да, да, конечно, пусть у нас переночуют, а заодно, покушают.  
— Слушаю, господин полковник, разрешите выполнять?  
— Выполняйте, голубчик. — Розен махнул рукой и посмотрел на подполковника, у того светилось лицо. — Однако вы что-то задумали, батенька, ну-ка разъясните!

Деревенский ксендз отказался выводить односельчан вместе с полком в голое поле.

— Не! Мы пуйджьемы до лясу, — сказал он и пояснил: — Там каждая роджина мае стоделе и там ест мейсце для быдла, пан полковник.

— Как знаете, господин ксендз, — землянки в лесу, это хорошо, тем более у каждой семьи, но тяжелая артиллерия дает большой разлет, снаряды могут попасть в лес, это опасно, — сказал Вяземский.

Ксендз подумал и ответил:

— Трафи, не трафи, то тылько бог вье, а ежели быдло змарзнье, то бенджье бардзо зло.

— Ну, как знаете! «Повезет, не повезет», — повторил он слова ксендза. — Вам нужна помощь?

— Помоц потшебна. Гды ващи жолнеже зачнон алярмовачь, нех од разу будзон хлопув, а юж далей я сам с тым порадыэ. Война вшистких нас вщи научила ще зберачь в крутким часе.

— Что в итоге? — спросил Розен.

— Надо, чтобы наши солдаты поднимали по тревоге сельских жителей, там, где стоят. — Довел смысл сказанного Вяземский и спросил: — Объявлять тревогу?

— Объявляйте! И пригласите отца Иллариона.

Отец Илларион отказался уходить с полком и настоял на том, что он останется в селе с незахороненными погибшими во вчерашнем бою. Ни на какие уговоры он не поддался и наотрез отказался от охраны.

— Кого охранять, ваше сиятельство?

Розен был ответом батюшки очень раздосадован, но и рисковать полком не мог.

\* \* \*

Сашка Клешня приторачивал к седлу тяжеленое хозяйство — два огромных казачьих вьюка, шитых из воловьей кожи, в них помещался стол полковника. К другому седлу уже висели притороченные еще два вьюка с гардеробом полковника. Был еще третий торок с такими же вьюками, в них находился пищевой припас полковника и его винный запас. Первая и третья пара вьюков — самая ценная, и в случае утраты Сашка мог пострадать. Сыромятные торока толстые, грубые, пальцы у Сашки, несмотря на прозвище Клешня, тонкие, нежные, и он еле справлялся. Пальцам было холодно и неважно, не по силам, однако помощи ждать было не от кого, и он терпел. Команду собираться по тревоге полковник

отдал еще во время обеда — полку выдвинуться в ночь, и дано на это полчаса. Через час полк должен был находиться в версте от деревни.

Сашка вязал узлы, терпел боль, но умел и оглянуться, и каждый раз, когда оглядывался, видел, что по главной длинной улице Могилевицы движутся в противоположные стороны два потока: один верхом — драгуны, — и они двигались на северо-восток; а другой — пешком, на северо-запад, ведя на веревках «быдло». «Быдло» вели «хлопы» с «роджинами», на подворьях польских земледельцев было много крупного и мелкого скота. Только что вывез свое хозяйство соседствовавший с избой полковника Розена крепкий крестьянин Петша. Он одного за другим вывел трех коней, двух волов, бычка, шесть буренок и около десятка овец. Птицу Петша оставил. Петше помогала его «жона» Марыся и старшая «цурка» Барбара — «Варварушка», как на русский манер переименовал ее Сашка. Они несколько раз уже успели переглянуться через невысокий тын, один раз Сашка даже подмигнул, а «Варварушка» не отвернулась. Осталось угоститься на двоих семечками и завести разговор.

«Эх, твою мать, — с досадой думал Сашка, — только-только переглядки начались, и вот тебе — тревога, и до семечек не дошло!»

Ветер согнал на сторону тучи, и над широким заснеженным полем повисла яркая луна.

«Будто электричество на Невском!» — подумал Вяземский.

«Аки факел подвесили!» — поглядывал на луну Четвертаков.

— Не заблудишься, Четвертаков? — спросил Вяземский.

— Как же, ваше высокоблагородие, скажете тоже. Коли я заблужусь, так мне в тайгу, домой-то, и вернуться будет нельзя, хозяин уважать не будет.

— А то, что днем там были, ничего?

— А мне все едино, што день, што ночь, вона, как луна вся вызверилась на небе, зараза!

Ровно под луной чернела деревня, а с северо-запада острым углом в деревню упирался непроглядный лес.

— Марш-марш! — скомандовал Вяземский, тронул поводья и его чистокровная пошла махать по наезженной санями между полями дороге.

«Экий он, все-таки! — глядя в спину Вяземскому, думал Четвертаков. — Десятиаршинный, недаром, што кавалергард!» Кешка видел таких на афишах в Иркутске и в Москве, только в сам цирк не попал, однако после увиденного и не надо было, а то вдруг там хуже?

Вяземский первый выехал на большую, залитую лунным светом поляну, куда вчера стреляла германская артиллерия, и подозвал командира роты пластунов. Четвертаков не отставал.

В лунном свете ротный и его конь представлялись, как нечто запа nbrатское: конь шел вперед, но голову повернул вбок, а ротный, хотя и сидел в седле, а смотрелось так, как будто бы он балансирует на под-

локотнике кресла; и было совсем непонятно, как кубанка ротного могла держаться на его правом ухе, потому что над левым ухом ротного бушевал вихревой чуб.

— Ты погляди, а немчура своих так и не подобрала, — оглядывая поляну, промолвил Кешка Четвертаков. Ротный глянул на него и удивился, что унтер начинает разговор «поперед» своего командира. Вяземский тоже посмотрел на Четвертакова, как тот понял, с укоризной. Он прикусил язык. Вяземский достал часы.

— Через пять минут, — сказал Вяземский.

«Ежли немец не соврал!» — подумал Четвертаков.

После обеда и совещания у Розена, получив разрешение выполнить свой план, подполковник Вяземский набрал отряд добровольцев из состава полка и пригласил пластунов. Отдельно у ротмистра фон Мекка он испросил Четвертакова, как опытного следопыта и участника вчерашнего боя с прусскими уланами. Всего в отряде Вяземского получилось шестьдесят сабель, в числе которых было двадцать пластунов.

— Четыре минуты! — глядя на хронометр, промолвил Вяземский.

«Опять-таки, ежли немец не соврал!» — думал Четвертаков.

— Три! Две! Одна!

Но только через семь минут вздрогнули кони, они первыми почувствовали, как под их ногами шевельнулась земля. Еще через минуту отряд услышал звук артиллерийского залпа.

Вяземский подумал: «Опаздываю!» — и посмотрел на Четвертакова.

— Тама! — махнул рукой Четвертаков на северо-запад и дал коню шпоры. Теперь он скакал впереди отряда.

По хорошим польским зимним дорогам отряд Вяземского скакал по три всадника в ряд. Луна светила ярко, снег отражал в полную силу, свет впивывался только в черные роци и перелески.

Первые три всадника шли стремя в стремя.

Четвертаков завидовал своей лошади, у нее были большие уши, он сейчас тоже хотел иметь такие большие уши, чтобы не ошибиться и не сбиться с направления.

Ротный пластунов тоже слушал, ему было важно определять расстояние до батареи и вовремя остановиться.

Вяземский шел между ними.

Четвертаков и ротный посмотрели на небо одновременно. С запада на луну напоздали сплошные тучи и вот-вот должны были луну закрыть. На тучах снизу вспыхивали отсветы пушечных выстрелов.

«Теперь не ошибусь!» — удовлетворенно подумал Четвертаков.

«Везет, с-сукину сыну!» — подумал про Четвертакова ротный.

«Молодцы, ребята, хорошо свое дело знают!» — подумал про обоих Вяземский и стал вспоминать оперативную карту. По карте за деревней Бяла Мазовецка, откуда стреляла крупнокалиберная гаубичная батарея,

по ее окраине проходила железная дорога. Для немецких артиллеристов это было удобно: отстрелялись и передислоцировались. Перед батареей должно в нескольких сотнях саженей сидеть передовое охранение, а перед ним дозоры разведки, значит?..

— Верста! — крикнул ротный. — Осталася верста, вашискородие!

Вяземский пришпорил Бэллу и теперь возглавлял скачку. Всего немцы дали одиннадцать залпов. Вяземский засек, между залпами проходило до двух минут. Сейчас после залпа прошло уже больше трех минут, и получалось, что этот залп последний. Если так, то весь план — подобраться как можно ближе к батарее, пустить вперед пластунов, они вырежут разведку и охранение, а потом наскочить на батарею и забросать ее гранатами, — может сорваться.

— За мной! По два в ряд!

Подполковник Вяземский пустился через поле, теперь он и сам знал, где находится немецкая артиллерия. Облака закрыли луну, светлым осталось заснеженное поле, землю подморозило, наст был неглубокий, здесь было широко, и снег сдувало ветром. Вяземский помнил, где на облаках отражались сполохи от выстрелов и правил Бэллу, о том, что его Бэлла могла споткнуться, не думал.

«Сейчас главное — не осторожничать!» — думал он, слушал гул скачущих сзади драгун и смотрел вперед. Увидел вспышки, это стреляли пулеметы, до них осталось саженей сто пятьдесят. Он глянул на ротного и на Четвертакова, те скакали на полкорпуса сзади и за ними скакали пять с лишним десятков всадников. Немецким пулеметчикам было трудно попасть в узкую, только угадывающуюся на поле под плотным черным небом цель. Вяземский показал ротному на пулеметы и замедлил ход. Тот привстал в стремях, повернулся и козырнул, он обогнал подполковника, и пластуны потянулись за ним. Вяземский видел, как двадцать пластунов пополам разделились на две стороны, проскакали еще саженей пятьдесят, соскочили с коней, повалили их и сами исчезли в снегу. Он услышал, как по ним стреляют, вспышек стало много, и он снова пришпорил Бэллу.

«Пройти охранение как шилом!» — стучала мысль.

«Проскочить охранение!» — понимал действия командира эскадрона Четвертаков и, скрываясь от свистевших пуль, склонился к шее Красотки. Иногда он называл ее Чесотка, потому что кобыла была с норовом.

Охранение оказалось в две линии, первыми лежали стрелки, за ними закопались две пулеметные точки, а за спиной пулеметчиков — железная дорога.

«Значит, батарея за железной дорогой, значит, надо проскочить. Хорошо, что Польша такая ровная и нет высоких насыпей». Однако через рельсы и по шпалам пришлось переходить шагом. Батарея расположилась на скотном выгоне Бялы Мазовецкой, растянувшись вдоль железнодорожного полотна. На ровной площадке еще пока стояли четыре

мортиры и вокруг них суетились тридцать или сорок человек артиллерийской прислуги и охрана, ждали платформы.

— Руби! — крикнул Вяземский и пошел на дальнее слева орудие.

На него стал набегать немец с длинной винтовкой, Вяземский застрелил его из револьвера. Второго немца он зарубил шашкой, третьего сшибла Бэлла, несколько человек побежали в разные стороны, и гоняться за ними было некогда, он только двоих застрелил, остановился около орудия, к нему присоединился вахмистры Жамин, Четвертаков и еще несколько драгун его эскадрона, они стреляли по бегавшим немцам и ждали. Через несколько минут к ним подскочил эскадронный кузнец, он открыл замок орудия и стал бить по нему молотком, потом молотком же сбил панораму. Стволы орудий уже были в горизонтальном походном положении, и в ствол последнего, четвертого, Четвертаков для верности заложил ручную гранату, она взорвалась, получилось как выстрел и им оторвало полголовы у драгуна Ивова. Вяземский это видел, а Четвертаков уже нет.

«Ну что с ним сделать после этого, с варнаком сибирским?» — подумал Вяземский, и только мысленно развел руками, он знал, что ему на это сказал бы каждый солдат, мол, жаль убиенного, однако и самому по сторонам «глядеть надобно». Кроме Вяземского свидетелем этого несчастного случая были кузнец и вахмистр 1-го эскадрона Жамин.

Возвращаясь, отряд перешел через железную дорогу, и к нему присоединился ротный со своими пластунами.

— Потери? — спросил Вяземский.

— Трое наповал и две лошади.

— И у нас трое. Раненых пока не считали.

— Можете сколь-нибудь ваших посадить по двое?

Казаки своих убитых не оставляли на поле боя, это было известно. Вяземский попросил подобрать и его драгун, подозвал Жамин и распорядился насчет предоставления казакам нужного количества лошадей.

Версты за две Вяземский понял, что зарево на горизонте это горящая Могилевица. А когда подъехали ближе, стало видно, что пылает и лес.

Отряду понадобился час, чтобы средней рысью вернуться к полку. Полк стоял в версте от разбитой Могилевицы в состоянии растерянности. Розен послал к лесу шестой эскадрон, но драгуны не смогли войти в пожарище, они только подобрали с три десятка воющих обгоревших «хлопув» и «жонок», несколько человек умерли тут же на снегу, по полю бегали обожженные коровы и догорали живыми факелами длинношерстные овцы. Такого разорения никто из драгун еще не видел. 3-й эскадрон Розен направил в пылающую деревню на розыски отца Иллариона, того нашли и вывели седого. Унтер-офицер Людвиг Иоахим Шнайдерман был расстрелян. Из всех офицеров об этом сожалел только Аркадий Иванович Вяземский.

Обозные растянули большую палатку. Она на походе служила полковым офицерским собранием. Клешня и денщики накрывали завтрак, а Розен и Вяземский обсуждали итоги ночного дела. Вот-вот должны были собраться офицеры.

— Что скажете, Аркадий Иванович?

— Немного, Константин Федорович, только думаю, что немцы накапливают силы для большого дела.

— Почему вы так думаете?

— Во-первых, потому что они ставят тяжелую артиллерию почти что на одну линию с полевой, то есть не в тылу, а почти на передовой. Во-вторых, охранение батареи не закопалось в землю, они отрыли неглубокие окопы, пулеметные точки я в данном случае в расчет не беру, они всегда оборудуются примерно одинаково, а кроме этого...

Вяземский не успел договорить — и он, и Розен услышали странный шум, напоминающий рокот мотора, только мотор рокотал где-то наверху и очень громко. В палатку заглянул вестовой:

— Какие будут указания, ваше высокоблагородие?

— А что это? — удивленно спросил его Розен.

— Не могу знать, рокочет, — отрапортовал вестовой. — Только сначала было совсем тихо, а вдруг сразу громко... и над головой.

— Аэроплан, господин полковник, — тихо произнес Вяземский, — как вчера пленный и говорил, прилетели смотреть точность попадания.

— Давайте выйдем, подполковник, — Розен накиннул шинель. — А то, как-то, знаете, неуютно я себя чувствую... над головой летают, а мы даже не видим.

Вяземский с Розеном вышли на воздух и стали смотреть.

Сожженная Могилевица находилась в версте. Между северо-восточной окраиной и ближним к ней 1-м эскадронном лежала мочажина. Ночью, не разобравшись, туда сунулись верхами и чуть не утопили коней, кони провалились в накрывший болотину снег по брюхо, и это было, видимо, не самое глубокое место. В деревне сгорело все, только торчал костел, каменные трубы изб и дом ксендза. Не сгорела рига, ее обошли и зажигательные снаряды, и поднявшее тягу до самого неба пламя, охватившее деревню. Сейчас от пепелища поднимался белесый дым, он смешивался с низкими облаками, и если бы не запах свежего пожара с привкусом чего-то отвратительного, можно было подумать, что на землю лег плотный туман и он застилает всю округу. Что рокотало в небе над облаками, было не видно.

— А что же он летает, если ничего не видно? — спросил Розен, задрал голову.

— Наверное, надеется, что в облаках могут быть окна, прогалы, — не слишком уверенно ответил Вяземский, он тоже смотрел вверх.

Полковник хмыкнул:



— А столько дыма они не предполагали? Тут больше дыма, чем...

Он не договорил, в мочажине поднялся снежно-водяной столб, в основании которого была черная земля, и через секунду раздался грохот.

— Он еще и бомбы кидает! — взвился Розен. — Черт знает, что это за война такая, раньше, хотя бы небо нам ничем не угрожало, только божьим наказанием, дождем или снегом! Что же это за вольности такие?

Вяземский ухмыльнулся, про таких, отставших от современной жизни старых офицеров в личных формулярах писали: «общее образование получил дома, военное — на службе»...

— А чувствуете, какой запах идет от этого дыма, чем это они сожгли деревню и лес? — вопрос Розена повис в воздухе. — В лес-то попало снаряда четыре, а горит, будто его маслом полили, а? Аркадий Иванович?

Подполковнику очень хотелось высказаться по поводу того, что вчерашнего пленного поторопились расстрелять, но, во-первых, приговор был приведен в исполнение, а во-вторых, немцы задержались с обстрелом всего на семь минут.

— Четвертаков сорвал с кого-то из немцев, судя по всему, с офицера, сумку...

— А что же это он, сукин сын, не разобрал с кого?

— Это было трудно, ваше сиятельство, я на него не в претензии. Было темно, и все немцы были в прорезиненных пелеринах, а на шапки надели защитные чехлы, чтобы не отблескивали, поэтому все выглядели одинаково... Он сорвал, как оказалось, полевую сумку, в ней карта, хотел вам показать...

Полковник пожался от холода:

— Пусть его, раз вы на него не в претензии... Смотрите, уже идут господа офицеры, долóжите нам всем, пусть все послушают, да и завтрак уже готов, — Розен постучал сапогами, сбивая с носков снег. — И вы, голубчик, постучите, не будем нести в палатку сырость. Господа офицеры сейчас и так натащут.

Офицеры уже столпились у полога, Розен приподнял край, потом оглянулся, с сожалением посмотрел на сапоги подошедших и безнадежно махнул рукой.

— Заходите, господа, заходите уже, и я не вижу отца Иллариона!

Вокруг раскладного стола не было стульев, офицеры стояли. Ближний к пологу выглянул и сказал:

— Ведут!

— Как ведут, кого ведут? — удивленно спросил Розен.

Полог сдвинулся, и в палатку, поддерживаемый под руки вахмистром Жаминым и унтером Четвертаковым, неуверенно шагнул отец Илларион.

— Табуретку бы, кто-нибудь придумал... — полковник был сильно расстроен, и в этот момент просунулся Клешня с раскладным табуретом. — Ну, вот так, что ли! Присаживайтесь, отец Илларион.

Вяземский внутренне ахнул. Он слышал о подвиге полкового священника, тот провел весь обстрел в молитве рядом с гробами погибших в позавчерашнем деле и пока не захороненных драгун. Отец Илларион состарился и поседел.

Жамин и Четвертаков вышли.

— Не обращайтесь на меня внимания, господа, — тихим голосом, почти шепотом сказал священник.

— Налейте ему пуншу, господа, если не затруднит. Сегодня, в честь спасения полка — без чинов! Аркадий Иванович, прошу!

Вяземский кратко рассказал о деле с немецкой батареей, показал карту, на ней было ясно видно, что обстрелу должна была подвергнуться не только деревня, но и лес.

— Такое ощущение, господа, что немцы что-то испытывали в этих снарядах...

— Это фосфор, господа, снаряды были снаряжены фосфором, поэтому все так горит, — размеренно произнес полковой врач Алексей Гивиевич Курашвили. — Он горит, пока не выгорит весь.

Офицеры оборотились на него.

— Да, господа, это очень противная штука, — Курашвили грассировал. — Белый фосфор сгорает весь со всем тем, на что он попал. Можно потушить, только если перекрыть доступ кислорода, например, набросать сверху одеял или шинелями.

Кешка, держа в полотенце, внес большую серебряную ендову, из нее парило.

— Пуншу, господа! Отец Илларион, вам особо рекомендую, у вас вид нездоровый, — Розен махнул рукой Сашке, тот поставил ендову на стол и стал половником наливать пунш в серебряные стаканы. Судя по виду, и чаша-ендова и стаканы были турецкие. Это и был стол полковника, которым он дорожил и возил с последней турецкой войны, где был еще корнетом. Сашка глянул на Розена, тот кивнул, и Сашка первый стакан подал отцу Иллариону.

— Только не обожгитесь, батюшка, — тихо попросил Сашка.

— Спасибо тебе, голубчик, — глянув в глаза Сашке, сказал отец Илларион и стал дуть на горячий пунш. Губы у него тряслись.

— Ну что, господа, если обстановка нам ясна, приступим, прошу... — Розен широким жестом показал на стол. — А вас, Аркадий Иванович, прошу составить представления к наградам... пластунов, прошу, особо...

Полковник не успел договорить, раздались один за другим два взрыва, ближние к пологу офицеры вышли и вернулись смущенные.

— Что это? — спросил Розен.

— Две бомбы, — ротмистр Дрок замялся, — попали...

— Куда? — все смотрели на него.

— В ригу...

Четвертаков и Жамин возвращались от палатки офицерского собрания. Они вошли в деревню и закрылись рукавами шинелей, дышать едким дымом было невозможно. Пятнадцать минут назад Жамин получил команду собрать из всех эскадронов людей и вырыть братскую могилу. Сейчас и Жамин и Четвертаков боковым зрением видели, как по белому полю к черной сгоревшей деревне пешим порядком идет колонна драгун. Лопатами вахмистр еще вчера разжился у селян, и сегодня драгуны несли их, как карабины по команде «на плечо». Колонна уже подходила к дымящимся развалинам крайних построений, ветер понемногу разгонял дым и гарь, и стало видно длинную крышу риги, вдруг она вздрогнула, в эту же секунду вздрогнули воздух и земля, и крыша исчезла. Оттуда, где она стояла, вырвалось пламя, и раздался оглушающий грохот. Четвертаков и Жамин остановились.

— О как! А кого же теперь хоронить? — через секунду Четвертаков спросил у Жамина.

Жамин постоял и мотнул головой. Четвертаков ждал, что тот скажет, и Жамин сказал:

— А все же надо дойти глянуть, чего там, можа кого ишо и можно схоронить, один тама твой, — сказал он и, не глядя на обомлевшего Четвертакова, зашагал вперед. Четвертаков его догнал:

— Какой мой, Сомов, што ли?

— Не, не Сомов, с им все понятно, а Ивов, знаешь такого?

Четвертаков попытался забежать вперед Жамина, но тот шел быстро, проход по улице из-за жара от подворий справа и слева стал узкий, и за Жаминым можно было только гнаться. Четвертаков дернул вахмистра за рукав, это было не положено, но Четвертаков знал, что бумага на него написана и что не завтра, так послезавтра он прыгнет через чин и тоже станет вахмистром. Жамин резко остановился, Четвертаков на него налетел, но Жамин не шелохнулся, только из себя выдавил:

— А не насакивай, Четвертаков, не насакивай, убил раба божьего Ивова, а теперь насакиваешь, думаешь ты тута один — герой?

Когда после обеда Сашка Клешня снова увязывал торока к нему подошел врач.

— Вас ведь зовут Александр, как вас по батюшке?

Сашка повернулся:

— Демьяныч, — ответил он.

— Александр Демьянович, у меня к вам есть предложение, поскольку вы, как и я, москвич и ваш скелет, как и мой, не предназначен для кавалерийского седла, если хотите, можете пересесть в мою двуколку, место найдется.

— Премного благодарен, Алексей Гивиевич, ваше благородие!

— Можно без «благородиев».

— Как угодно, без благородиев, а вы в Москве, откуда будете?

— Я с Малого Кисловского переулка, дом лесопромышленника Белкина, а вы?

— С Поварской.

— Ну, вот и хорошо, значит — нас с вами разделяет только площадь Арбатской заставы. — Курашвили мял папиросу. — Можете ваш караван привязать к моей двуколке, это, кстати, и безопасно, на ней красные кресты нашиты, поэтому соусники и винный запас уважаемого Константина Федоровича будут в большей сохранности.

— Премного благодарен, Алексей... — Сашка чуть было не сказал «Гирьевич», как по крестьянской своей простоте врача звали драгуны из тверских: «Кура» и «Гиря», но недолго, только до того, как «Кура» поднял с того света несколько тяжелораненых кавалеристов.

— «Гирьевич», «Гирьевич», знаю, так проще, не смущайтесь, Александр Демьяныч.

Сашка засмутился и потупил взор и поэтому не заметил, что врач тоже смущается. Они оба — и врач, и денщик — были одно роста, высокие, попросту говоря, верзилы — и оба были «шкилеты». Курашвили был лысый, с бритым лицом и в пенсне на шелковой ленте, а Сашка — брюнет с ранней сединой, и сросшимися на переносице бровями, еще он носил свисающие усы и имел грустные круглые глаза. Почему-то оба говорили в нос.

— Я только доложусь, чтобы меня не искали, — сказал Клешня и выжидательно застыл.

— Доложитесь, Александр Демьяныч, доложите, — глядя на Сашку, сказал Курашвили и подумал: «А вид, прямо, как только что с паперти!»

Он осмотрелся и увидел, что на него движутся санитары и несут носилки. Курашвили шагнул в сторону, освобождая дорогу мимо себя, и всмотрелся: несли восемь носилок с деревенскими, у них был жуткий вид сильно обожженных людей. Рядом с первыми носилками по снегу шел ксендз, он держал руки у груди, его лицо было черно от сажи, он сжимал молитвенник и смотрел на лежавшего на носилках.

«Вот черт, — подумал про него Курашвили, — дернуло тебя! Берег скотину, а сколько людей погибло, да как страшно!» Как врач, Алексей Гивиевич больше всего боялся ожогов, потому что знал, что этим людям нечем помочь, и они обречены на смерть.

Когда ксендз и первые носилки были в нескольких шагах, Курашвили спросил:

— Сколько всего?

Санитар ответил:

— Тут восемь и в поле еще двадцать один...

— Думаете, довезем?

Санитар пожал плечами, ксендз остановился и уставился на Курашвили. У него был такой вид, как будто он сейчас взмахнет руками, станет кричать и бросится на первого перед собой, но ксендз вместо этого

положил молитвенник в карман черной сутаны, снял шапку, зачерпнул снега и стал тереть лицо. Сажа на лице была жирная и от снега размазывается, но с каждым разом ее слой становился тоньше, постепенно кожа очищалась, и Курашвили увидел, что ксендз бледный, как мертвый.

— Куда вы, пан ксендз, хотите, чтобы мы их отвезли? Может, в дивизионный лазарет? — Курашвили закурил.

— Дженкуйе! Ратуй Бог пана офицэра! Иле зостанье живых, тылье вьезчые до лазарета, мартвых бенджемы гжебачь по дродзэ, — ответил ксендз, оберся рукавом и надел шапку. — То моя вина!

— То война, пан ксендз!

Ксендз и Курашвили поклонились друг другу, и Курашвили перевел старшему санитару:

— Располагайте с нашими ранеными и повезем в дивизионный лазарет, умерших надо будет как-то хоронить в дороге.

— Мартвых бенджемы заставлячь в мястэчках по дродзэ! — поправил Курашвили ксендз. Курашвили кивнул и перевел:

— Умерших будем оставлять в селах по дороге.

Пока Курашвили разговаривал с ксендзом, вернулся Сашка. Он доложил полковому адъютанту, и тот только махнул рукой. Сашка встал рядом с врачом. Ему очень не хотелось смотреть на обожженных польских крестьян, ему мерещилось, что среди них Варварушка. На его памяти сохранились московские пожары, запах горелого дерева со штукатуркой и человеческого мяса. Он отвернулся и стал смотреть в поле, там, в нескольких ста саженях, на параллельной дороге выстраивались четвертый, пятый и шестой эскадроны. На очередных носилках, которые проносили мимо, зашевелилось тело в черных лохмотьях и повернуло в сторону Сашкиной заметной фигуры обгорелую без волос голову, и Алексей Гивиевич Курашвили, мельком осматривавший пострадавших, заметил, что человек на носилках стал шевелить пальцами. По остаткам одежды и местами не обгоревшей белой коже врач понял, что на носилках лежит женщина. «Болевые конвульсии, — подумал Алексей Гивиевич, — не жилец она».

В одиннадцать часов из дивизии прискакал нарочный с приказом выдвигаться в Груец.

### Письма и документы

#### *Здравствуйте, дорогая моя матушка Елена Афанасьевна и уважаемый отчим Валерий Иванович!*

*Вам пишет Ваш сын Александр Демьянович Павлинов. Вы, моя матушка, особо не переживайте, мы тут воюем понемножку, как на войне водится. Про Польшу говорят: курица не птица, а Польша не заграница. Только поляки, они ведь католики, и к нашему брату православному относятся с большой оглядкой. Оне нас христианами не считают совсем, вроде как*

язычники мы или еретики, хотя мы в одного Христа веруем. А еще жидовинов тут много, оне с поляками попережку живут, однако отличить их друг от дружки легко — евреи богатые, а те, которые бедные, мы их и не видим вовсе, как оне попрятались. А поляка отличить всегда можно, как хвастает, мол, храбрый больно, значит, поляк. Но мы с ими не говорим, нам некогда, мы при деле состоим, а вот наши офицеры, те с ними многими знали еще до войны, когда здесь лагерем стояли. Это они так говорят. За мои геройства Вы маменька, не беспокойтесь, не случится мне героизировать, потому что конник я оказался не очень и переведен в пешую команду, заведовать хозяйством командира полка. А недавно было дело, так вызывали добровольцев-охотников, но только у меня одного на погонах витой кант, а всех взяли, а меня нет, сказали, что я четвертую лошадь испорчу. А дело было знатное, мне потом рассказал знакомец унтер Четвертаков, как оне на немца пошли, когда он взялся по нам тяжелыми снарядами кидать и жечь все кругом.

Ну, мы немцу еще покажем, где тут раки зимуют. Писать боле некогда, надо исполнять обязанности.

Крепчайше Вас целую, дорогая маменька, и отчиму моему Валерию Ивановичу привет и низкий поклон, когда брали Лодзь, такой польский город, я успел заскочить в часовую лавку и для отчима купил тонкий инструмент. Бог даст вернуться живым, будет ему польская презента.

И всем, кто меня знает, привет и поклоны.

А со старшим прикащиком, маменька, встретитесь, ему не кланяйтесь, он мне при рацете пяти рублей не додал. Вы ему непременно напомните.

Ваш любящий сын Александр.

Генваря 8-го дня сего 1915 года.

### **Дражайшая моя и благоверная супружница Марья Ипатиевна!**

Пишет вам ваш супруг Инакентий. Пишу вам с польскага фронта. У нас тут все хорошо. Погоды стоят ясныя. Поляки люди добрые тока по нашему ниче не разумеют. Мы ихнюю речь понимаем а оне нашу не больно. Погоды у нас стоят добрые только морозу нету а потому снег лежит бутта зря. Кормешка добрая кормят как на убой тока рыбки хочется а так все дают и каши много. И нет никакой опасности. Медалю мне серебряную дали георгиевскую за храбрость и бравое дело ишо в октябре месяце так и ношу ея на рубахе тока под шинелию и потому не видать тока када сыму и все завидуют. Я такой у нас в полку почитай первый окоромя ахвицеров те через одного кавалеры. У нас все спокойно и как нет войны никакой. Польша ровная аки стол или наш байкал батюшка кады льдом станет такая ровная польша, у нас говорят курица не птица польша не заграница. Тока враг у мене тута завелся Жамин прозывается чево ему от меня надобно не пойму вовсе завидки штоль завидует а многие завидуют покуда я тута

один георгиевский кавалер. Вы не подумайте чево я кавалер но тока по медали а других баб тута нету. Есть оно канешно баб много полячки но мы при конях и нам оглядываться некада. Так што не думайте плохого я живой и здоровый чего и всем желаю и приветы шлю и желаю здоровья и всяческого добра и сестрице вашей и свояку моему и его семейству всему и сынам его подрасли штоль. И батюшке нашему отцу Василию дай Бог ему здоровья и всяческого благоденствия.

Ваш супруг Инакентий.

И Крещение праздновали как положено а морозов тута нету одно слово Польша. А Сашку Сомова убило вчерась схоронили. Я вам про него сказывал. Одначе не уберегси. Одначе наше дело военное. Вот. А што в газетах пишут што война тута жестокая не верте воюем помаленьку. Страху нету.

Всегда ваш Инакентий Четвертаков.

Января-месяца 8 числа 1915 года от Рождества Христова.

А ище сходите на могилку к матушке моей и батюшке и брату старшому Ефиму пускай, што не в энтой могилке они лежат а на дне байкала моря батюшки а отцу Василию обскажите он все правильно исполнит. И сеть мою, что из китайскага шолкавага шнура плетена никому не давай а заявится Мишка гуран с того берега скажи ему мои слова приветные. Пуцай медведя многа не бьет пуцай мне малеха оставит. А припрет меду, бери не сумлевайся скока даст мед у него добрый помнишь как евоной медовухой вся нашенская свадьба упилася и это с трех то ведер. А сама не пей без мене хотя ты и солдатка дак я ишо живой.

**Здравствуй, моя дорогая  
Ксенюшка-княгинюшка!**

Пишу тебе, как пишут мои драгуны, под диктовку. Только они один диктует, а другой, грамотный, пишет. А я сам себе и диктую и пишу.

У нас все без больших перемен. Воюем потихоньку. Много не напишешь, потому что цензура все одно вымарает. В этом смысле наша военная жизнь почти не интересная: днем в седле, ночью под одеялом. Однако скоро выдвинемся в Варшаву и будет немного веселее.

Я очень рад, что ты на твоих месяцах решилась и смогла переехать в Симбирск, к тетушке под бок. Тебе легче будет, а мне спокойнее.

Как наш Жоржик, ждет ли он братика или сестричку? Наладилась ли его учеба, как закончил первое полугодие, нашел ли друзей на новом месте.

Пиши часто.

И я буду писать часто, по-возможности.

Поцелуй Жоржика и тетушку.

Крещу тебя и всех вас много раз.

Твой Аркадий.

Январь, 8-е, 1915 год.

**Многоуважаемая  
Татьяна Ивановна!**

*Пишет Вам Ваш сосед Алексей Курашвили. Это письмо я Вам тоже не отправлю. Я представляю Ваше удивление, если Вы, практически меня не зная, мы только виделись иногда, когда Вы выходили погулять с Вашими собачками во дворик или бежали в гимназию, вдруг бы узнали, что этот нескладный верзила в Вас влюблен и носит в кармане уже четыре неотправленных письма.*

*А положение у нас совсем незавидное. Я могу писать об этом смело, потому что это и другие письма не будут проходить через военную цензуру. Положение скверное, потому что, видимо, наши победы прошли. Счет пока, как в английской игре «football» — 2:1 в пользу немцев. Разгром армии Самсонова в Восточной Пруссии не прошел даром. Столько офицеров и нижних чинов попали в плен, сколько убито. Они попытались окружить нас под Варшавой, но мы им не дали, а они не дали нам прорвать фронт у Лодзи и идти на Берлин. Но не это главное, а главное то, что германцы значительно опережают нас по качеству и новизне вооружения. Вчера мы перенесли их бомбардировку зажигательными фосфорными снарядами. Двенадцатью залпами (или одиннадцатью, уже не помню) они сожгли очень большое село и значительный участок леса. Если бы мы не были предупреждены, то в этом селе сгорел бы весь наш полк. А чем мы можем ответить на эту бомбардировку? Практически ничем! Только как предателя расстреляли немецкого пленного, который выдал нам их план бомбардировки. И что происходит? Юго-Западный фронт если бы вышел на Венгерскую равнину и если бы мы взяли Вену, это значит, что мы выполнили бы официально заявленную задачу этой войны и могли бы с честью считать себя освободителями Балкан из-под Австро-Венгрии и победителями. Одной Германии было бы сложно справиться со всеми своими врагами, хотя понятно, что дряхлеющая Австро-Венгерская империя Вильгельму больше в тягость, но все-таки это большая страна и в ней много заводов и солдат, поэтому и стоило ее вышибить из войны, а что вместо этого? А вместо этого все наши победы пошли насмарку и своими победами-поражениями мы только угрождаем союзникам. И уже не хватает ни снарядов, ни патронов. Говорят, что за прошедшие пять месяцев войны мы расстреляли весь мирный запас артиллерийских снарядов. Значит, будем класть наших иванов и петров, а не гансов и фрицев. А наш Иван да Петр, нижний чин, да драгун? За что воюете, солдатушки браво-ребятушки? За царя-батюшку! А против кого? Против немца, известно! А кто это — немец? А это, который обезьяну придумал! И ладно бы «обезьяну», так ведь «облезяну»!*

*Вот такая, многоуважаемая Татьяна Ивановна, наша война.*

*Хорошо, что Вы этого письма никогда не увидите.*

*Прощаюсь с Вами и не прощаюсь одновременно. Вы — мое счастье в конверте, — всегда со мной.*

*8 января 1915 г.*



**«Л. Троцкий.  
ДВЕ АРМИИ**

Монотонная жизнь в траншеях, нарушаемая лишь взрывами бешеной пальбы, приводит к бытовому сближению врагов, зарывшихся в землю иногда на расстоянии нескольких десятков метров друг против друга. Вы уже читали, конечно, как одна из сторон подстреливает между траншеями зайца и потом обменивает его на табак; как французы и баварцы поочередно ходят к единственному ключу за водой, иногда сталкиваются там, обмениваются мелкими услугами и даже пьют совместно кофе. Случались, наконец, и такие эпизоды, когда баварские и французские офицеры уславливались не мешать друг другу при устройстве редутов и строго соблюдали уговор. Грандиозный немецкий натиск на Изере не дал результатов, стена по-прежнему стоит против стены, военные операции уперлись в тупик, и в траншеях устанавливается психология какого-то своеобразного перемирия.

Первые три месяца войны я, после вынужденного отъезда из Вены, провел в Швейцарии. Туда беспрепятственно стекались газеты всех воюющих стран, и это создавало благоприятные условия для сравнительных наблюдений. И никогда глубокое различие исторических судеб Франции и Германии не уяснялось мне так, как в эти месяцы очной ставки двух вооруженных наций на Маасе и Изере.

Ненависти к Франции в большой немецкой прессе не было, — скорее сожаление. В конце концов, француз — "добрый малый", не лишенный вкуса, Genussmensch (человек наслаждения) в противоположность Pflichtmensch'u (человеку долга), немцу, — и если б он не мечтал о роли великой державы для своей Франции, если б эта Франция не лежала на пути к Атлантическому океану и главному смертельному врагу немецкого империализма, Англии, не было бы надобности повторять эксперимента 1870 г., — таково было в основе отношение "ответственных" немецких политиков к Франции, с ее приостановившимся ростом населения и задержанным экономическим развитием. Военный разгром Франции, как и Бельгии, считался скорее "печальной необходимостью": минуя Францию, нельзя было добраться до Англии, а кратчайший путь к сердцу Франции шел через Брюссель. В сокрушительной победе над Францией немецкие политики сомневались еще меньше, чем немецкие стратеги. И первые недели войны, казалось, полностью подтверждали эту уверенность. Битва на Марне, которая для французской армии, как и для общественного мнения Франции, имела решающее значение поворотного события, в глазах немцев была первое время стратегическим эпизодом подчиненного значения. И несколькими неделями позже, к тому времени, когда оба непроницаемых фронта, немецкий и фран-

цузский, протянулись до побережья Бельгии, в Берлине и Лейпциге продолжали появляться в свет политические брошюры, в которых не редкостью было встретить фразу: "Когда эти строки выйдут из-под станка, судьба несчастной Франции будет уже решена"...

Не знаю, как представлялись вам события издалека. Но нам, наблюдавшим события со швейцарской вышки, действительно казалось после первых событий войны, что циклопический милитаризм Германии раздавит беспощадно французскую республику, как он раздавил Бельгию. Накануне битвы на Марне население Франции пережило "неделю великого страха". Наяву и во сне все видели над собой пушечный зев в 42 сантиметра.

Немецкий милитаризм воплощает в себе всю историю Германии, во всей ее силе и во всей ее слабости. Первое, чем он поразил воображение, это могущество техники. Тяжелые орудия, цеппелины, быстроходные крейсера, исключительной силы торпеды — все это было бы невозможно без того лихорадочного индустриального развития, которое выдвинуло Германию на первое место среди капиталистических государств. Техника старых капиталистических стран, Англии и Франции, чрезвычайно консервативна. Правда, в области милитаризма самые консервативные нации, как и самые отсталые, проявляли изощренную "чуткость" ко всякому новому техническому завоеванию. Но, в конце концов, зависимость военной техники от общего технически-промышленного развития страны дает о себе знать со всей силой качественно, как и количественно: диаметром орудий; числом снарядов, которые страна может воспроизвести в единицу времени; массой солдат, которых она может в кратчайший срок перекинуть с одного пункта своей территории на другой. Приведенная в движение чудовищная машина немецкого милитаризма не могла не обнаружить, что она соединена приводными ремнями с самой совершенной капиталистической техникой.

Однако милитаризм, это — не только пушки, прожекторы и блиндированные автомобили; это, прежде всего — люди. Они убивают и умирают, они приводят в движение весь механизм войны, и они делают это с тем большим успехом, чем теснее они вне милитаризма, в нормальных хозяйственных условиях, связаны с капиталистической техникой.

Лет пятнадцать тому назад в немецкой печати велась горячая полемика по вопросу о влиянии промышленного развития страны на ее военную мощь. Аграрно-реакционные писатели доказывали, как водится, что рост индустрии, вызывающий обезлюдение деревень, подрывает самые основы милитаризма, который де в первую голову опирается на здоровое, патриархальное, благочестивое и патриотическое крестьянство. В противовес этому школа Луйо Брентано доказывала, что только в лице пролетариата капитализм создает кадры новой армии; сам Брентано ссылался, между прочим, на то, что уже в войне 1870 г. лучшими

полками считались вестфальские, набранные из чисто рабочих округов. Лично мне на Балканах не раз приходилось слышать от наблюдательных офицеров, что рабочие-солдаты не только интеллигентнее крестьян и легче ориентируются в условиях, но и гораздо выносливее их, не так жестоко тоскуют по "куче" и не так скоро падают духом при физических лишениях. Несомненно, что технические качества немецкого рабочего, его исполнительность и дисциплинированность являются важнейшей составной частью немецкого милитаризма. Что приспособление человеческого материала к потребностям прусского милитаризма совершается не без затруднений, видно хотя бы из того, что процент самоубийств в немецкой казарме в два раза выше, чем во французской. Но, так или иначе, необходимый результат достигается, и известный немецкий социал-либерал, бывший пастор Фридрих Науман, мог с известным правом писать в своем недавно вышедшем памфлете, что "народ железа, техники, организации и математики все еще остается старым, верным народом безусловного личного подчинения".

Наряду с техникой и дисциплинированной солдатской массой стоит еще один фактор немецкого милитаризма — третий, но не последний по значению: прусское офицерство. "Первая часть армии, — сказал в своей патриотической речи в Берлине консервативный профессор Ганс Дельбрюк, — это те люди, которые избрали воинское дело своим жизненным призванием, всю свою жизнь не делают ничего иного и ни о чем ином не помышляют, кроме подготовки к войне, изучают ее искусство, ее теорию и практику, только в этом направлении работают и всецело живут в воинском понятии чести — это офицерский корпус". О генерале Гинденбурге немецкая пресса рассказывала следующий любопытный анекдот. Четверть века тому назад, когда Гинденбург стоял со своим полком в каком-то захолустье, местные дамы обратились к нему с просьбой дать свое имя для благотворительного литературно-музыкального вечера. Гинденбург решительно отказался, на том основании, что с кадетской скамьи он не слушал никакой музыки и не читал никаких литературных произведений, отдавая все свое время подготовке к будущей войне. Именно поэтому, надо полагать, кенигсбергский университет избрал генерала Гинденбурга доктором всех четырех факультетов...

На офицерском корпусе, насквозь пропитанном феодальными воззрениями и тесно спаянном духом кастовой исключительности, держится вся организация немецкой армии. Ост-эльбский офицер, отпрыск юнкерской семьи, создает физиономию немецкого милитаризма. Миллионы интеллигентных солдат и могущественная техника — только материал в его руках. Когда соседние страны стали воспринимать у Пруссии составные элементы ее военной организации, Бисмарк сказал с самодовольной иронией: "Они многое могут сделать у себя по нашему образцу, но прусского лейтенанта им не сделать никогда!" Прусского лейтенанта сделала немецкая история».

## Февраль

Иннокентий вел Красотку к эскадронному кузнецу — сбились подковы и Красотка хромала. Еще надо было подремонтировать оголовье.

Утоптанная снегом вперемешку с навозом улица польского города Бялы-Подляски была ему уже хорошо знакома.

Сразу после сожженной Могилевицы полк направился в Груец, но там долго не задержался и передислоцировался в Бялу-Подляску, примерно в пятидесяти верстах от Бреста-Литовского.

«Дрались, дрались — веселились, посчитали — прослезились!» — была у драгун на устах старая поговорка, когда в Груце стали выяснять в подробностях, с чем полк вышел из Лодзинской битвы. А что до этого посчитать — боялись, что ли?

Когда полк прибыл в Груец в расположение дивизии и был построен, казалось, что он такой же, как был в начале ноября прошлого года под Лодзью, а когда начали считать... Будто бы и рапортчик о потерях не писали и списков не подавали. Оказалось, что в целом, если без особых подробностей, полк потерял больше двух эскадронов людей из шести и еще больше строевых лошадей. Лошадь больше человека, в нее и пасть легче, и раны она переносит хуже, потому как тварь добрая, благородная, но глупая и боли не терпит.

Из Груеца полк был переведен в Бялу-Подляску, поближе к Бресту-Литовскому — узловой станции и одному из главных пунктов снарядного, конского и человеческого пополнения.

Офицеры свой полк называли летучим: в первый бой он вступил в Восточной Пруссии, под Гумбинненом, понес потери, был пополнен, потом бился под Варшавой, а потом в самом конце октября встретил немцев на стыке 2-й и 5-й армий там, где польский городок Лович. Драгуны про него шутили — Лович-Нелович.

В августе 1914 года полк был в составе 1-й армии генерала Ренненкампа, под Варшавой во 2-й обновленной армии генерала Шейдемана, а после Лодзинской бойни оказался в 5-й армии генерала Плеве. А все потому, что в верхах был беспорядок и частые перемены. Из-за поражения в Восточной Пруссии в самом начале войны в Танненбергской битве застрелился командующий 2-й армией генерал Самсонов, с поста Главнокомандующего Северо-Западным фронтом сняли генерала Жилинского, из-за разногласий с новым командующим Северо-Западным фронтом генералом Рузским убрали генерала Ренненкампа, после Лодзи в отставку отправили генерала Шейдемана... Так по секрету между собой говорили офицеры полка. Им казалось, что по секрету, а от денщиков-то от своих им куда было деваться. Вот драгуны про все и знали, только с мудреными фамилиями генералов у них были трудности, не могли их ни запомнить, ни выговорить, кроме Самсонова, да худо-бедно Русского, в смысле, Рузского.

За бои в Восточной Пруссии под Гумбинненом Иннокентий и его друг Сомов получили свои первые серебряные Георгиевские медали. Вручали торжественно перед строем полка перед началом Лодзинского сражения в том самом Ловиче. По этому случаю они с вахмистром Сомовым раздобыли польской водки со зверобоем, жидовскую не взяли, угостились сами и угостили товарищей. Про это вызнал вахмистр 1-го эскадрона Федька Жамин — сучий потрох — и доложил командиру 2-го эскадрона ротмистру фон Мекку. Тот отчитал Жамина за подачу рапорта не по подчиненности, сказал о правильном по уставу, но подлом по сути поступке командиру 1-го эскадрона подполковнику Вяземскому. Вяземский, только-только принявший эскадрон, учел, но оба командира этот случай спустили с рук, потому что и Сомов и Четвертаков показали себя, как отличные драгуны. А в боях в предместье польского городка под названием Лович-Нелович Иннокентий Четвертаков снова отличился, там из седла он застрелил восемь немцев, из которых были два офицера, и все с дистанции 100–150 шагов, и этим подтвердил свое бесстрашие и геройство.

«Чет-та ему от меня надобно?» — подумал Иннокентий про вахмистра Жамина, принялась и поднял голову — в воздухе поверх исходившего из-под ног запаха навоза чувствительно тянуло окалиной. Что ли недели две тому назад хорошо метель прошлась и на дорогах навоз, а где живут люди, так там и печную гарь присыпала свежим снежком, потом погода одумалась и успокоилась, потом оттаяла, а потом еще раз одумалась и подморозила. И снова белое стало ржавым от навоза и печной гари.

Сегодня 2 февраля — Сретенье.

«Сретенье! — думал Иннокентий. — Как про это сказывал отец Василий? "И встретилась Богородица со старцем-мудрецом, и сказывал ей старец, што несет она на руках своих новорожденного младенца сына самого Господа Бога!"»

— Кешка! Тайга! — вдруг услышал он и вздрогнул. Задумавшись, он почти прошел мимо ворот жидовской кузницы, в которой пристроился этот черт из табакерки, эскадронный кузнец Семен Евтеевич Петриков.

«Лешак с горнила!» — подумал про него Иннокентий и стал поворачивать Красотку, а та уперлась. Из ворот выбежали жидинята, одетые один другого чуднее в вывороченные нагольные короткие кожухи, ухватили из рук Четвертакова Красотку с обеих сторон за оголовье, и потащили в ворота.

«Порвут засранцы, оголовье-то, и так на соплях держится».

Однако Красотка перестала упираться и послушно пошла. «От бесово отродье, — с улыбкой подумал Иннокентий про сыновей хозяина кузницы, двух мальчишек десяти и двенадцати лет, если на глазок. — Надо было им сахару што ль прихватить».

Мальчишки подвели Красотку к коновязи, ловко сняли с нее оголовье и отдали в руки эскадронному седельнику, молчаливому драгуну, которого в эскадроне не звали по имени, потому что он на имя не откликался, накинули оголовье веревочное, хозяйское, и привязали к коновязи.

Из кузницы вышел хозяин, большой мужчина в сапогах, штанах и кожаном переднике на голое тело и обратился к Иннокентию:

— Ну что жолнеж драгунский, охромела твоя коняка?

Иннокентий исподлобья глянул на жидовина и стал крутить самокрутку: «А че ему скажешь, ну охромела!»

Рыжий хозяин кузницы, сам кузнец, с клещами в руках встал к Красотке задом, задрал у себя между ногами левую заднюю ногу лошади, клещами оторвал подкову и бросил в ящик, дальше Иннокентий смотреть не стал, понятно, что кузнец был дельный. Стоявший рядом Семен Евтеевич подождал, пока кузнец сорвет все четыре подковы и бросит их в ящик, поднял ящик, уже наполовину заполненный старыми подковами, кивнул Иннокентию, и они вместе зашли в кузню.

— Сымай свою шинелишку, запаришься, и, ежели желание есть, можешь молотком постучать.

Иннокентий скинул шинель, оглядел стены, они были увешаны дугами, хомутами и другим чем, кузня была еще и шорницкой, видать жидовин был на все руки мастер, даром, что не цыган, нашел свободный колышек и стал прилаживать шинель и отряхивать ее, забрызганную сзади грязным снегом.

— Да ты и рубаху сымай! — сказал Семен Евтеевич и высыпал подковы из ящика в тигель. — Не бойсь, никто тута твою медалю не сопрет!

— А и сопрет... — парировал Кешка.

— Ай не жалко?

— Ладно брехать, давай, чего робить?

— Чего робить, говоришь? Да ты сначала к молоточку примерься!

Кешка стал осматриваться в полутемном помещении и невольно принюхиваться:

— Ох и дух тута у тебя...

— Не у меня, у Сруля!

— Как? — удивился Кешка.

— Так! Сашка по-нашему будет! А што дух?

— Хороший дух, окалина, да уголек, как дома...

— А ты кузнец, што ль?

— Не, но жил недалече от кузни, через двор...

— А из дома че пишут?

— Дык... — вознамерился ответить Кешка.

— Ладно, че пишут, то пишут, главно дело, што б писали! Што б было кому!

— Кому — есть! Да только до меня письму идти боле месяца, не шибко-т пораспишешься!

— Да-а! — вростяжку промолвил Семен Евтеевич. — Дома нынче хорошо. Снег кругом, чисто, любо-дорого поглядеть, весь народ на извозе, — он передал ручку мехов стоящему рядом старшему сыну хозяина кузни и огладил его рыжие, как у отца, лохматые волосы. — Работы, сколь не хочу.. Деньжищу за зиму можно наковать... и на буренку хватит, тока байдьки не бей ... Выбрал, што ль, молоток? — Семен Евтеевич подхватил щипцами из малого тигля наполовину красную на конце уже белую железную полосу и устроил ее на наковальне:

— Готов?

Он стал тюкать по полосе маленьким молоточком, и Кешка бухал туда большим молотком: белый конец полосы стал краснеть и под ударами Кешкиного молотка плющиться. Били несколько минут, пока полоса не остыла. В какой-то момент в кузню вошел седельник, молча бросил исправленное оголовье и также молча вышел. Кешка и Семен Евтеевич переглянулись. Когда полоса остыла и Семен Евтеевич положил ее в тигель, Кешка кивнул в ту сторону, откуда пришел и куда ушел седельник.

— Из дому ниче хорошего. — Семен Евтеевич положил молоток, забрал ручку мехов у мальчишки и стал быстро надувать жар. — Баба у него с катушек съехала, вроде. С братом евоным, бобылем, снюхалась, и со всем писем не стало и земляков ни одного, штоб новостями-то переслаться.

— А он с откудова?

— Откуда-то с севера из рыбных мест... Архангельск, што ли... — Семен Евтеевич передал ручку мехов жиденку, взял из высокой, по виду, кадушки длинную то ли кочергу, то ли ложку и стал тыкать ею в другом тигле, большом.

— Ты как чертей тута варишь или жаришь, — сказал Кешка.

— А и варю, а можа, и жарю, на кузне, как без чертей? — Семен Евтеевич ухмыльнулся на Кешку и подмигнул сынишке хозяина кузницы.

— Тьфу на тебя, свят, свят, — Кешка перекрестился.

— Че-та ты рано крестишься, чай не обедня, или сильно набожный?

— А как тута не быть набожным, коли кругом поляки да жида?

— Поляки, как и мы — хрестьяне, а жида, чем тебе жида не угодили? Слышишь, как твоя Красотка копытом бьет, кто сработал-то, не жид ли?

— А они...

— А што они?

— ... Христа нашего убили! Так отец Василий сказывал!

— Перво-наперво, они убили своего Исуса Есича, он был такой же жид, как и они, как Сашка-кузнец, а по-ихнему Сруль... и тока потом, када Христос вознесся, он и стал нашим, а так он — как есть — Царь Иудейский. Иль ты на Святом распятыи букв не разобрал? Грамотей же твой отец Василий!

Кешка готов был обидеться:

— Грешно говоришь, да ишо в святой праздник!

— Ладно, святые те, кто на кресте, а нам с тобой ишо знаешь, скока каши пополам с грехами хлебать придется? — Семен Евтеевич снова отдал ручку мальчишке и ухватил клещами разогретую полосу.

\* \* \*

Полковник Розен прочитал только что принесенную телеграмму и обратился к адъютанту полка:

— Николай Николаевич, разошлите вестовых, чтобы всех офицеров не мешкая сюда, через час нам должны подать эшелоны.

Адъютант козырнул и повернулся к двери.

— Вяземского в первую очередь! — вдогонку ему сказал Розен, и поручик Щербаков вышел.

«Черт побери, что же это делается? — думал командир полка. — Только-только стало прибывать пополнение, еще не обмундировано и не хватает винтовок, и так далее, и так далее, и так далее...» Он бросил телеграмму на стол и стал ходить по большой светлой зале, которая еще в мирное время много лет была офицерским собранием 2-й полевой артиллерийской бригады Варшавского округа. Он подошел к портрету Императора во весь рост, постоял и пошел к окну, в голове всплыла песня, и он стал напевать ее в полголоса:

Из страны, страны далекой,  
С Волги-матушки широкой  
Ради сладкого труда,  
Ради вольности высокой,  
Собралися мы сюда...

«Сюда! Ради сладкого труда!» — повторял он и, не вдумываясь в слова, стал смотреть в окно. Второй этаж офицерского собрания, под которым проходила главная улица Бялы-Подляски, казался расположенным высоко-высоко и только стоящие напротив низкие одно-двух этажные дома мешали представить ему, что он стоит на самом высоком месте Венца и смотрит на замерзшую Волгу. А у него за спиной его молодая жена помогает кормилице приладить к груди их первенца-младенца Костика. Розену охота повернуться, но нельзя, не жена же кормит. А Татьяна Игнатъевна бы и рада, да молока не случилось. А Костик орет благим матом и никак ему невдомек, что всего-то надо ухватить губками сосок, и кормилица ему тычет, а он только берет на горло и морщится.

«Собралися мы сюда... ради сладкого труда... — Розен открыл часы, прошло уже десять минут. — Что же это нет никого? — Он тряхнул головой. — Надо воспользоваться, хотел же письма написать... — и быстрыми шагами пошел к столу. — Если не успею, то хоть начну!»



Вяземский вышел от почтового служащего в вокзале Бялы-Подляски и пошел в буфетную. Было три часа пополудни, все, что он запланировал на сегодня, он сделал, можно было перекусить и идти на квартиру. Можно было идти куда хочешь, но куда тут идти, в этом маленьком польском городишке? За последние дни он устал, и идти оставалось только в одном направлении — на квартиру. У буфетной стойки перекусывали бутербродами несколько прилично одетых пассажиров, только что сошедших с поезда из Барановичей. Вяземский мельком глянул на них и пошел к свободному столу в углу. Официант поклонился из двери рядом с буфетной стойкой, что он сейчас подойдет.

За соседним столом сидел капитан пограничник, на столе у него уже было пусто, только ваза с фруктами, и капитан сидел перед рюмкой коньяку и графином.

«Пограничник, странно, что он тут делает? — возникла мысль и улетела. — Все же придется создавать учебную команду!» Эта мысль прочно держалась в голове уже которые сутки. Вяземский с командирами других эскадронов принимал пополнение, оно приходило малыми партиями, из маршевых эскадронов полку отчисляли по несколько человек, даже не десятков, а полк должен был принять почти триста новобранцев. Те, которые приходили, никуда не годились. Они были прилично здоровья, но неграмотные и не прошедшие после призыва никакой подготовки, не только кавалерийской или стрелковой, но даже и строевой. И были все кто откуда: Ярославль, Псков, Новгород Великий, Тверь...

«Надо Розену предложить рокировку...»

Официант положил на стол меню, в котором было указано шесть или семь блюд.

— Голубчик, — обратился Вяземский к официанту, — сделайте, как вчера.

Официант поклонился и ушел в дверь.

«Что тут выбирать из шести блюд?..» — успел подумать Вяземский, и почувствовал, что сидевший за соседним столом капитан смотрит на него. Вяземский посмотрел на капитана. Капитан поклонился, встал и подошел. Вяземский тоже встал.

— Капитан Адельберг, а вы, если не ошибаюсь, Аркадий Петрович Вяземский?

— Аркадий Иванович!

— Прошу извинить, много времени прошло...

Вяземский еще не узнал, но пригласил капитана сесть, подошел официант и стал ждать. Капитан поблагодарил, сел и кивнул официанту, тот перенес коньяк, поставил вторую рюмку и налил. Вяземский смотрел, внешность у пограничника была характерная, и он стал припоминать:

— Давно мы с вами не виделись, года... с девятого... десятого?..

— Девятого, в десятом я из лейб-егерей перевелся в Заамурский округ пограничной стражи, в Маньчжурию.

— То-то я вижу..

— А в сентябре, с началом кампании из Маньчжурии был откомандирован в Ставку. Сейчас направляюсь к Алексей Алексеичу..

— Понятно, — сказал Вяземский, он был рад увидеть знакомого по Петербургу. — А что так? Оставили гвардию?..

— Семейные обстоятельства, уважаемый Аркадий Иванович.

— А сейчас...

— Новое, довольно интересное назначение.

Официант стал расставлять блюда.

— Не дадут поговорить, — глянув на официанта, сказал Вяземский. В этот момент в буфет зашел запыхавшийся вестовой и тихо передал приказ Розена явиться в собрание. — Ну вот, и поесть не дадут.

Вяземский наскоро, не чувствуя вкуса, съел клецки; ростбиф, правда — он это отметил, — был отменный.

— Если вы не особенно торопитесь, предлагаю пройтись до офицерского собрания, заодно расскажете, что там в высоких штабах. Если по поводу поезда, в собрании есть телефон.

Адельберг согласился недолго думая. Ему надо было на любой эшелон или санитарный поезд в сторону Львова.

— А в штабах, как раньше говорили — «нестроение», — ответил он на вопрос Вяземского.

— Что так?

Пока несколько минут шли до собрания, капитан коротко рассказал не столько о штабах, сколько об общем положении на фронтах. Вяземский слушал.

— Расскажите об этом полковнику Розену? — попросил Вяземский и спросил: — А у вас какая задача? Если вам это позволено!

— Задача интересная: с одной стороны я еду в штаб восьмой армии к Брусилову усилить разведку, но перед этим должен заехать в третью к Радко-Дмитриеву, а с другой... вы слышали что-нибудь о снайпенге?

— О чем? — не понял Вяземский.

— О снайпенге, снайперах?

— Нет, а что это?

— Союзники передали нам сведения и даже прислали специалиста по сверхметкой стрельбе, — начал Адельберг. — У себя на Западном фронте, во Франции и в Бельгии, они обнаружили новый способ ведения войны...

— Какой?

— Немцы стали использовать винтовки со специальным прицелом для выбивания командного состава, офицеров и любого, в кого они успеют точно прицелиться, стреляют очень метко и быстро...

Вяземского это заинтересовало, он уже думал о такой стрельбе.

— У них сейчас война уже превратилась из маневренной в позиционную, когда фронт стабилизируется, и передние линии окопов стоят друг против друга почти не меняя положения...

— Интересно, — Вяземский слушал внимательно.

— Немцы произвели винтовки с оптическим прицелом, как подзорная труба, прилаживают на специальных замках к винтовке, и стрелок видит свою цель на триста шагов, как на пятьдесят...

— Так, так! — Вяземский вспомнил, что под Лодзью несколько офицеров полка получили пулю прямо в голову.

— Во-первых, англичане захватили пленных с таким оружием, а во-вторых, они сами стали применять оптические прицелы и стали выписывать свое охотничье оружие из дома, ну и, понятно, их промышленность уже налаживает производство таких винтовок с прицелами для армии...

— Как интересно... — задумчиво произнес Вяземский, когда они уже подошли к собранию и подумал: «Точно, надо забирать Четвертакова к себе, если основная задача моего эскадрона — разведка», — а вслух сказал: — Я представлю вас полковнику, не откажетесь рассказать в собрании то, что вы только что поведали?

Когда Вяземский и Адельберг поднялись, в зале офицеров собралось немного. Пока шли, Вяземский обратил внимание, что по центральной улице мимо них с Адельбергом проскакало и пробежало несколько вестовых. «Наверное, что-то срочное!» — подумал он и не ошибся. Как только они вошли, Розен буквально бросился к нему.

— Аркадий Иванович, милейший, прочтите вот это! — сказал полковник и протянул Вяземскому телеграмму, однако тот все же успел представить капитана Адельберга и Розен сразу отвлекся на гостя. Вяземский стал читать и их не слушал, а они говорили, точнее, Розен:

— Так вы на Юго-Западный фронт? К Радко-Дмитриеву или к Алексею Алексеичу?

— Сначала к Радко-Дмитриеву, потом к Брусилову.

— Как к кстати, любезнейший А... — Розен замаялся.

— Александр Петрович.

— Александр Петрович! У меня два сына, один, младший, у Радко-Дмитриева, другой у Брусилова, Розен Константин — старший и Георгий — младший, не откажите, передать им от меня, я сейчас напишу им по записке.

Адельберг кивнул. Розен кинулся к столу и стал писать. Пока он писал, собрались офицеры. Розен, не отвлекаясь от своего дела, обратился к Вяземскому:

— Аркадий Иванович, голубчик, мне еще три строчки, объявите господам офицерам, — он поднял руку, в которой держал ручку, с пера была готова упасть чернильная капля, — приказ. А я сейчас закончу, чтобы нам не держать нашего гостя...

Адельберг поклонился Розену:

— Не беспокойтесь, господин полковник, я в любом случае дождусь.

Вяземский прочитал приказ о том, что полку надлежит срочно выдвинуться в направлении Белостока, там полк получит новую диспозицию; поток новобранцев, материального и конского пополнения штаб дивизии уже перевел туда. После прочтения приказа в зале возникла пауза — командиры эскадронов ждали того, что сейчас было самым необходимым — пополнения. Первым высказался командир 2-го эскадрона ротмистр фон Мекк:

— Я принял только... — он не договорил, офицеры все заговорили разом и в зале возник шум. Розен оторвался от письма и поднял голову:

— Господа, это приказ, эшелоны для полка должны подать, — он посмотрел на часы, — через сорок минут, максимум час. Аркадий Иванович, прикажите трубить сбор.

Вяземский посмотрел на адъютанта.

Семен Евтеевич положил раскаленную до бела полосу на наковальню, достал из сапога бебут, приладил его лезвием к полосе там, где полоса из белой становилась красной и молотком ударил по лезвию; бебут разрезал полосу, Семен Евтеевич воткнул в наковальню два штыря, бебут засунул за сапог, полосу приладил между штырями и стал молотком подбивать один конец полосы, гнуть ее, и на глазах полоса стала принимать форму подковы. Иннокентий смотрел.

— Ты пока отдохни, — сказал Семен Евтеевич. — Тут я сам.

Он ударял молотком по полосе, повертывал ее то так, то так, опять ударял-постукивал, взял шипцы и, пока подкова была горячей, вывернул и загнул у нее на концах шипы. В готовой подкове пробойником пробил восемь дыр для гвоздей и бросил остывать.

— А мне такого бебута сробить? — тихо спросил Кешка.

— Сроблю, а што ж не сробить?

— А че возьмешь?

Семен Евтеевич положил инструмент, отпил из ковша воды и ответил:

— Я тут часами интересуюсь... — он не успел договорить, в кузню вбежал младший сын хозяина и заорал:

— Лихо! — он куда-то махнул рукой и выскочил.

— Што за лихо, што стряслось? — Семен Евтеевич плеснул из ковша на руки и стал вытирать об передник.

Следом вошел хозяин кузни:

— Там ваш... — сказал он и сделал замысловатое движение рукой вокруг шеи.

— Где? — Семен Евтеевич сорвался с места, и Иннокентий за ним. Они выскочили из кузни, хозяин завел их в пустую конюшню, и они увидели, что седельник висит в петле. Семен Евтеевич подскочил, вы-

дернул из сапога бебут и резанул им по сыромятному ремню, на котором висел седельник, тот стал падать, Иннокентий только успел перехватить его поперек туловища.

— От дура, — пыхтел Семен Евтеевич, перехватывая седельника под плечи. — Што удумал! Язви т-тя в душу.

Они втроем положили седельника на застланный соломой пол, и Семен Евтеевич кулаками ударил седельника в грудь, тело седельника дрогнуло и обмякло. Семен Евтеевич некоторое время смотрел, потом провел ладонью седельнику по лицу и закрыл его глаза, вывернутый изо рта багровый язык заправил обратно в рот.

— Вот тебе и вот! — тихо промолвил он. — Прими Господи душу раба твоего Илизария, свет батьковича!

Они сидели на коленях рядом с телом седельника и молчали. И тут Кешка вздрогнул, он услышал с улицы конский топот и сигнал полковой трубы «сбор».

— Час от часу не легче, — выдохнул Семен Евтеевич. — Как же его теперь хоронить, коли сбор трубят?

Иннокентию сказать было нечего, судя по всему, Красотка была готова, и надо было ехать в казарму, но он не мог пошевелиться. Семен Евтеевич встал с колен, отряхнул штаны, глядя на седельника перекрестился, нагнулся, вынул у того из сапога такой же, как его, бебут и подал Иннокентию:

— И ковать не надо! Иди, я тута сам управлюсь, это дело наше, обозное! А медалью свою ты перецепи на шинель.

Когда офицеры разошлись по эскадронам, Розен обратился к капитану Адельбергу:

— Аркадий Иванович сказал, что вы знаете обстановку!

Адельберг согласно кивнул:

— Да, представление имею.

— Объясните, что происходит! Присядем, господа!

Адельберг взял чистый лист, перо и нарисовал схему, на которой в верхнем правом углу листа написал «Ласденен», в центре — «Лык», а в правом нижнем углу «Августов». Между названиями городков «Ласденен» и «Августов» он нарисовал удлинённый овал и написал латинское «X».

— От Ласденена и вот сюда, юго-западнее Августова, стоит наша 10-я армия генерала Сиверса. Германцы 25 января начали обходить ее фланги, вот здесь, на северо-востоке, и здесь — на юго-западе. — Он нарисовал дуги, окружавшие правый и левый фланги 10-й армии. — Окружить пока не удалось, 10-я армия стала отходить на запасные позиции, однако положение угрожающее. На северо-востоке нам зацепиться не за что, там леса и болота, на юге крепость Осовец, там зацепиться есть за что, а в тылу крепость Гродна. Сейчас в серьезном положении оказался 20-й корпус генерала Булгакова, он в самой середине 10-й армии.

К югу от него 26-й корпус, и вот здесь, на самом южном фланге, 3-й Сибирский стрелковый корпус, а на северо-востоке 3-й армейский корпус генерала Епанчина и Вержболовская группа. Она дрогнула, затем дрогнул 3-й корпус Епанчина, и покатился на восток. Таким образом, 20-й корпус Булгакова оказался на самом острие атаки немцев. Это сведения на вчерашний день, когда я покидал Ставку. Думаю, — Адельберг закурил, — ваш полк высылают на усиление 3-го Сибирского корпуса, вам туда самая кратчайшая дорога. А записки вашим сыновьям, Константин Федорович, я постараюсь передать.

— Ну, вот и хорошо, голубчик, вот и хорошо. — Розен долго смотрел на схему, потом перевел взгляд на Вяземского. — Ну что, господа, надо собираться?

Вяземский кивнул и поднялся, поднялся и Адельберг.

— Аркадий Иванович, пришлите мне кого-нибудь, адъютанта, что ли!

Когда Вяземский и Адельберг ушли, Розен в ожидании адъютанта Щербакова снова подошел к окну. Уже смеркалось, погода стояла и без того мрачная, и серый воздух сгущался. Несколько окон в домах напротив осветились, но еще не отбрасывали светлых пятен на снегу, по улице проходили редкие прохожие.

«Да, — думал полковник, — как там мои мальчишки? Нас, Розенов, осталось всего трое». Он вспомнил похороны жены, в такую же вот погоду семь лет назад в Симбирске, там стоял полк, и мальчишки учились в кадетском корпусе. Им с супругой хотелось внуков, они о них мечтали: «А ведь Константин уже вполне мог бы жениться, если бы не служба и не война. Да кто же ему, поручику, это позволит, ему до срока еще пять лет!» В зале темнело быстро, быстрее, чем на улице, он смотрел в окно, и вдруг его внимание привлек всадник, это был унтер-офицер 2-го эскадрона, он узнал его — Четвертаков. «Надо подписать на него представление и послать в дивизию, а то эскадрон без вахмистра. Непорядок!» Четвертаков скакал галопом, из-под копыт летел снег, сам Четвертаков сидел чертом, прямо, держа голову высоко, правя левой рукой и держа правую с плеткой на отлете. Когда он подъезжал под светившееся окно в доме напротив, Розен увидел, что на груди Четвертакова блеснула медаль.

\* \* \*

Эшелоны разгружались в только-только начинавшемся рассвете на запасных путях станции Белосток. Разгружались 1-й, 2-й, 3-й эскадроны и команда связи. Восемь офицеров молча наблюдали за разгрузкой. Розен обратился к фон Мекку и командиру 3-го эскадрона Дроку:

— Господа, проследите, а мы с подполковником пойдем к военному коменданту, какие там пришли указания?

К Розену подошел Курашвили:

— Разрешите, господин полковник, я посмотрю санитарные эшелоны? Возможно рядом кто-нибудь грузится!..

— Идите, голубчик, но долго не задерживайтесь, чтобы не отстать ненароком.

Курашвили поклонился, заскочил и через площадку ближайшего вагона spryгнул на другой стороне. Следующий эшелон стоял мертвый и пустой, Курашвили таким же образом миновал его, железнодорожный узел Белосток был большой, и путей было много. На четвертых путях действительно стоял санитарный поезд. Курашвили увидел, что паровоз пускает пары, а рядом со вторым вагоном стоят два военных чиновника. Он направился к ним, представился, они тоже представились, это были комендант и старший врач санитарного поезда № 1 гродненского крепостного лазарета. Поезд стоял в ожидании отправки, и они стали разговаривать: они прибыли час назад забрать раненых из 10-й армии.

— Пекло, батенька! — сказал комендант. — В Десятой-то... оттуда везем... жмет германец!

— Много обмороженных и с потерей крови, — добавил главный врач.

Курашвили слушал, курил вместе с ними, комендант смотрел в сторону паровоза, он ждал отправки, главный врач стоял спиной к вагонам, на вагонных подножках курили санитары и раненые. В какой-то момент Курашвили увидел, как санитары и раненые зашевелились, стали оглядываться и сторониться, они раздвинулись, и на площадку вагона за спиной главного врача вышла сестра милосердия. Один санитар spryгнул и подал ей руку, сестра сошла на землю и решительными шагами пошла в их сторону. Курашвили смотрел на сестру и не мог пошевелиться. Это была...

Худошавый комендант увидел ее и поджал губы, крепыш лет пятидесяти, главный врач, обернулся и стал чертыхаться:

— Принесло на мою голову, ведь не хотел соглашаться! — Он бросил папиросу под ноги. — И не соглашусь!

Сестра подошла, кивнула всем, взяла главного врача под локоть и отвела на несколько шагов. Комендант тоже бросил папиросу, Курашвили о своей позабыл. Комендант промолвил:

— Всем хороша, да только... — он не успел договорить, часто раздались три свистка, паровоз дал гудок и поезд задрожал. Шептавшиеся сестра и главный врач махнули друг на друга руками, и сестра с недовольным лицом пошла к вагону, откуда с площадки ей уже призывно махали и — Курашвили это отчетливо видел — радостно улыбались санитары. Они протянули ей руки, и сестра исчезла в тамбуре.

Главный врач, проходя мимо Курашвили, высказался:

— Обещался ее матушке, моей сестрице, присматривать, и с нее взяли обещание не своевольничать, так, представляете, рвется в полковые санитарки, прямо, как сноровистая лошадь постромки рвет. Приедем в Гродно, спишу, от греха подальше!

Когда сестра проходила мимо Курашвили, она мельком глянула и сунула ему в руки какую-то книжицу, и Курашвили тут же о книжице забыл. Только что он лицом к лицу столкнулся с Татьяной Ивановной Сиротиной, девочкой, девушкой-гимназисткой из соседнего с ним дома, что во дворе доходного дома лесопромышленника Белкина.

Курашвили дрогнул и побежал за Татьяной Ивановной к поезду, поезд уже тронулся и разогнался, санитары удивленно смотрели на Курашвили и ничего не делали, тогда Курашвили остановился и стал смотреть в окна проходящего вагона, но в окнах никого не было, потому что вдоль них тяжело раненные лежали.

Тем же путем Курашвили вернулся обратно, только эшелон, на котором он приехал, уже ушел, и стояли пустые пути. Он стал искать начальство. Железная дорога проходила к западу от Белостока, а еще западнее путей было голое поле с куртинами высоких кустарников. Между ними расположились эскадроны, и авангард его медицинской части. Свои две повозки с красными крестами на брезентах, фуру и двуколку он увидел издалека. Надо было идти к ним, но вместо этого хотелось сесть где-нибудь на пне и все обдумать. И закурить. Он ошупал на груди шинель, там во внутреннем кармане лежали письма.

«Вот это да! — вращалось по кругу в голове. — Вот это да!» Это «Вот это да!» возникло в тот момент, когда он встал перед идущим уже санитарным поездом, и не остановилось до сих пор. В его голове произошло раздвоение: он то видел, как Татьяна Ивановна переходит через его ставший родным Кисловский переулочек на противоположную сторону и идет к Никитской, то он видел, как она идет мимо него к главному врачу санитарного поезда, который оказался ее дядькой. И видел по-разному: по Кисловскому он не мог разобрать, во что она была одета и даже что это было, зима ли, лето ли? Он видел только ее легкую изящную фигуру, а тут! А тут она шла прямо на него. Совсем близко. Тут она была еще более изящная, в белой, скрепленной под подбородком накидке, длинной, почти до локтей; накинутом на плечи пальто, под которым мелькал белый передник. Она была похожа на монашку, только светлую и с крестиком — вышитым красными нитками на груди.

Сестр было негде, не торчал ни один пень, и Курашвили увидел, как рядом с повозками возятся фигуры, одна фигура распрямилась во весь рост и посмотрела в его сторону. Это был Клешня. Теперь, даже если бы пень появился, сестр уже было бы нельзя. Он одернул шинель и нащупал что-то в кармане и вспомнил, что это книжка, сунутая ему в руки Татьяной Ивановной. Она его не узнала. Но разве это было удивительно!

Курашвили огляделся, между ним и его повозками лежал нетронутый снег, и он поискал глазами что-нибудь вроде колеи, и нашел. Он встал на нее и пошел к повозкам, к лагерю, на ходу вынул из кармана книгу и посмотрел — это был томик Чехова. Он покрутил его и на уголке об-



наружил пропитавшую матерчатую обложку засохшую кровь: «Книжка какого-нибудь раненого, — подумал он, — умершего раненого!»

Вокруг повозки ходили и, разглядывая ее, разговаривали старший фельдшер, Клешня и кузнец. Курашвили остановился в нескольких шагах, вынул из кармана книжку и, делая вид, что занят, стал слушать и, как бы невзначай, поглядывать на компанию. При его приближении все трое остановились, но увидев, что врачу не до них, продолжили свое дело. Быстро выяснилось, что дело было в том, что треснула передняя поворотная ось фуры, и это стало большой бедой, потому что поменять ее не было возможности, вокруг было только поле и кусты. Это встревожило Курашвили, фура была слишком важной частью его хозяйства. В первых эшелонах, в которых приехали 1-й, 2-й и 3-й эскадроны, места хватило только для части медицинского хозяйства полка, остальное осталось в Бялы-Подляске, и должно было прибыть следующими эшелонами. Слава Богу, все медикаменты и большую часть перевязочного материала он взял с собой. А теперь получалось, что если ось не починят, значит, что, бросать эту часть чего-то самого нужного? С кем? На кого? Он захлопнул книжку, сунул в карман и подошел к фельдшеру:

— Сделайте шину на ось, шпагата есть много, а дальше, может быть, удастся что-нибудь срубить по дороге, подходящее.

Старший фельдшер смекнул быстро, объяснил кузнецу про торчащие кругом кусты орешника, и тот взялся за топор. Курашвили, пожимаясь от влажного холодного ветра, залез в двуколку, накиннул на ноги полость и стал думать о том, что только что произошло.

Алексей Гивиевич Курашвили, тридцати лет отроду, был потомственным врачом и москвичом. Его предки давно перебрались из Грузии, его фамилия звучала гордо — «Сын Куры», но эти русские ничего не понимали в старинных грузинских фамилиях и вечно путали гордую горную реку, на которой стоял тысячелетний Тифлис, с домашней птицей. Отец Алексея Гиви Нодарович Курашвили служил приват-доцентом на медицинском факультете Московского университета и имел практику, а двадцать лет назад ему предложили кафедру в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, и они покинули Москву. Алексей пошел по отцовскому пути, кончил Академию по кафедре военно-полевой хирургии и выпустился в госпиталь Московского военного округа. Жил при госпитале, а полтора года назад перебрался в центр и снял квартиру в доходном доме лесопромышленника Белкина, что в Малом Кисловском переулке в двух шагах от Арбатской площади. От госпиталя было довольно далеко, но жить в Лефортове ему наскучило. Дом в Кисловском, построенный как поставленный на бок ученический пенал, своим парадным подъездом выходил в переулок; под правой стеной у него располагался обширный рабочий двор театра «Интернациональный»; слева, как раз под окнами снятой Алексеем Курашвили квартиры, был уютный дворик с соседним доходным домом и каретным проездом. Вот

в этом доме, в соседнем, и жила Татьяна Ивановна Сиротина. В этом дворике он ее и увидел в первый раз, когда разгружали мебель ее семьи, и потом, когда она выходила в гимназию, приходила из гимназии, гуляла с собачкой, сидела на лавочке с подругами гимназистками, в общем, довольно часто. Комнатная девушка сопровождала ее класса до восьмого или девятого, до какого-то старшего класса гимназии, после Татьяне Ивановне, видимо, была предоставлена свобода.

Курашвили сидел в двуколке и думал, глядя перед собой на серый мрачный изнутри брезентовый полог, и в этот момент его внимание отвлек Клешня, тот стал отвязывать караван из трех лошадей, личный обоз полковника с его гардеробом, винным припасом и столовой посудой. Клешня увидел, что Курашвили смотрит, козырнул, сказал: «Здравия желаю, ваше благородие», и потянул головную лошадь. «Нет, чтобы сказать "Доброе утро, Алексей Гивиевич!" или хотя бы "Гирьевич!" Вояки!» Курашвили был недоволен тем, что его отвлекли от приятных или не очень приятных воспоминаний, мыслей, потому что то, что он только что видел, было для него не очень приятно, в смысле, неожиданно, непонятно и даже тревожно: «Полковая сестра милосердия! Да что же это делается?»

А Клешня отходил и тянул за собой караван. Ему было неловко за то, что он отвлек врача, он видел, что тот остался недоволен, но, как было не поздороваться, а с другой стороны, как говаривал Розен: «Война войной, а...», тут Розен, как правило, замолкал и смотрел на господ офицеров и все знали, что должно последовать в финале армейской мудрости, и должны были засмеяться. Таких недоговорок у полковника было много, например: «Ученье свет, а...», а заканчивалось странно: «Неученных — тьма!» Это смешило офицеров и придавало суровому армейскому быту оттенок семейности. Полковник не доверял обозам, они всегда запаздывали или застревали там, откуда их было не вытащить, или торчали там, где были не нужны, и весь свой скарб возил за собой. Это был его личный обоз I разряда.

«Война войной, а... неученных — тьма!» — соединил Клешня недоговорки полковника, испугался своего свободомыслия и оглянулся вокруг, но никого близко не было, и никто его дерзости не мог услышать, и он заторопился к лагерю, кострам и палатке офицерского собрания, потому что полковник вот-вот явится, а «обеда по расписанию» еще нет. И тогда будет Клешне нагоняище.

Розен и Вяземский ехали. Розен был недоволен. Вяземский молчал.

Розен был недоволен тем, что комендант, молодой еще совсем подполковник, не обратил на него никакого внимания и все время что-то кричал в трубку телефона, называл длинные номера, а потом поднимал палец и слушал, что ему ответят. Рядом еще стоял телеграфный аппарат Юза, и все время стучал, стучал, стучал.

Вяземский был озабочен тем, что удалось выяснить.

От коменданта они поехали к начальнику гарнизона, и у него Розен получил телеграмму.

На обратном пути полковник читал телеграмму и что-то прикидывал в уме, Вяземский ждал. Когда они уже подъехали к путям и увидели в четверти версты расположившиеся лагерем эскадроны с санитарными повозками, Розен заговорил:

— Вы были правы, Аркадий Иванович! Все, что вам удалось узнать, пока я ждал, когда же удостоит меня своим вниманием этот каналья-подполковник — правда. Там, — он махнул рукою на север и в нескольких шагах от железнодорожной насыпи натянул поводья и перевел своего араба на шаг, — крепко теснят в южном направлении 10-ю армию уважаемого Фаддея Васильевича Сиверса. Судя по тому, что здесь написано, — он передал телеграмму Вяземскому, — нам предстоит встать на правом фланге дивизии, то есть на самом краю нашей 12-й армии, на стыке с левофланговым 10-й армии 3-м Сибирским стрелковым корпусом... И дела там совсем невеселые...

«10-я армия Сиверса, — слушая полковника, думал Вяземский. — Теснят в южном направлении...»

— Вы, вот что, голубчик, поезжайте-ка к коменданту железнодорожной станции и отбейте телеграмму, пусть оставшиеся эскадроны не разгружаются здесь, в Белостоке, а тянут как можно дальше на север, и чем дальше от Белостока, тем лучше. Пусть дотянут хотя бы до станции Моньки или прямо до Осовца. Мы же, не теряя времени, пойдем по шоссе вдоль чугунки в том же направлении, и, может быть, они нас обгонят или мы перехватим их по пути. В Осовце, если других указаний не будет, повернем налево на Ломжу, дивизия выдвигается туда же.

Вяземский с таким решением был согласен, он козырнул, повернул Бэllu и оглянулся. Розен аккуратно перевел араба через рельсы, за рельсами тут же дал шпоры, махнул плеткой, и араб пошел крупной рысью сначала поперек шоссе, потом по снежной целине. Двигавшиеся по шоссе беженцы с телегами и скарбом почтительно остановились. Полковник в свои пятьдесят два года красиво сидел в седле, отменно выглядел, у него была отличная кавалерийская выправка.

Пока ехал к коменданту станции, пока диктовал телеграмму, пока возвращался к эскадронам, Вяземский складывал все сведения, которые были получены, а сведения были вот какие.

К 25 января немцы к фронту 10-й армии генерала Сиверса подтянули крупные соединения: две свои армии. Соединения состояли из резервных и ландверных корпусов. Но уже названия «резервный» и «ландверный», то есть «местный», то есть почти что «ополченческий», никого не обманывали — это были старые крепкие солдаты и офицеры с регулярной подготовкой, а кроме того, по большей части, из местных жителей,

которым было за что сражаться. А 10-я армия, сейчас противостоящая натиску германских войск, всем своим составом как раз находилась на территории Восточной Пруссии.

Особо точных данных не было, но Вяземскому стало понятно, что правый северо-восточный фланг 10-й армии — 3-й армейский корпус генерала Епанчина — уже охвачен немцами, сбит и отступает на юго-восток; прикрывавшая этот фланг конная дивизия генерал-лейтенанта Леонтовича своей задачи не выполнила и замялась где-то в лесах. Южный левый фланг 10-й армии был потеснен 40-м ландверным корпусом немцев и сейчас с арьергардными боями движется на восток. Все корпуса отступающей 10-й армии стали сходиться по радиусам к центру в городке Августов, за которым простирается большой лес. Дороги были завалены сугробами, войска отбивались днем, отходили ночью и были измотаны и голодны, обозы и артиллерийские парки частью попали в плен, частью были рассеяны или ушли в тыл, немцы наседали. Беда состояла в том, что достаточного управления войсками ни со стороны главнокомандующего Северо-Западным фронтом генерал-адъютанта Рузского, ни со стороны командующего 10-й армией генерала от инфантерии Сиверса не было. Вяземский это чувствовал, и это волновало. Успокаивало только то, что в тылу 10-й армии стоит крепость Ковно, а южнее порядочно оборудованная — крепость Осовец. Однако если 10-я армия не остановится и не даст достойного отпора противнику, эту битву можно будет считать проигранной. Полк Розена должен был занять позицию между 10-й и своей 12-й армией.

«Хорошо! — думал Вяземский. — Мы выйдем на наш северный фланг, а если 10-ю уже сомнут, значит, между нами окажется большой разрыв и туда...» На этом Вяземский остановил свои размышления и прищиприл Бэллу.

Немцы начали наступление 25 января.

Сегодня было 3 февраля.

Курашвили услышал топот копыт, выглянул из-под полога и подумал: «Вовремя Клешня занялся делом». Розен выехал с целины на натопанную эскадронами дорогу, дал плеть и фертом пролетел мимо Курашвили, подскакал к палатке и спрыгнул с коня. Клешне, стоявшему тут же, показалось, что полковник и его араб были в полете одновременно. Он восхищенно смотрел на уже растаявший в воздухе след этого двойного полета и вдруг услышал свистящий шепот:

— Жрать, каналья, чего вылупился?

Клешня вздрогнул — это был командир 1-го взвода 2-го эскадрона корнет Введенский. Он появился неожиданно. Клешня его не видел. Розен прошел в палатку, а за ним, грозя Клешне кулаком, проскочил Введенский.

«А у меня все готово», — подумал Клешня и пожал плечами.

— Че жмешься? Команды не слышал? — то, что он услышал, было снова неожиданно, и он опять вздрогнул. Это был вахмистр 1-го эскадрона Жамин. Жамин выпятил грудь и встал, как на караул около входа в палатку офицерского собрания.

Однако поднятая Введенским и так неожиданно поддержанная Жаминым буря («Куда конь с копытом туда и рак с клешней!» — подумал про обоих Клешня) улеглась, и он занялся своими делами.

Курашвили тоже видел полет Розена — миг любования — он посмотрел в сторону Клешни, Клешня в это время посмотрел в сторону санитарных повозок, они с Курашвили встретились взглядами и стали восхищенно качать головами, морщить лбы и двигать бровями.

Вяземский ходил между палатками своего эскадрона, он был недоволен: «Уже успели растянуть, отдохнуть собрались, черти» — мысленно ругался он и увидел Четвертакова. Четвертаков тоже увидев подполковника, подбежал и откозырял.

— Принимайте хозяйство, вахмистр, — сказал он Четвертакову. — На еду пятнадцать минут. И найдите себе погоны.

\* \* \*

Командир 3-го эскадрона ротмистр Евгений Ильич Дрок закусывал и недовольно кряхтел — полк настоящего пополнения не получил. Это было скверно.

В Бялы-Подляски, пока стояли полторы недели, он подключился к пантофельной почте, и местные жида донесли, что с 25 января делается между Сувалками и Августовым — там, где 10-я армия генерала Сиверса. И Дрок знал все, что знали евреи.

Пантофельная почта была удивительным произведением местечковых контрабандистов, она приносила сведения о событиях, когда события еще только случались. Еврей, торопясь о чем-то оповестить своих, так спешно садился на коня, что часто забывал обуться и скакал босым, а его жонка бежала вслед за ним и размахивала расшнурованными пантофелями.

Еврей сообщил, что после непонятого итога сражений в Восточной Пруссии в конце лета прошлого года командовать германскими войсками приехал сам Гинденбург, а начальником штаба у него Людендорф, и что они что-то затевают. Это было евреям известно давно. Ротмистра Дрока в это время еще не было в Бялы-Подляски, он был сначала в Варшавско-Ивангородской, а потом в Лодзинской операциях, а когда приехал, сведений накопилось столько, что бялоподляских жидов распирало, и они не знали, куда девать. И все это, чтобы не выслали. Тут-то Дрок и начал пить с ними их жидовскую водку, и попался: во-первых этот никому не известный офицер-москаль пьет их водку, не спрашивая рецепта, а она приготовлена особым холодным способом, а во-вторых,

он слушает. Такого с жидами не было еще со времен Александра Первого и Наполеона, и они стали говорить, и им было все равно, что они видят этого ротмистра в первый раз. И они точно знали — что в последний, потому что Дрок по несколько дней сидел в Бресте-Литовском, и получал-получал-получал, а правильнее будет сказать — ждал-ждал-ждал пополнения. Со своей стороны Дрок точно знал, чем можно потрафить простому человеку: пей с ним водку, не кичись и слушай. Научил его этому, как ни странно, поручик Адельберг в 1905 году, когда они познакомились перед неудачным Мукденским сражением. Егерь, молодой лейб-гвардейский подпоручик, переведенный в армию поручиком, Адельберг служил по разведочной части в штабе дивизии, знал по-китайски и много разговаривал с местными жителями, где ласкою, а где и строгостью. Адельберг приносил в дивизию много интересного.

Нынешняя война затягивалась, и Евгений Ильич, потомок целого перечня почетных граждан горяче-солено-сладкой солнечной Астрахани, сделал просто: в Бялы-Подляски он зашел в жидовскую лавку и купил водки, и поселился на жидовской квартире. Все остальное сделали евреи, и Дрок был в курсе всего. «Хорошие люди, — думал про них Евгений Ильич. — Почему бы им в свое время, как я их сейчас, было не послушать своего же Иисуса! И была бы у них приличная вера. А то верят из двух Заветов в один, и тот — Ветхий. Какая-то половинчатость!» А евреев все же выслали, и Дрок, исходя из чувства благодарности к ним, считал, что это было несправедливо.

Из офицеров полка Дрок делился с Вяземским, потому что знал его как человека широких взглядов, только не мог ему простить, что вчера капитан Адельберг проехал мимо. Но никто не был виноват, они трое не знали, что знакомы между собою. Когда Адельберг был в Бялы-Подляски, Дрок еще занимался новобранцами в Бресте.

Какие-то сведения выцеживал и Вяземский, и когда они с Дроком обсудили, то пришли к выводу, что необходимо свести всех боеспособных драгун воедино, полностью укомплектовать первые три эскадрона, часть опытных унтер-офицеров и вахмистров при одном-двух обер-офицерах перевести в 4-й, 5-й и 6-й эскадроны и сделать учебную команду. Неопытных, необученных нижних чинов не было смысла вести в бой на прямую погибель. Розен вначале и слышать не хотел и хотел все утвердить в дивизии, но потом согласился, что в случае неуспеха никто не станет слушать о трудностях полка, а в случае успеха — победителей не судят.

Дрок убедил Вяземского доложить предложение Розену «самолично». После Розена Дрок был следующим по возрасту. А Розен человек ревнивый.

Евгений Ильич наскоро закусывал и, скрываясь, прихлебывал. Он незаметно перелил коньяк из солдатской фляжки в серебряный стакан и выпивал из него, не морщась, как остальные пили сладкую бурду, при-

готовленную Клешной из деревенского варенья. Евгений Ильич был небольшого роста, крепкий, чернявый, с висячими усами с проседью, проседь была и на висках, но его сорока семи лет ему никто не давал. Он был лихим наездником, интересовался нововведениями, пил лихо, как въезжает гусарский полк в какую-нибудь Сызрань, уважал героя наполеоновских войн Дениса Давыдова, бывало, цитировал из него, но не более чем «а об водке ни полслова», и стрелял отменно. За фамилию офицеры прозвали его «Плантагенет», а за верхний передний зуб, который был больше соседнего и нависал, солдаты прозвали его «Зуб». С офицерами Плантагенет был со всеми равным, себя называл «старым тренчиком», с нижними чинами суров, не бил, но матерился виртуозно.

Розен вытер губы, бросил салфетку на стол и распорядился:

— Выступаем через пятнадцать минут. — Он посмотрел на часы. — Идем походной колонной по шоссе вдоль железной дороги. Порядок на сегодня: первый взвод первого эскадрона в разведке. Второй — в охране! Третий эскадрон — в арьергарде. Корнета Введенского оставляю при военном коменданте на станции! — Он обратился к корнету, тот застыл со стаканом в руке. — С вами остается вахмистр, как его? — Он обратился к фон Мекку.

— Жамин, — ответил фон Мекк.

— Из лучших стрелков и имеющих опыт охоты набираем команду. Под вашу руку, — Розен обратился к Вяземскому. — Ваша инициатива, уважаемый Аркадий Иванович, вам и командовать. И пусть их подучит этот ваш...

— Четвертаков.

— Да, он! Вопросы имеются, господа офицеры?

Офицеры молчали.

— Тогда, с Богом! Где отец Илларион?

С высокого перрона белостокского вокзала вахмистр Жамин видел, как удаляется его полк, постепенно превращаясь в длинную черную полосу, смешавшуюся со встречными беженцами и исчезающую в низкой белесой дымке. Полк уходил без него, и от этого Жамин страдал сердцем: «Эх, черти все подери!» — звучало в его голове. Жамин был обижен. Из первого эскадрона, в любом полку лучшего и первейшего, его перевели помощником начальника учебной команды — и это вместо того, чтобы он проявил геройство в кровопролитных боях и достиг всех наград, которые бы полагались ему за участие в боевых делах.

Он начал служить, как все — нижним чином, но своим старанием, прилежанием и дисциплиной быстро достиг унтер-офицерских чинов, а сейчас он уже — вахмистр. Драгуны его не любили, как злослова и драчуна, но ему это было все равно.

Федор Степанович Жамин был родом из Вышнего Волочка. Его отец владел двумя рыбными оптовыми складами, был грамотный, чтил отца,

дедов и прадедов, и своим хозяйством распоряжался со всей широтой и строгостью. В его хозяйстве, помимо складов, припасов и оснастки, числились жена, две дочери и три сына, старшим из которых был Федор. И в семье и в округе Федор считался наследником и опорой отца, а он и был во всем опорой. Кроме как занятием рыбным промыслом, Жамина зимой поднимали медведя, осенью добывали лося, по черноследу гоняли лисиц, и отец не скупился сыновьям на учебу. И так все шло, как по-писаному, но три года назад, когда Федор с отцом и братьями приехал в Тверь разгружать рыбу, он влюбился в дочь отцовского торгового партнера, хозяина одного из тверских оптовых складов. Девушка была с характером, отец ее любил и нанимал дорогих учителей. Она учила французский язык и танцы. Федор привлек на свою сторону ее компаньонку и узнал, что Лена, Елена Павловна, мечтает выйти за офицера и дворянина, она была богатой наследницей, и офицеры квартировавшего в Твери пехотного полка, особенно из дворян, которые разорились, уже начинали вокруг нее выписывать круги, однако отец был категорически против «именитой гольтгыбы» и приискивал жениха из своих. Конечно, у Жамина-отца с отцом Елены никакого сговора не было, Елене замуж было еще рано, всего пятнадцать. Сроки воинской службы сократили до четырех лет, и Федор решил, что он откроется своей возлюбленной и уговорит ее ждать, а со службы и сам вернется офицером и не важно, что «унтер». По-другому распорядилась планами Федора Жамина война, но от этого ему было только лучше, потому что он вернется домой еще и с наградами. Война и вовсе оказалась Федору Жамину на руку — из Твери ушел пехотный полк, а вместо этого открылись госпитали, но ведь там только увечные. Об этом ему писала компаньонка Елены. Самому написать Елене Павловне он решил или когда получит первую награду, или в случае внесения его «персоны» в списки на обер-офицерский чин. Он был так увлечен Еленой, что не почувствовал личной заинтересованности ее компаньонки.

Полк на глазах Жамина растворился, он перекрестил его вслед, повернулся лицом к вокзалу и пошел искать корнета Введенского.

Корнет Введенский был слабодушным. Офицеры полка видели это и очень жалели его. После Лодзинского дела, ввиду убыли офицеров Введенского назначили командиром 1-го взвода 2-го эскадрона, но сам он после пережитого ужаса, в особенности после гибели его друга корнета Меликова и сожжения немцами могилевицкого леса, мечтал получить не слишком увечное ранение, чтобы с честью оказаться в глубоком тыловом госпитале на долгом излечении. Розен об этом догадывался и назначил его начальником учебной команды, с надеждой, что, может быть, корнету удастся найти себе место при каком-нибудь штабе или тыловой службе. На войне такие люди могли только подвести.

\* \* \*



40 верст до станции Меньки полк преодолел в один переход. 4 февраля на станции уже ждало пополнение, хотя и далеко до штатного расписания, и полк выдвинулся к крепости Осовец.

В штабе гарнизона находились комендант крепости генерал-лейтенант Карл-Август Александрович Шульман, полковник Розен, Вяземский, адъютант полка Щербаков и офицеры гарнизона крепости.

Розен передал прочитанную телеграмму Щербакову:

— Николай Николаевич, теперь это ваше хозяйство. И так — требуется восстановить связь с Третьим Сибирским корпусом и после идти на соединение с дивизией на Ломжу! Ну, что ж! На Ломжу, так на Ломжу! Аркадий Иванович, разработайте маршрут.

Вяземский стал изучать карту. По сведениям коменданта Осовца генерала Шульмана 3-й Сибирский корпус, подпираемый группой 40-го ландверного корпуса генерала Литцмана, попытался зацепиться за городок Граево, но был сбит. Сейчас 3-й Сибирский корпус мог находиться северо-восточнее Граево.

— Скорее всего, это так. — Генерал Шульман тоже смотрел на карту. — По данным разведки моего передового отряда части Третьего Сибирского отбиваются от немцев уже вот здесь, в районе Райгрода, это от Граево еще около тридцати верст на северо-восток. Поэтому вам, Константин Федорович, видимо, придется действовать летучими отрядами. Между этими двумя городками высокая плотность немецких войск. 2 февраля мой отряд оставил Граево, и его заняли немцы — части восьмидесятой резервной дивизии Сорокового ландверного корпуса. Мы стреляли по нему, думаю, что у них в этом месте пока неразбериха. Четыре полка пятьдесят седьмой пехотной дивизии Сибирского корпуса и две сотни сорок четвертого казачьего полка переданы мне и сейчас находятся вот здесь, — генерал показал на карту, — на линии Цемноше-Белашево, шесть верст на север от Осовца на шоссе в Граево. Как раз эта дивизия, — генерал распрямился от карты, — и должна была заполнить промежуток между флангами Десятой и вашей Двенадцатой армией. И получается так, что пятьдесят седьмая дивизия и есть левый фланг Сибирского корпуса. Так стоит ли вам, Константин Федорович, отправлять разьезды и пакеты, за тридцать верст... в постоянно меняющейся обстановке?

Розен думал, он смотрел на карту, потом поднял глаза на генерала, и высказался:

— У меня есть приказ — установить связь не с пятьдесят седьмой дивизией, а с командованием корпуса, генералом Радкевичем, а приказ есть приказ.

Шульман с пониманием кивнул:

— Воля ваша, Константин Федорович. Тогда предлагаю выехать на рекогносцировку, на линию Цемноше—Белашево—Пшеходы!

Через двадцать минут по высокой насыпной дороге, которая от обширных, занесенных снегом болот Осовца вела на север в Граево, группа офицеров в сопровождении ординарцев выехала на северную околицу деревни Цемноше, оседлавшую шоссе и протянувшуюся влево до железнодорожной ветки. Офицерам в бинокли было видно передвижение немецких войск на расстоянии от трех до шести верст на севере и на западе. Розен, Шульман, Вяземский и Щербаков смотрели на север и северо-восток в том направлении, где находились городки Граево и Райгрод.

— Само шоссе, Константин Федорович, немцами уже занято и не пройти даже по параллельным проселкам. А видите справа обширная долина с перелесками и кустарниками? Там много накатанных санных дорог, они соединяют хутора и выселки, по ним можно пройти до самого Райгорода, если ночью. Немцы наступают с севера и запада, восточная сторона шоссе пока еще за нами, так что я думаю...

«И выходить надо с Заречного форта, оттуда практически по прямой...» — слушая Шульмана, прикидывал Вяземский и готов уже был высказать свое мнение, в это время заговорил Розен:

— У вас на правом фланге есть фортеция, как она называется... бишь... — он отпустил поводья. — Как же она?..

— Заречная... — начал Шульман, — в десяти саженьях впереди на дороге взорвался снаряд, он поднял высокий столб земли и камней, прилетевший оттуда осколок срезал Розену левую руку, она выпала на землю из повисшего наполовину разрезанного рукава шинели, Розена взрывной волной выкинуло из седла под коней стоящих рядом офицеров. Его араб сначала присел на задние ноги, но, видимо, почувствовав пустоту в седле, сделал большой скачок и погнал по дороге вперед бешеным галопом.

«Испугали араба, с ума сошел!» — была первая мысль Вяземского. Когда прошла оторопь после взрыва, он спрыгнул на землю и побежал к полковнику. Рядом с Розеном уже сидели Щербаков и Шульман. Щербаков вскочил и заорал:

— Санитары, мать вашу!

Спокойный Дрок достал индивидуальный пакет, сказал Шульману: «Разрешите!», — присел рядом с Розеном и стал туго обматывать ему руку под самым плечом. Вяземский видел, как бившая толчками кровь стала вытекать все меньше, и когда Дрок взялся бинтовать руку вторым бинтом, почти перестала, только набухла на бинте. Сверху над головами стали хлопать шрапнели, на всадников посыпались пули и осколки. Санитары 228-го Епифанского полка выкатили из перелеска санитарную двуколку, уложили в нее Розена и погнали в сторону крепости.

Вяземский был растерян, он онемел и пришел в себя только с мыслью: «В крепости Курашвили — не даст умереть!» С дороги надо было уходить, потому что немцы пристрелялись.

После того, как в крепостном лазарете Вяземский увидел в беспамятстве лежавшего на столе Розена и Курашвили, который с другими врачами колдовал вокруг него, он перешел в штаб и велел вестовому вызвать Четвертакова.

В штабе Шульман оценивающе поглядел на Вяземского, но ничего не сказал и пригласил к карте. Вяземский показал на форт Заречный:

— Если отсюда, Карл-Август Александрович?

— Не ломайте себе язык, Аркадий Иванович, в феврале обойдемся без Августа...

Вяземский про себя улыбнулся и согласно кивнул.

— ...Только отсюда, — сказал Шульман. — Там через пойму Бобра и болота проложена гать. А больше никак не пройти. Кого пошлете?

Вестовой с рук на руки передал Четвертакова адъютанту штаба крепости, и тот ввел его в каземат. В первую секунду Четвертаков растерялся от такого количества незнакомых офицеров, но увидел Вяземского.

— Подойдите! — приказал ему Вяземский.

Разговаривали втроем: крепостной инженер штабс-капитан Сергей Александрович Хмельков, Вяземский и Четвертаков слушал.

— Рекомендую все же начать движение не с Заречного, а от опорного пункта Гонендз — это наш самый восточный узел обороны. От него левый берег Бобра сухой и песчаный. Надо пройти две версты, там настлан мост по льду через Бобра и от этого места надо двигаться все время на север две с половиной версты. Там параллельно идут два русла — Лыка и Дыблы...

— Понимаете? — спросил Четвертакова Вяземский и стал пальцем показывать на кроки. Четвертаков смотрел на рисованную схему и понимал.

— Хорошо! — сказал Хмельков. — От того места, где сойдутся эти два русла, начинается осушительный канал почти до самого Райграда...

Четвертаков поднял глаза на Вяземского.

— Осушительный канал, это просто широкая и глубокая канава...

Четвертаков кивнул.

— Канал, — продолжал Хмельков, — прямой, как стрела...

— Как чугунка... — понимающе кивнул Четвертаков.

— Да, — согласился Хмельков, — только чугунка, железная дорога, настиляется поверху, по насыпи, а канал...

— Ясное дело — канава...

Хмельков и Вяземский переглянулись и сдержали улыбки, но Четвертаков это заметил: «Лыбьтесь, лыбьтесь, — подумал он, — вот как вернуса!..»

— Не отвлекайтесь, Четвертаков!

Четвертаков вытянулся.

— Местность болотистая, но сейчас покрыта снегом и изрезана проселочными и санными дорогами между хуторами, ровная и для скрыт-

ного передвижения неудобная из-за белого снега, но почти вся поросла высокими кустарниковыми рощами...

— А можно?.. — Четвертаков протянул руку к схеме.

— Можно! — Уверенно сказал Хмельков. — Я сейчас перерисую, это займет несколько минут... без дополнительных обозначений. И тогда можно.

Вяземский внимательно посмотрел на Четвертакова.

— Не сумлевайтесь, ваше высокоблагородие, найду, не собьюсь, только бы их секретов на пути не случилось...

— Хорошо! Идите, получайте ориентировку и сухой паек на трое суток, с вами пойдет мой вестовой...

Рядом оказался генерал Шульман, он слушал.

— Я дам двух казаков, донцов...

— Одного, ваше высокопревосходительство, вчетвером больно густо чернеть будем на снегу... — перебил генерал-лейтенанта Четвертаков.

Офицеры переглянулись и, удивленные такой резвостью Четвертакова, покачали головами.

Четвертаков повернулся «кругом», зазвенели его шпоры: «Надо бы снять, — подумал он. — А то будут звенеть, как мудя у зайца!»

Полковой писарь розовощекий из тверских приказчиков Гошка При-тыкин, кучерявый, будто черти вили, протянул Четвертакову ориентировку, написанную в трех экземплярах на тонкой папиросной бумаге:

— Хороша бумажка! — Он выпятил толстые губы. — В такую табачок турецкий завертывать, а не вам, вахлакам, под шапку сувать, все одно со-преет! Ты... — он промокнул на лбу пот, потому как любимым его делом было прописывать буквицы и очень красиво получалось. — Ты знай, что ее можно съесть, горло драть не будет! Пайка-то много дают?

Четвертаков хотел сплунуть ему под ноги, но мужик Притыка был не задиристый, а почему-то всегда голодный, поэтому Кешка слюну сглотнул. И пол в каземате был чистый.

Донского казака, что был им придан, звали Минькой. От Гонендза они исправно прошли до русла Бобра. По настланному мосту перешли на правый берег. Кешка постучал по льду концом пики и понял, что лед хрупкий и ненадежный, потому что за прошедшие две недели мороз дважды сменялся оттепелью.

— Че стучишь? — В голос спросил Минька. — Али в гости жалаишь?

Четвертаков повернулся:

— Ты, вот чего, горланить будешь, када свою бабу на околице узришь, кумекаешь?

Минька не услышал суровости в тоне вахмистра, а только ослабил:

— Эх, была б щас моя баба...

— И што?

— А погляди кругом!

— И што угляжу?  
— А снег!  
— Ну, снег!  
— Она б меня укрыла!  
— Што, такая большая баба?  
— Не, голова садовая — даром што вахтмистер-министер, — она бы накрыла мне с конем простынью поболе, и мы на снегу бы... хрен кто различит.

— А глядеть-то как через простынь?  
— А гляделки бы и вырезал!  
— Себе, штоль?  
— Говорю же... в простыни — и мне и коню!

Ориентироваться было просто: на севере, между Граево и Райгродом, куда Четвертаков, донской казак Минька Оськин и вестовой Евдоким Доброконь держали путь, польхали зарницы артиллерийской перестрелки. Шли переменными аллюрами; когда местность открывалась широко и под ногами была санная дорога, гнали полевым галопом, а когда приближались к рощам и обширным зарослям кустов, переходили на рысь или вовсе на шаг. Вокруг было безлюдно, в нескольких местах дорога расходилась на две или пересекалась с другой дорогой, иногда сворачивала и вела неведомо куда, тогда сходили с лошадей и вели их в поводу по снегу, пока не доходили до следующей дороги. Ориентировались на канал по правую руку. Канонада приближалась, горизонт польхал уже не зарницами. В какой-то момент Минька выехал вперед и остановился.

— Глянь! — сказал он Четвертакову.  
— Че? Куда?  
— А вона впереди...  
— И че? — Кешка вглядывался в дальнюю границу белого поля, над которой чернел лес. До этой границы было не меньше версты.

— Чую, за тем лесом бьются, а на опушке... не видишь?  
Кешка помотал головой.  
— ...люди ходють и верхие и пешие... кабы не артилерия...  
— А идут куда, на восход или на закат? — спросил Кешка и оглянулся на Доброконя. — Ты видишь?

Доброконь отрицательно помотал головой.  
— На закат, — уверенно промолвил Минька и потянулся за кисетом.  
— Куды дымить надумал? — зло спросил его Кешка. Он был зол от того, что он, таежный добытчик и родной, почитай, брат байкальского медведя ничего не видит.

— Ты... вахтмистер-министер, соткеда будешь, с лесу, небось?..  
Кешка хотел ответить, но Минька не дал:  
— А я со степу, мы знашь, каки глазасты, особливо када с конями в ночном! Не углядишь, волки мигом сцапают, а тятка поутру со спины шуру-то спустит до самых до пяток, дык, поневоле глазастым будешь.

Кешка смолчал.

— Я вот че думаю! Ну-ка, глянь-ка туды, за спину!

Кешка и Доброконь повернулись и увидели, что за спиной у них белое поле просматривается совсем недалеко и ночное небо сливается с чернотой кустов и рош.

— Вот, — сказал Минька, присел и закурил. — Нас, ежли оттудова смотреть, — и он показал рукой вперед, — где оне шаволятся, так и не видать. Думаю, ежли коням дать передохнуть и нам перекурить, одним махом добежим, к утру будем на месте, тока бы проселок не подвел, штоб целиной не иттить!

Кешка уже понял правоту, но внутри еще сопротивлялся и мысленно грыз Миньку, а руки потянулись, он ослабил подпругу на Красотке и вынул мундштук. Красотка, благодарная хозяину, тут же ткнулась мордой в снег. Доброконь не стал ни курить, ни ослаблять подпругу своей лошади, а только за повод отвел ее к ближним кустам и слился с ними.

Те, кто перемещались в черной ночи, оказались полуротой пехоты под командованием старшего унтера Митрия Огурцова, он так и представился: «Полуротный старший унтер Огурцов Митрий!» и двумя расчетами при трехдюймовках. Они должны были обогнуть лес и встать на фланге у немцев. Унтер объяснил, что, как только они в сумерках вышли с южной окраины Райграда и стали продвигаться на запад, одна-единственная пуля убила ротного командира поручика Иванцова, и они везли его с собой.

Где найти штаб 3-го Сибирского корпуса Огурцов объяснил толково: «... тока ежли он еще не съехал!»

Штаб не съехал. Четвертаков, забирая с юга на восток, объехал маленький Райград, к утру добрался до корпусного обоза I разряда, нашел штаб, передал ориентировку, получил кроки, горячее довольствие, Минька отпросился к донцам, немцы наседали и пытались окружить части корпуса в обход Райграда с севера и запада. Иннокентий торопился, однако до наступления темноты о выходе из расположения корпуса было и «думать неча». Минька появился вовремя, икая и обогащая свежий морозный воздух едким, кислым перегаром.

«От сучий потрох!» — подумал про него Кешка, но смолчал. Минька был бравым казаком.

\* \* \*

6-го утром, Вяземский принял полк. После Розена он был старшим по чину. Построение перед выходом на Ломжу было назначено на шесть часов, и Аркадий Иванович пошел в крепостной лазарет.

Розен лежал в белой палате на койке с никелированными спинками, накрытый одеялом под грудь. Рядом сидела сестра милосердия, она только что сменила ночную сиделку и смотрела температурный лист с эпикризом, оставленный Курашвили. Вяземский вошел на цыпочках,

шпоры он отстегнул. Розен лежал с закрытыми глазами, и было непонятно, он без сознания или спит. Сестра подняла глаза и поднесла палец к губам. Вяземский подошел к кровати и увидел, что Розен ровно дышит.

— Спит? — спросил он одними губами.

— Спит, — также губами ответила сестра и показала рукой, мол, выйдем.

Вяземский еще секунду постоял и повернулся к двери. Они вышли.

— Как вас зовут? — спросил он сестру. По лицу и румянцу он понял, что ей лет восемнадцать.

— Татьяна Ивановна Сиротина, гродненский лазарет. — Тихо ответила она и сказала: — Ваш полковник почти не потерял крови, его очень хорошо перевязали, и доктор у вас чудо. Я его где-то видела.

— Доктор Курашвили.

— Не беспокойтесь, с вашим полковником все будет хорошо. Как только он немного окрепнет, мы сразу заберем его к себе в Гродно, там тоже хорошие врачи. Я только что оттуда.

— Спасибо, — сказал ей Вяземский, посмотрел через дверную щелку на Розена и попрощался.

Аркадий Иванович шел по плацдарму и думал про сестру милосердия Татьяну Ивановну Сиротину.

Это была огромная радость и ликование офицеров Его Величества Кавалергардского полка и всей гвардии и армии, когда 17 июля 1914 года была объявлена мобилизация. После поражения от японцев военное сословие жаждало войны и побед. Побед! Особенно после унижений, которым подвергались офицеры от русского «грамотного сообщества» последнее десятилетие! А как возликовала улица! Офицерам и нижним чинам не давали проходу: цветы, речи, «Слава Царю и Отечеству!», «Утрем нос!», «Растопчем...»...

«Иконами закидаем... — вспомнил Вяземский. — Так то были японцы!» Когда адмирал Макаров уже утонул на подорванном «Петропавловске», генерал Куропаткин еще ехал на Маньчжурский театр военных действий и по всему пути собирал православные иконы. Офицеров гвардии отпускали на японскую войну не всех, и Вяземский туда не попал. Потому вся гвардия так жаждала войны. Он подошел к коновязи, взял из рук Клешни повод и похлопал по шее Бэллу, та скосила глаз и переступила.

«А где-то сейчас розеновский арабчик бегаёт? Небось, уже под седлом какого-нибудь герра Штольца! А эта, Татьяна Ивановна... Сиротина, кажется? Ей бы...» Вяземский не успел додумать, его прервала громкая команда фон Мекка с плацдарма:

— Смир-р-р-на! Глаза на-пра-о!

После молебствия полк двинулся.

Рядом с Вяземским ехал генерал Шульман. Перед выездными воротами они отъехали на обочину и пропустили полк. Вяземский задрал

голову. Между высокими облаками, в темно-синем еще предрассветном небе плыла черная точка. Было трудно разобрать, потому что очень медленно, но точка плыла с востока на запад.

— Наш, Осовецкий воздухоплавательный отряд. Из Гродно взлетают. — Сказал Шульман и вздохнул. — Сейчас бы понаблюдать с его высоты.

— А кто это?

— Мой племянник, поручик Петров.

Вяземский следил за аэропланом, пока тот не скрылся в облаке или над облаком, похлопал Бэllu и подумал: «Куда нам — нашей разведке — с высоты двух аршин и четырех вершков в холке!»

С наступлением сумерек Четвертаков и команда двинулись на Осовец. Они возвращались тем же путем, стараясь не уклониться ни вправо, ни влево. Лошади отдохнули и отъелись, Красотка заигрывала с поводом и хватала зубами. Это забавляло Кешку, и он не думал об опасности. Они шли по опушке леса и почти дошли до того места, где встретились с полуротой этого смешного Огурцова, и увидели, что на дорогу вышли вооруженные люди.

— Огурцов, небось! — хохотнул Оськин, и пришпорил дончика. Справа на севере также грохотала канонада, и на облаках, где они были, вспыхивали отсветы выстрелов и взрывов. Кешка и Доброконь тоже пришпорили и навстречу из леса из-за спин пеших военных выскочили несколько всадников и во весь опор поскакали на Кешку и его товарищей. В этот момент Кешка понял, что это немцы: когда те отделились от черного леса и приблизились на несколько сот саженей, он увидел на их головах каски. Деваться было некуда — справа лес, слева снежная целина. Он дал шпоры Красотке, оглянулся и только выдохнул Доброконю: «Молча!» Две группы всадников быстро сближались, немцы стали стрелять, несколько пуль просвистели, и когда на Кешку уже налетел всадник и выстрелил, Кешка уклонился влево и полосонул немца шашкой поперек. Немец не ждал такого удара, у него в руке был пистолет, а Кешкину правую руку дернуло так, что на кисти остался один темляк, а шашка оторвалась. Это было неожиданно, и Кешка дал Красотке шенкелей вправо, когда на него, стоя в стременах, уже налетел другой всадник. Кешка держал в левой руке пику на укороченном ремне и, как воздух, пронзил немца. Тот вылетел из седла и падал с пикой в груди. Кешке выбило левое плечо, ему стало нечем обороняться, унтерский револьвер он не любил, его надо было взводить каждый раз. Он развернул Красотку и поскакал назад. Пика Доброконя сломалась в шее лошади немецкого всадника, но тот был цел и на падающем коне налетал с саблей на Доброконя. Кешка пошел на него Красоткой и опрокинул на снег. Немец не успел выскочить из стремян, и лошадь его придавила. Оськин отмахивался от двух наседавших шашкой, одного зарубил, другой поворотил лошадь и нарвался на Доброконя. Дальше Кешка не смотрел, он скинул с плеча карабин и по твердой утоптанной дороге пошел на стрелявших



в него с колена пехотинцев. Доскакать не успел — пехотинцы, все трое, бросились в лес. Тогда Кешка вернулся. Оськин и Доброконь хороводили разгоряченных лошадей и матерились. Кешка соскочил, подошел к лежавшему на спине немцу. Шашка застряла в черепе немца поперек лица так, что Кешка выдернул ее только наступив немцу на лоб. Он вскочил в седло, махнул рукой, и они стали уходить по снежной целине. Через саженой двести вышли на санную дорогу вдоль осушительного канала и остановились перевести дух. Кешка соскочил с Красотки и шагов триста вел ее в поводу.

— Ну што, братцы, надо бы перекурить, — сказал он и повел Красотку к ближним кустам.

Табак трещал, пальцы горели и над самокрутками, как над спиртом, то и дело вспыхивало синее пламя. Вдруг Минька матерно разразился и стал вставать:

— Ты глянь, а мы тут не одни! — Он показал рукой через дорогу, и Кешка увидел, что к ним из снежной целины выбирается белый конь, оседланный и в оголовье. Минька побежал, ухватил коня и вытянул его из глубокого снега на дорогу.

— С прибытком! — весело заорал он. Кешка стал осматривать коня и обомлел — это был араб полковника Розена под немецким седлом.

По прикидкам до моста через Бобр оставалось еще версты три. Канонада за спиной почти утихла. Они уже обсудили схватку во всех деталях и насмеялись до боли в скулах. У Оськина под ленчиком оказалась бутылка с водкой, и они ее выпили, не слезая с седел.

— А вот я интересуюсь, братцы, нам за энто еройство че дадут?

Кешка оглянулся на Доброконя, тот пожал плечами. А действительно, за этот ночной короткий бой — «че дадут!» И он понял: «А ниче»!

— Надо было бы че-нибудь прихватить, палетку, сумку, али документы какие. А так скажут, мол, брешете, кто проверит? — ответил Кешка и подумал: «Надо было шишак, што ли, снять с этого немца, так весь в кровищи был, не снегом же его оттирать!»

По тому, как вдалеке росли кусты, было понятно, что Бобр недалеко. По времени уже должно было светать, но темнота становилась все гуще, как будто время шло не к рассвету, а к полуночи. Кешка глянул вверх и увидел, что с юга от Осовца на них находят низкие тучи и под тучами небо и земля слились.

— Наддай, братцы, метель идет, а нам еще версты три.

Они пошли рысью, араб, было, тянулся за Красоткой на длинном поводу, но как только ускорился шаг, поравнялся и пошел рядом. Кешка любовался белым как снег жеребцом.

Вдруг сзади задрожал воздух, и Кешке показалось, что земля оттуда, от Райгорода, начала ходить под ними ходуном, будто волной. Красотка пошла скачками вправо-влево, чуть не срываясь с дороги. Кешка намо-

тал повод и невольно стал вертеть головой: остальные лошади тоже нервничали, и тут на них на всех, и лошадей, и всадников, сверху обрушился гром. Удар огромной силы придавил спины и плечи к лошадиным шеям. Все разом оглохли, и все вокруг стало неузнаваемым. Дончак под Минькой пал на передние колени и стал валиться в бок, Минька упал вместе с ним, но быстро вскочил. Араб взвился свечой, и если бы не длинный повод, уронил бы Красотку. Кешке показалось, что ему в уши давят по огромной подушке и не отпускают. Голова была готова взорваться изнутри, и он стал сползать с седла. Минькин дончак перестал храпеть. Доброконь стал клониться боком и еле держался в седле. Минька сидел на снегу рядом с упавшим дончаком и натягивал папаху на уши.

Земля под ногами перестала дрожать, и дорога и кусты вроде встали на место. Кешка затряс головой и стал поворачиваться назад, туда, откуда они пришли. Однако там все было спокойно и, похоже, тихо, но в ушах звенело, и он не понимал, где грохочет — в его голове или кругом. Вдруг с той стороны, где была крепость Осовец, блеснула такая яркая вспышка, что Кешка увидел Оськина, стоявшего над своей лошадью и целившегося ей в голову из карабина, как будто бы тот был вырезан из черной бумаги так подробно и в таких деталях, что Кешка различил мушку на конце ствола. Кешка на секунду ослеп. И тут оттуда, где была вспышка ударил гром не хуже того что прогремел сзади секунду назад. «Обстрел, большая пушка, видать!» Он отвязал повод араба и бросил его Оськину. Они поскакали в Гонендз.

До Гонендза они доскакали в темноте и плотной метели. Кешка не ошибся, по Осовцу сделала выстрел крупнокалиберная артиллерия. Кешка решил, что с полученными в штабе 3-го Сибирского корпуса кроками им надо в саму крепость, и проскакали мимо Гонендза. Метель несла снег настолько густо, что пехотные позиции справа от дороги между Гонендзом и Осовцом замела и сравняла с дорогой. Краем глаза Кешка видел, как откапывается пехота. Промежуток времени, когда Кешка, Оськин и Доброконь скакали от Гонендза до Осовца, немецкая артиллерия молчала. Когда уже подъехали к воротам плацдарма, справа раздался взрыв, Кешка его не слышал, но ощутил — взрывная волна опрокинула его вместе с Красоткой. Падая, Кешка машинально выставил левый локоть, упал на него и от боли потерял сознание.

В это же самое время усилилась канонада в шестидесяти верстах севернее Осовца в районе обширного Августовского леса. Это немецкие армии приступили к добиванию 20-го корпуса генерала Булгакова 10-й русской армии генерала Сиверса.

\* \* \*

Иннокентий очнулся оттого, что стал задыхаться. Он открыл глаза, перед ним проплыла фигура в тумане, она была в белом. Фигура сначала прошла мимо Иннокентия, потом, когда тот стал шевелиться и перхаться,

подошла к нему и присела рядом, держа что-то в руках. Иннокентий стал жевать липкую грязь во рту, чтобы выплюнуть ее, но грязь была похожа на клейстер и отделяться от неба и языка не желала. Фигурой в белом была сестра милосердия, Кешка это сейчас разобрал. Она подняла его голову, поднесла ко рту фарфоровую кружку с трубочкой и наклонила, Кешка почувствовал воду и стал пить.

— Нет! — сказала ему сестра. — Надо пополоскать во рту и вот сюда выплюнуть.

— Прочухался, вахтмистер-министер, — услышал Кешка. Конечно, это был Минька Оськин, и Кешка узнал его сразу: по нахальному обращению, по звучанию голоса, по тому, как он... И только тут Кешка обратил внимание, что лицо сестры милосердия замотано полотенцем или марлей, остались только глаза, а воздух в палате был, будто бы напустили туману.

— Это пыль, — сказала сестра, она говорила что-то еще, но Кешка не слышал, он только видел, что она открывает рот, марля там, где рот, шевелилась и была то выпуклой, а то с ямкой по форме рта. Сестра говорила и как-то наклоняла и пригибала голову, и Кешке казалось, что она хочет закрыть голову руками, и тут он стал ощущать, что воздух и все вокруг на секунду-на две как бы оживает, и в это время сестра закрывается.

«Долбят, — понял он, — большие пушки, тяжелая артиллерия!»

— Сейчас я вам тоже обвяжу голову, чтобы вы не задохнулись. — Расслышал он, сестра поднялась, на ее месте тут же оказался врач, большой дядька в пенсне и тоже обвязанный по лицу, и у него так же, как у сестры милосердия, на месте рта шевелилась марля.

— Дай-ка мне руку, — сказал он и, не дожидаясь, когда Кешка поймет, стал поднимать его левую руку. Кешка почувствовал тупую боль в плече.

— Шевелится, — сказал врач и поднялся, — перелома нет, снимите ему повязку и давайте на стул, будем выправлять вывих.

Сестра обмотала Кешке голову марлей, точно так же был обмотан Минька, он лежал на соседней койке, и стала помогать подняться. У Кешки немного кружилась голова, но он спустил ноги на пол и встал сам. Сестра подсунула под него табурет и размотала плечо. Доктор сел, он стал шупать Кешкино плечо. Кешка морщился, но боль терпел. Вдруг доктор дернул, у Иннокентия потемнело в глазах, и он стал то ли падать, то ли взлетать и снова оглох.

— Ну, вот и все! — сказал доктор откуда-то издалека, но его глаза оказались совсем близко, вплотную к Кешкиным, и он глядел ими прямо Кешке в душу. Доктор отодвинулся:

— Пошевели плечом, — велел он. Кешка боялся.

— Не бойся, — сказал доктор. Кешка пошевелил, боли не было, то есть она была, но уже где-то далеко, только, как память.

— Эх, пока ты без сознанки валялся, кругом тута така сестричка была, любо-дорого смотреть, а вчера она с твоим полковником отбыла...

После исправления вывиха Кешка не захотел лежать и сидел. Минька болтал. Он лежал на животе, маленьким осколком от того взрыва около ворот плацдарма крепости Осовец ему разворотило половину задницы и сидеть он не мог, не мог лежать на спине и иногда от боли терял сознание. Он умолкал на полслове и опускал голову подбородком на кулак, и Кешке становилось понятно, что Минька потерял сознание. Но это бывало ненадолго, на пару минут. Сначала Иннокентий не знал, что делать, а потом приспособил мокрое холодное полотенце, которое прикладывал к Минькиному лицу. Про Доброконя Иннокентий узнал, что Доброконь остался цел и вчера отбыл вслед полку, как только полковника Розена в сопровождении сестры милосердия отправили в Гродно. Вместе с ним отправили и его белого араба.

— И арабчика у мене отобрали... А мой-то, от сердца, с испугу и помер, прям, как есть, на дороге...

Кешка вздрогнул, он не заметил, что Оськин очухался после очередного обморока.

— ...военную добычу отобрать у казака... это ж надо!..

Кешка хотел ответить, что арабчик полковнику после такого ранения был, как родня, и нужнее, чем Миньке, но ничего не сказал, потому что Минька замолчал и уставился в белую стену. А сестру милосердия, уехавшую с полковником Розеном, он вспомнил, он видел ее, когда ненадолго приходил в себя. У нее были ласковые глаза и теплые, мягкие, хрупкие пальцы.

С 12 февраля немцы бомбардировали Осовец непрерывно.

От лазарета, находившегося на плацдарме, до штаба крепости, расположенного в Форте 1, Кешка добирался перебежками от угла одних развалин до угла следующих. Немцы кидали бомбы без перерыва, и они взрывались в крепости и вокруг нее каждые две-три минуты. На плацдарме лежали груды битого кирпича, остатки старых крепостных построек, и горело все, что было из дерева. Под ногами валялись и путались телефонные и электрические провода, сорванные взрывами и осколками. Несколько раз Иннокентий чуть не падал.

В штабе его встретил писарь и проводил в канцелярию. Генерал Шульман сидел в свете керосиновой лампы и с несколькими офицерами рассматривал карту. Он поднял глаза на Четвертакова.

— Говорят, ты хороший стрелок? — спросил он. — И хорошо ориентируешься на местности?

Кешка напрягся.

— Я имею в виду, что не заплутаешь! Особенно, если ночью?

— Ни как нет, ваше высокопревосходительство, не заплутаю.

— А в картах понимаешь?

Кешка смутился.

— Да нет! Не дама, король, туз, а вот, посмотри!.. — сказал генерал и позвал Иннокентия подойти ближе. — Глянь, видишь что-нибудь знакомое?

Иннокентий стал смотреть на карту, он увидел геометрическую фигуру с острыми углами — крепость Осовец; кривую линию — реку Бобр; мост через реку рядом с опорным пунктом Гонендз; шоссейную дорогу на Граево и сам городок Граево; разумеется — Райгрод и, даже ему показалось, что он признал то место, где была стычка с германским конным разъездом.

— Покажи, где к вам прибился конь полковника Розена.

Кешке очень хотелось почесать в затылке, но он глянул на офицеров, среди которых уже не было знакомых, и перетерпел.

— Вот тут, — он уверенно показал пальцем в то место, где проходил осушительный канал, а рядом с ним шла дорога и упиралась в другую дорогу, проходившую вдоль леса. — Тут они и наскочили.

— Кто они?

— Германцы. — Иннокентий оторвался от карты и посмотрел в глаза генералу.

— А знаешь, что было в сумках седла на полковничьей лошади?

— Никак нет, ваше высокопревосходительство.

Генерал отклонился и достал сложенную карту.

— Вы наскочили на разъезд германской артиллерийской разведки, вот! — он стал раскладывать поверх лежавшей на столе карты другую, судя по сказанному им — немецкую. На ней Кешка тоже все понял, только названия были написаны незнакомыми буквами.

— И сколько их было?

— Четверо конные и три пехота!

— И вы всех?..

— Не, тока конных, пехота скрылася в лесу, нам их было не выловить!

Генерал посмотрел на одного из офицеров:

— Ну как, поручик, берете его в качестве проводника? Местные-то все ушли или высланы, а дойти надо вот сюда, — генерал показал на карте железнодорожную станцию Подлясок. — Двенадцать верст в северном направлении.

— За две ночи доберемся! — уверенно сказал поручик и посмотрел на Иннокентия.

— Доберемся, — так же уверенно сказал Иннокентий, хотя еще не совсем понимал, о чем идет речь, и посмотрел на незнакомого ему поручика. — Тока нам бы простыней, штуки три.

Первую ночь офицер картографического отдела Генерал-квартирмейстера Северо-Западного фронта поручик Штин, вахмистр Четверта-

ков и два кубанских пластуна пытались передвигаться на лошадях. Идти приходилось большей частью по целине, и на вторую ночь Штин решил оставить лошадей в глубокой мочажине, окруженной кустами, и дальше двигаться пешком. Кешка и пластуны были согласны, потому что в глубоком снегу лошади выбивались из сил быстрее, чем люди. Две трети пути до железнодорожной станции Подлясок были пройдены. Ориентироваться было не сложно: германец кидал бомбы огромных калибров почти без перерыва. Можно было ориентироваться и на свет, и на звук: бабахнет спереди на севере и через несколько секунд взорвется сзади на юге. А смотреть в сторону Осовца было страшно. Не так страшно было в Осовце, хотя громыхало сильно, говорить было невозможно, только если внутри бетонных бункеров и казематов. И потряхивало изрядно. Солдаты, уставшие от прежних боев, шутили, что, мол, «пусть кидает, мы хоть отоспимся, а с койки ниже пола не упадешь». Над Осовцом стоял высоченный столб дыма и бетонной пыли, который достигал, казалось, самого неба.

Перед выходом Штин объяснил, что, как разглядели сверху наши аэропланы, перед Подляском немцы поставили четыре огромные мортиры, калибр которых был почти в локоть, а вес одного снаряда больше веса четырех бочек с камнями. Иннокентий и пластуны удивлялись и морщили лбы. Этих мортир могли не выдержать стены крепости, поэтому их надо было засечь, нанести на карту, а карту доставить в штаб, иначе Осовцу — «крышка».

За вторую ночь они дошли до южной опушки леса, оттуда переползли через шоссе в небольшую рощу и все четверо увидели германские пушки. Это было уже под утро.

Назад Штин отправил со схемой пластунов и с Иннокентием остался ждать.

Долбануло так, что Кешке показалось, что земля подпрыгнула и подбросила над собой весь полусаженной толщины снег.

Светало, Кешка видел, как немцы возятся вокруг мортир, они что-то подвозили, что-то горизонтально толкали, а потом отбегали и закрывали уши. И ударило. Две мортиры выстрелили. Снег упал на землю. Кешка обернулся на Штина, тот не двигался, как охотник на засидке, и молчал. Он смотрел в сторону немцев. Кешке не хотелось шевелиться. После холодной ночи, он чувствовал, как у него теплеют ноги и руки. Так прошло несколько минут, и тут долбануло. От взрыва Кешка пригнул голову и вдруг почувствовал, что поручик Штин тянет его за плечо. Он поднял голову. Немецкие пушки стояли на расстоянии двухсот саженей, но сейчас он их не увидел. Он увидел в воздухе огромное пятно вздыбленной пыли и гари и в нем застывшие на мгновение куски, и в утренних сумерках было не понятно, это куски человеческих тел и бесформенного железа, в середине которого был очерк двух разодранных орудий и прислуги.

Кешка не услышал, а только по губам понял — Штин сказал: «Попали! Возвращаемся!» Штин показал не оглядываться, вскочил и по глубокому снегу через рошу, как мог, побежал в сторону шоссе. В густых кустах перед дорогой он остановился, чтобы перевести дух.

— Смотрите, вахмистр, — сказал он. — День только начинается. По нашей наводке наша артиллерия уничтожила из четырех мортир две. Сейчас у них паника, и нам или тут сидеть до вечера, до темноты, или попытаться проскочить через дорогу и уйти по целине, а к вечеру мы доберемся до коней. Немцы, конечно, начнут шевелиться и, черт его знает, могут нас по следам найти, тогда несдобровать. Как думаете, ждать или уходить?

Кешке очень не хотелось ждать, он проголодался, замерз и начинало ныть плечо.

— Итти надобно, ваше благородие! Пока не совсем рассвело, мы в белых простынях на дороге не шибко будем мелькать, а по целине немец не пойдет, это известное дело, только палить могут...

Штин слушал.

— ...а в кого палить, по белому? Так, хоть сколько, а до коней... где ползком, где бегом... А? Добежим...

\* \* \*

15 февраля приказом командующего 12-й армии генерала от кавалерии Павла Адамовича Плеве Вяземский вступил в командование полком. Для получения приказа, новой диспозиции полка и представления командованию Вяземский прибыл из Ломжи в городок Остров с командиром 1-го эскадрона Дроком.

Все дороги к городку и сам Остров были заполнены войсками, передвижавшимися в северо-западном направлении. С новым командиром полка и ротмистром попросился врач Курашвили, ему нужно было познакомиться с медицинской частью сформировавшейся 12-й армии и кое-что добавить к своему хозяйству. Денщика Вяземский и Дрок решили взять одного — Клешню. Квартирьер дивизии определил прибывшим место жительства, это был небольшой двухэтажный особняк недалеко от центра города с маленьким садом. Хозяева, пожилые супруги, потеснились, офицеры заняли три комнаты во втором этаже, Клешне достался чулан по соседству с кухней. Вяземский выдал Клешне деньги и отправил купить походную посуду для офицерского собрания взамен розеновской, поскольку весь «обоз» полковника был оставлен с ним в Осовце. Клешня ушел первым выполнять поручение, после в штаб уехали Вяземский и Дрок, в своей комнате остался Курашвили, он уже снесся с начальником медицинской части армии и дивизии и договорился о встрече через полтора часа. Сейчас был полдень.

Курашвили курил в тесной комнатке с низким потолком, нависавшим над его лысой головой, и смотрел на накрытый бордовой бархатной

скатертью круглый стол. После утомительной дороги верхом хотелось лечь на кушетку и крепко выспаться. Еще у него был спирт, но перед встречей с начальством о спирте было невозможно думать, и Курашвили решил, что он что-то напишет, вроде письма, это у него уже вошло в привычку. Он попросил у хозяев чернильницу, приготовил бумагу, сел, но уперся взглядом в маленькое окошко и не мог пошевелиться.

«Татьяна Ивановна, Татьяна Ивановна... ведь она же не знает, что я ее знаю!» — эта мысль не выходила из головы доктора с того момента, когда он встретил ее на путях белостокского вокзала. Он очень надеялся, что дядя выполнит обещание и отправит ее в глубокий тыл, а вместо этого столкнулся с ней в осовецком лазарете. Он вошел в операционную, на столе уже лежал усыпленный Розен. Татьяна Ивановна глянула на Курашвили и глазами улыбнулась ему, ее лицо было прикрыто марлевой маской, она готовила инструменты. По тому, как она это делала, Курашвили понял, что она что-то умеет, наверное, кончила курсы сестер милосердия и, может быть, уже ассистировала на операциях. Эта догадка подтвердилась, когда она безошибочно подавала инструменты, зажимала кровеносные сосуды, осушала оперируемое место тампонами...

«Черт, ведь она же не знает, что я ее знаю...»

Курашвили просидел за столом час, за перо так и не взялся и вздрогнул, когда услышал в нижних комнатах бой часов. Он поднялся. Надо было идти. Он только выложил на стол так и не раскрытый ни разу томик Чехова. Это не было желанием или нежеланием, Алексей Гивиевич мистически опасался его раскрывать.

Клешня выполнил задачу командира и приобрел полтора десятка простых оловянных тарелок и кружек, долго торговался и сэкономил, однако не удержался и одно приказание нарушил, для Вяземского на сэкономленное он купил романовский хрустальный стакан. Однако решил продемонстрировать его не сразу, а когда они уже будут от этого городка и какой бы-то ни было цивилизации далеко.

\* \* \*

18 февраля обстрел крепости Осовец уменьшился. Еще стреляли, но после подрыва двух 42-см мортир остальные, меньшего калибра, такой опасности не представляли. Центральный форт уцелел, четырехметровой толщины железобетонные стены выдержали. Кешка отоспался и отелся.

19 февраля рано утром он был отпущен с пакетом и выехал по тыловой дороге в сторону Белостока. Он гнал Красотку во весь опор и не оглядываясь, в голове стучала мысль: «А то превращуся в соляной столб, хоть бы и не баба!» А когда проскакал несколько верст, соскочил и пошел рядом с Красоткой. Она пострадала: от грохота немного оглохла и за



эти несколько дней застоялась. Еще у нее была ссадина на левом боку от того падения. В тесном деннике крепостной конюшни от бетонной пыли ссадина — как раз где подпруга — нагноилась. Еще от плохой, застойной крепостной воды раздулся живот, и Красотка икала и тянулась к лужам. Кешка ослабил подпругу, достал пропитанную вонючей мазью тряпку, врученную ему перед отъездом крепостным ветеринаром и, как мог, пристроил на ссадину под подпругой.

Кешка был свободен.

Он шел по дороге и вместе со своей лошадейю вволю дышал чистым воздухом. Кругом была красота: пусто, вольно и почти тихо. От Осовца еще дышал гром, но разве можно было сравнить? Когда несколько тяжелых снарядов упали на Центральный форт, Кешка вспомнил, как на Байкале было земляное трясение. Но там были ягодки. А Осовец, казалось, подпрыгивал на сажень и с грохотом опускался на землю. С коек не падали, потому что приспособились — можно было просто привязаться ремнем. А то что грохотало, так тоже приспособились — затыкали чем было уши, и вся недолга. Доставалось в основном пехоте между фортами и на опорных пунктах, там окопы перемешало так, что они сравнялись с землей. Однако Кешка этого не видел, только слышал от раненых. Миньку Оськина он не застал, того, пока он с поручиком разведывал немецкие пушки, вместе с другими тяжелоранеными увезли в гродненский крепостной лазарет. Отвезла та же сестра милосердия, «сестра-барышня», как ее прозвали раненые, и вернулась. Писарь, вручая Кешке пакет с пятью сургучными печатями, сказал, мол, не потеряй, мол, там тебе «сюрприз!»

Сейчас Кешка оглянулся. Над Осовцом стоял серый столб пыли и дыма. Столб тянулся высокий, до облаков, а на самом верху его сносило в бок, на восток, тонким плоским шлейфом до самого горизонта.

Красотка переступила к обочине и стала хватать прошлогоднюю сухую траву, Кешка хотел взять ее в повод, а потом махнул рукой и вдруг услышал и не поверил своим ушам — птичий щебет.

«Эка! — подумал он. — Это ж скока я...»

Ему надо было дойти до того места, как ему объяснили, где дорога на юг идет вдоль русла Бобра и болот до развилки, и на развилке повернуть направо, на Ломжу, и до этой развилки было около сорока верст.

Добрался в сумерках. После развилки по правой стороне от дороги тянулась деревня, но в ней не горело ни одно окно, ни один огонек. Это Кешку не удивило, было уже привычно, что местные жители убегают от войны, она, война, не всем «мать родна». В августе в Пруссии, когда вошли, разно бывало, одну деревню немецкая артиллерия спалит, другую русская. В первый раз город взяли, так и магазины не закрылись, а во второй — и дома уже стоят побитые, и местных днем с огнем не сыскать, и в магазинах ни стекол, ни товару, а самому и помыться и подшиться не грех, и коней покормить надо.

Кешка шел по улице, держал карабин на взводе и присматривался, где можно было бы переночевать, авось, где и мелькнет огонек. Но не мелькнул, и он поехал к заборам ближе, а заборы были невысокие. За заборами росли яблони, а может, груши, кто их знает, между яблонями или грушами, может, сливами, было ровно и красиво даже под снегом, хозяйство угадывалось за домами, а не перед, как ему было бы привычно. Единственное, что искал Кешка, был стог сена и не находил его. Он прошел несколько домов и у одного увидел, что калитка не заперта. Он вошел. На подворье лежал полупрозрачный, уплотненный оттепелью снег. Следы были округлые и оплывшие.

«Понятно, — подумал Кешка. — Значится, нету здесь никого уже неделю как, а то и поболее! Значится, как только по крепости начали кидать!» Он прошел за дом, Красотка за ним, Кешка закинул карабин на плечо. За домом на большом подворье все постройки стояли каменные, в одной ворота раскрыты, Кешка заглянул и обнаружил сеновал.

Дальше все было просто: от заднего штакетника он наломал дровишек, разжег костерок, приспособил какой-то ящик под зад, разогрел тушенку, глотнул спиртцу, спасибо братцам, крепостным артиллеристам, покурил, а сначала пристроил Красотку. Он дымил, Красотка хрустела сеном, целая охапка у нее под ногами, и все было хорошо, только еще далеко подрагивала канонада.

Когда все закончилось еда, табак и дневной запал, — Кешка устало поднялся, проверил, крепко ли привязана Красотка, откинул сено, сделал в нем, душистом, яму и завалился. А как завалился, так захотелось покурить, но тут надо было решать, или спать или идти из сеновала, и, думая об этом, Кешка не заметил, как заснул, и ему привиделся Байкал. Большая зеркальная вода, а вдалеке изломанные немецкие пушки или высокие скалы, огромные, похожие на пушки, и вот его жена Марья Ипатьевна идет павою с платочком в руке. Одетая, как сестрица милосердия, с накидкой на голове и в белом переднике с красным крестом на груди, а за ней охотник с того берега Мишка Лопыга, по прозвищу Гуран, только у того через плечо перекинут кавалерийский карабин. Большой дощатый плот плывет по воде Байкала, а Байкал глубоко-о-окий, и Кешке стало вдруг тревожно, потому что народу на плоту много — вся его свадьба, а плот уже одним, дальним углом черпает воду, и вода плещется поверх настила, будто кто тащит плот ко дну или зацепился он за что. Кешка услышал явственно, что плот трещит и проснулся. Рядом с его ухом жевала сено Красотка.

«Фу, напужала, — махнул на нее рукой Кешка. — Чертова Чесотка!»

*(Окончание в следующем номере)*

# ДЕБЮТ

---



**Юлия БОДНАРЮК**

Юлия БОДНАРЮК

## Квартирник

Рассказ

Здесь кто-то жил, но стерся номер,  
Танкист давно уехал прочь.  
Мы спали, а в соседнем доме  
Свет горел всю ночь.

*Сплин*

Концерт давно закончился, аппаратуру отключили, с соседями объяснились, и кое-кто из благодарных слушателей помог музыкантам стащить по лестнице установку и усилители. Задумчивый организатор квартирника в узких очках слонялся по запущенной квартире, подбирая мусор. Половина собравшихся упорно не желала расходиться, откопала на кухне старый чайник и теперь пила чай с добавками разной крепости.

Кира, миниатюрная девушка лет двадцати, осторожно отхлебнула из старой чужой чашки, посмотрела на часы и глянула за окно, где в теплом сентябрьском вечере перебегали из одного фонарного пятна в другое редкие прохожие. Ей не хотелось уходить. Но панки, прочие неформалы и стремившиеся ими быть уже разбрелись, и с каждым хлопком двери улетучивалась народившаяся здесь рок-н-ролльная атмосфера. Снятая на вечер концерта хата пустела. Значит, скоро отсюда попросят всех.

То, что происходило здесь всего час назад, спешило стать прошлым, и от этого Кире было немного обидно. Но все же тот восторг, который к финишу концерта вытеснил из головы все серьезные, грустные и попросту прозаические мысли, не покидал ее, напоминал гитарную струну, которая уже испустила звук, но все еще дрожит в микроскопической амплитуде. И жалко было расставаться с ребятами, чьих имен она не знала, но в которых успела уловить что-то очень ей близкое.

На Киру уже долго смотрел один парень. Кира была заметная девушка, она это знала и беззастенчиво этим пользовалась. У нее были ярко-рыжие волосы, подстриженные коротким каре с челкой. Они никогда не лежали гладко и при малейшем дуновении ветра летали вокруг головы. У нее были большие серые глаза и штук десять бледных веснушек. Еще у нее была худенькая шея, на которой сейчас болтались два шнурка с кулонами, и тонкие руки, по которым от запястий до локтей свободно ездили часы и кожаный проклепанный напульсник.

Парень поднялся со своего стула и направился к ней. Кира улыбнулась ему. Вид у него был характерный — тощий, бледный, черные волосы стоят торчком. Впечатление сглаживали глаза — живые и веселые.

— Ты уже уходишь? Проводить тебя?

— Я далеко живу. Разве что до такси, а то мне не вызвать, телефон сел.

— О'кей! Пошли, рыжая моя подруга! Веня, — он протянул руку, которую Кира с удовольствием пожала. — Можно Веник. Но нежелательно.

У дверей они столкнулись с крепким белобрысым парнем, стриженным почти наголо. Он задержал взгляд на Кире, и это заставило ее притормозить. Секунду-другую они оба стояли, не двигаясь, и разглядывали друг друга, но потом парень отвернулся к стенке и уставился в висящий на ней старый календарь.

...Сквозь еще густые кроны сквера светили фонари, наливая листву где лимонным, где апельсиновым цветом. Свет стекал по решетке сада, испещрял узорчатыми бликами тротуар. Он взбирался на бледные стены, но поднимаясь, слабел, и верхним этажам оставалось довольствоваться сиянием желтой, почти полностью округлившейся луны.

Они шли молча. Веня, который поначалу показался Кире разговорчивым, теперь будто воды в рот набрал. Девушку немного раздражало это молчание, в ней еще не рассосалась постконцертная эйфория, хотелось веселиться, общаться, дурачиться. Один лишь раз он спросил, куда она вообще направляется, и предложил срезать путь.

Снопу едкого электрического света, рожденному низко висящим фонарем, было тесно в квадрате двора. Карнизы и углы заявили о себе резкими тенями. «Будто нежилой», — подумалось Кире. Она подняла глаза вверх, куда отступила ночь и где бледно светили несколько окон, и поняла, что на улице чувствовала себя уютнее.

Видимо, это ощущение оказалось заразным. Венька несколько раз отставал от нее, сбавляя шаг. В арке он резко обернулся.

— Ты чего? — Кира остановилась.

— Ничего, — отозвался он настолько беспечно, что ей сразу стало не по себе.

В переулке Венька еще раз обернулся, а Кира смотрела вперед и догадывалась, что они забрали в сторону, иначе их путь давно бы пересек проспект.

— Кира, — тихо и нарочито спокойно сказал Венька. — Зайди в парадную, дверь закрой и держи изнутри.

— Зачем? — парадная зияла черным провалом в стене, и девушка впервые с подозрением глянула на спутника.

— Затем, что за нами идет кто-то. Давно.

— А ты?

— А я пойду дальше. Надо узнать, кто это. Потом за тобой вернусь.

— Хорошо, — согласилась Кира. Предложение было настолько идиллическим, что спорить даже не хотелось. Девушка пошла к дому и у две-

рей оглянулась — Веня уже скрылся в подворотне. Кира, отшатнувшись от темного провала и мысленно обругав горе-проводжатога, спряталась за втиснутым во двор угловатым джипом. «Сейчас посмотрим, что ты за птица», — подумала она и пожалела, что не вызвала такси по чьей-нибудь мобиле.

Не прошло и минуты, как в арке глухо застучали шаги. Пока неясно было, с какой стороны приближается человек. «Вернулся», — грустно констатировала Кира и осторожно подняла с земли валявшуюся у стены пивную бутылку, перехватила ее за горлышко. Хоть какое-то оружие. Ее можно кинуть или разбить «розочку», как делают хулиганы.

Идущий следом был уже близко. Но его шаги не сопровождались звяканьем цепи, а у Вени к брючному ремню была присобачена толстая цепь. Не задерживаясь, человек прошел двор насквозь и скрылся в следующей подворотне.

Кира выскользнула из-за машины и с наслаждением выпрямилась — как она устала несколько минут сидеть на корточках и бояться! Теперь ей хотелось действовать, самой навести шухеру. Держась ближе к стенам и все еще сжимая в руке пустую бутылку, она продолжила прежний путь.

Выглянув из-за угла, Кира разглядела остановившегося под фонарем человека. Даже со спины она узнала высокого бритого парня с концерта — его затылок маячил перед ней весь вечер. Парень повернул голову на какой-то не слышный ей шум и рванул с места. Кира, радуясь, что надела на концерт кеды, поспешила следом, держа дистанцию.

На неузнаваемой в темноте улице, в проулке между стеной здания и сеткой баскетбольной площадки их преследователь вцепился в воротник Венки и шипел:

— Где девушка?

— Хрен тебе, а не девушка!!!

— Куда ты ее дел, чмо волосатое?

— Так я тебе и сказал!

— Что ты с ней сделал?

— Я?! Я, что ли, тащился за ней всю дорогу?

— Где она? — тут парень уловил направление взгляда Венки, обернулся, заметил Киру, получил по челюсти, двинул наугад и, кажется, попал.

— Вооружаешься? — он кивнул на бутылку в руке девушки. — Правильно делаешь. А то еще обидят дружка твоего! — Тут парни снова сцепились. Кира отошла в сторону.

— Зачем ты за нами шел?

— Подстраховать решил. Что-то мне твой проводжатый не внушает доверия, — пояснил парень, легко увернувшись от удара.

— Не хочешь же ты сказать, что с нами попрешься? — пыхтя, возмутился Венка.

— Хочу! Попрусь! И не с вами, а с ней, ты мне как-то не интересен. Ты вон, потерял ее на полдороге! — они наконец оставили попытки друг друга придушить и только злобно зыркали один на другого.

— Меня, кстати, Артемом зовут, — прохрипел бритый, обернувшись к Кире. — А тебя? А тебе далеко? Да? Это прекрасно! Да брось ты эту бутылку, ты даже не знаешь, как ею пользоваться!

— Поделись опытом, — ехидно откликнулся Веник. — Устрой мастер-класс!

— Чтобы потом от какого-нибудь волосатого полудурка получить в благодарность по затылку?

— Не все же нам от вас огребать!

— А ты поменьше языком молоти и не огребешь!

Когда за спиной Киры послышались скрежетание зубами, фыркание и неразборчивая ругань, она не стала оборачиваться, а только ускорила шаг. Это возымело ожидаемый эффект — не успела она дойти до угла дома, как с обеих сторон от нее возникли ее спутники — оба в слегка помятом виде, — и дальше они пошли вместе.

— Я одного не понимаю, как тебя-то туда занесло? — недовольно пробормотал Веник.

— Ну, прикинь, нравится! — отозвался Артем.

— «Он за железный порядок, он скромно одет... Он почти без наколок, мама, он интеллигент! От заграничной заразы он спасает Москву...» — смеясь, вдруг запела Кира.

— Слушай, ты! «На душе сто колец, два тату, да на память косуха подружки!» — Артем легонько подтолкнул Киру. — Предлагаю продолжить о том, о чем еще не спел Шевчук!

— Странно, что наша музыка нравится тем, кто принимает условия игры, — процедил сквозь зубы Веня.

— Хорошо приватизировать музыку! — откликнулся Артем. — И мне лично никто никаких условий и не предлагал. Я сам их для себя установил, понял?

— Это тебе так кажется! Просто в тебе нет протеста, и правильно — без него жить удобнее!

— Офигеть, какой протест! Вопли, шухер на голове, цепочка от унитаза на шее, косуха в жару, косуха в метель, в косухе на пляж... А суть? То, что вам на всех плевать? Так и всем на вас плевать, чего в этом удивительного-то?

— Знаешь, Тема, свобода начинается как раз с крашеного зеленкой ирокеза. Когда тебя перестанет волновать, как кто на тебя посмотрит, значит, пройдена первая стадия посвящения, — негромко заметила Кира.

— И ты туда же, — печально покачал головой Артем. — Ты все равно зависишь от чужого мнения, не в прямом, так в обратном отношении. А не будет никто на тебя обращать внимания, весь «протест» твой, который на самом деле не протест, а выпендрож, сойдет на нет!

— Все всегда идет от простого к сложному. Нестандартные мысли рождаются потом, и в нестандартно подстриженную голову они придут быстрее.

Артем смолчал. «Ну что, согласен?» — неожиданно для самой себя ткнула его локтем Кира. Он обернулся к ней, улыбнулся и подмигнул.

— Лучше сразу начать выбираться из этой Системы. Иначе она, считай, предопределила клетки, по которым мы пойдем. Пройдет лет пять-десять, Кира выйдет замуж, родит детей, ты сядешь или шею свернешь... — продолжил Веня.

— А ты сторчишься... — подхватил Артем. — Не знаю как ты, а мы еще посмотрим, кто там кому что предопределил!

— Это стандартный сценарий. Если плыть по течению и не барахтаться, вынесет туда же, куда и всех! — заметила Кира.

— Можно и барахтаться, а вынесет все равно туда же. Нет, надо начинать иначе. Все, чьей жизни можно позавидовать, просто однажды решились на что-то, выпирающее за пределы рутины. И кто-то наверху, кого уже достала посредственность, их за это вознаградил, — с жаром произнес Веня.

— А тебе так важно, чтобы позавидовали? Ни фигя себе панк! — удивился Артем.

— Да, важно! Потому что настоящей жизни обязательно будут завидовать, какой бы она ни была! И я не о бабле говорю и не о престиже, а о драйве!

— И чтобы не знать, что за следующим поворотом. И не знать, чего захочешь завтра, — подхватила Кира.

— И все-таки у нас с этим лысым немного больше возможностей, нам проще выйти за эти рамки. А ты готова? Тебе ведь тоже захочется любви, семьи, детей? Для этого придется навесить на себя дом, работу, обязательства... — бубнил Веня.

— Готова. И я, в принципе, не собираюсь от всего, что ты вначале перечислил, отказываться. И я уверена, что не скажу потом «я страдала фигней, искала обходные маневры, а эти ценности вечны». Только у нас — особенно сейчас! — в мозги под давлением нагнетается одна и та же мысль, что для женщины материнство — предназначение, смысл жизни... И финиш. А мне этого мало! Я хочу жить, наслаждаться жизнью, что-нибудь сделать выдающееся. Я не хочу быть передаточным звеном между моими родителями и моими будущими детьми. Если все будут передаточными звеньями, которые поддерживают существование едой и работой, кто же жить-то будет?!

Какое-то время они шли молча. Четкие, словно скрупулезно вычерченные карандашом, тени, опережая их, шагали по светлым фасадам. На другой стороне улицы менялись фонари, и тротуар скрылся за ночью, только белая стена какого-то дома периодически наливалась ментоловым светом вывески напротив. Слепые темные окна и заброшен-



ные кирпичные закоулки чердаков на крышах с подачи луны усугубляли ощущение одиночества.

— Знаешь, лет в семнадцать, ну три года назад, короче, я тоже казался себе уникальным. Думал, что знаю нечто такое, чего никто не знает, — негромко заметил Артем.

— А потом так разохлябился от разочарования, что пошел чурок гасить? — ехидно поинтересовался Венька.

Артем грустно посмотрел на Киру и многообещающе улыбнулся:

— Извини...

После чего двинул Веньку в ухо. Кире, показалось, что он сделал это вполсилы. По крайней мере, Венька сразу же врезал ему в ответ, и между парнями завязалась драка.

Кира отошла немного в сторону. Что ей делать, она не знала. Визгливо кричать «Прекратите!» было как-то противно, а разнять ее случайных приятелей лучше даже не пробовать. Отчего-то они разом очутились на земле, причем хлипкий Венька довольно уверенно молотил накачанного Тему.

— Ой, там, кажется такси стоят, — растерянно произнесла Кира, глянув в конец улицы.

Махач моментально прекратился, причем Артем киношно замер, держа на замахе сжатый кулак. Ребята устали в направлении ее взгляда. Тема медленно выдохнул:

— А ты ехать хотела, да?

Кира машинально кивнула. Конечно, после концерта она хотела отправиться домой, и Веника прихватила, чтобы он проводил ее совсем недалеко. Только теперь Кира отчаянно пожалела о том, что машина нашла так быстро.

— Хотела... только, — Кира на минуту задумалась, — только у меня кажется денег нет.

— И у меня нет! — довольно откликнулся Венька, поднимаясь, и выразительно уставился на их бритого попутчика.

Артем похлопал себя по карманам джинсов, запустил руки в карманы куртки и довольно долго в них копался, безразлично глядя поверх голов и выжидающих взглядов. Он попытался изобразить разочарование, но у него получился обратный эффект.

— Что ж, Кириуш, придется тебе терпеть нас до самого утра! Так, а с тобой я еще не договорил!.. — хмыкнул Артем.

— Вообще, можно и у дома заплатить... — неуверенно пробормотала Кира.

— Нет! В смысле, мы все отложим, да ведь, Метелка? — Артем хлопнул своего панковатого спутника по плечу, так, что тот покачнулся.

— Веник, — недовольно поправил тот. — Ладно, Лысый, замнем на время ради дамы.

Они вышли на набережную. Тусклые огни берега не падали на воду и в ее безнадежной черноте одиноко плавала луна. От ночного магазина на углу доносились пьяные выкрики.

— Фонтанка, — заметила Кира. — Кто-нибудь помогите мне.

Она полезла на парапет. Венька попытался поддержать ее под руку, но Артем просто подхватил под мышки и поставил на широкий барьер. Справившись с секундным головокружением, Кира выпрямилась в рост и, держась за руку Темы, осторожно пошла над водой.

— Какое доверие! — съязвил Веня.

— Мне думается, Артем едва ли имеет в планах заставить меня искупаться. Впрочем, если гарантируешь, что удержишь, иди ты рядом.

— Это зря! — заверили оба парня, покорно меняясь местами.

— Может, я не права. Может, я ни фига не разбираюсь в людях, и тебя стоит опасаться? — Кира на секунду остановилась и обернулась к Артему.

— Тебе — нет.

— У тебя темное прошлое? — поинтересовалась Кира у Артема.

— Судя по его виду, у него и настоящее не очень-то светлое! Мне интересно, вот если бы к тебе так относились? Если бы ты куда-нибудь приехал, а тебя там прессанули десять местных гопников? — спросил Венька попутчика.

— А на хрен мне ехать туда, где меня могут прессануть десять местных гопников? А там, куда я езжу, я не цепляюсь к прохожим, не пляшу вприсядку на центральных площадях и не смотрю на всех орлиным взглядом.

— Не обобщай. Многие из них ведут себя как нормальные люди, и хотят, чтобы к ним тоже отнеслись нормально, по-человечески, — воскликнул Веня.

— Вопрос в том, готовы ли они к тебе отнестись нормально, по-человечески? Знаешь, в чем беда цивилизованного мира? Да в том, что населяющие его люди думают, что все остальные столь же цивилизованы. А это не так. Ты к ним с общечеловеческими ценностями, а они к тебе со своими порядками, которые они задолбались соблюдать на своей родине, потому что там за это наказывают, а здесь все можно, потому что у нас, ах, гуманизм ко всем гуманоидам! — жарко произнес Артем.

— А сам не боишься опуститься при этом ниже их уровня? — спросила Кира.

— А есть время выбирать методы?

— Время включить мозг всегда есть! — отреагировал Веня.

— Я его, в отличие от некоторых, никогда и не выключаю! Ты просто пытаешься своим фуфлыжным протестом подменить реальный. А реальный протест у нас в России вообще редко существует на открытом воздухе, — ответил Артем конкуренту.

— Мне по хрену на политику!

- О'кей, тогда на что тебе не по хрену?
- Моя жизнь! Хочу, чтобы в нее никто не вмешивался.
- Ты ненавидишь общество, бла-бла-бла, мы это уже поняли!
- Я не ненавижу общество. Я не хочу обитать в том болоте, которое оно для себя создает. У меня одного возникает ощущение медленно затягивающейся петли на шее? Вроде меня лично ничего не затрагивает, но как будто стены сжимаются и те люди, что вместе со мной внутри отступают в центр круга, и от этого все меньше воздуха.
- Ну, опасения оправданы — когда некуда будет двигаться, первыми задавят тебя, меня, Киру, таких, как мы. — заметил Артем. — И чтобы этого избежать, останется лишь смешаться с толпой.
- Люди, которые чрезмерно озабочены всеобщей нравственностью, как правило, не отягощены собственной, — задумчиво проговорила Кира.
- А вот это уже общество глубоко не колышет, — отозвался Веня. — Потому что очень многим не нужен праведник — на него сложно равняться. Им нужна жертва, которую можно пинать и выглядеть охрененно порядочными.
- А ты считаешь себя лучше других? — неожиданно спросил Артем, после чего перевел взгляд на девушку. — А ты, Кир? Вот честно?
- Скажем так: я считаю себя лучше многих. И не хуже остальных, — тут же ответила Кира. — А ведь ты все-таки признал, что мы в одной лодке!
- Артем изобразил скорбь на лице и развел руками.
- А я просто знаю, как мне жить, — отрезал Веня. — И лучше меня этого никто не знает.
- Ага. Только с общих рельсов ты все равно не соскочишь. Разве что под откос! — хмыкнул Тема.
- Да ну тебя! После разговора с тобой хочется пойти и повеситься!
- А ты его не слушай, — предложила Веньке Кира. — Откуда ты знаешь, может, у него именно такая цель — чтобы ты пошел и повесился?
- Хм!
- Отнюдь, — с задумчивым видом бросил Артем.
- Ну, вот, мы и пришли, — неожиданно воскликнула девушка. — Здесь я живу.
- Краской воняет, — заметил Веник, первым поднявшись на крыльцо.
- А, это парадную красили и бросили тут банки, — Кира остановилась и замолчала. Ее спутники опустили глаза.
- Вообще, так здорово вся дорога прошла... и с ней полночи. Спасибо, что проводили.
- Пока, — одновременно выдохнули парни. Венька подмигнул Кире, Артем попрощался коротким кивком, и они оба вышли на улицу.
- Кира медленно поднималась, уже никуда не торопясь. Подступившая усталость расслабляла мышцы, но еще оставалась терпимой.

А вот грусть была мучительной и острой. Кира всегда привязывалась к случайным знакомым. Впрочем, Веня и Артем не показались ей случайными. Она даже телефона ни у кого из них не спросила, постеснялась, побоялась. Девушка поднялась уже на третий пролет, а снизу все еще слышался скрип заржавленного доводчика. Сейчас лязгнет металлическая дверь — и всё. Конец рок-н-ролла и иже с ним.

Скрип действительно резко оборвался, но хлопка двери она не услышала. Она поднялась еще на несколько ступенек, но тут снизу раздался придушенный оклик:

— Кира!

Не веря себе, девушка перегнулась через перила и глянула в пролет. Задрав голову, с площадки первого этажа ей помахал Тема.

Она подождала его у окна. Он поднялся к ней, очень довольный:

— Не знаю, как у вас, у панков, а у нас принято девушку до квартиры провожать — ночь все-таки. Какой этаж?

— Последний, пятый.

— Странный вечер, — заметила Кира. — Столько переговорили... Вообще мы все очень мало знаем друг о друге. Слишком любим перебирать собственные мысли...

— Необычное ощущение, что кто-то еще бывает прав! — усмехнулся Тема — Хотя жизнь у каждого своя, и мир у каждого свой, и перестраивать его заново влом.

— Но приходится все равно.

— Приходится... раньше никогда так не думал. Но этим лучше не увлекаться, а то в один прекрасный день проснешся не у себя и не в себе. Веник прав — лепить жизни по одному лекалу нет смысла.

— Вот мы и пришли.

— Ну, тогда пока! — улыбнулся Артем и шагнул к лестнице.

— Пока...

Он притормозил и снова развернулся к Кире.

— Всю эту ночь хотел тебе сказать — ты красивая, — прошептал Артем и даже зажмурился на секунду. Кира скромно улыбнулась. Вдруг Тема оказался совсем близко к девушке и обнял ее, крепко прижав к себе. Кира заметила, что ноги ее уже не достают до пола. Артем осторожно поцеловал ее — сначала в мочку уха, потом в щеку и коротко — в губы. После чего отпустил и быстро стал спускаться вниз по лестнице

\* \* \*

В квартире было тихо — должно быть, родители уже ушли на работу. А она, похоже, безнадежно опоздала на первую пару. С оханьем Кира оттолкнулась от подушки и села, спустив с дивана худые ноги, потрясла головой, отчего и так взлохмаченные волосы растрепались еще больше.

Она заметила — после бурного веселья отходняком непременно приходит эта очищающая тишина бессолнечного скромного утра. Босиком

по холодному полу Кира подошла к окну. На дворе было сыро. Дождь будто бы еще не прошел, но прозрачные облака, застилавшие все небо, были чуть темнее обычного. День за окном манил свежестью. Он уже не обещал лета, но и не предвещал осени, а был каким-то промежуточным.

Она быстро оделась, нарядилась, что-то съела, запихнула в сумку две тетрадки и вышла из квартиры. Сбегая по лестнице, Кира сунула руку в карман куртки — проверить проездной, — но кроме карточки нащупала что-то еще. Вытащила — это была сплюснутая крышка от сигаретной пачки, на которой был нацарапан одиннадцатизначный номер. Кира засмеялась, потом усмехнулась. Тема все-таки оказался хитрее.

Только выйдя на крыльцо, девушка поняла, что ошиблась. Веня тоже не терял времени — в полдвора перед ступеньками ее парадной белилами был размашисто написан еще один телефон.

*2012 г.*

## Наши авторы

### *Евгений Анташкевич*

Родился в 1952 году в г. Урюпинске. Имеет высшее образование по специальности юрист-правовед со знанием китайского языка. Полковник запаса. Автор сборника рассказов, исторических документальных романов. Член Союза писателей России.

### *Александр Бабушкин*

Родился в 1964 году. Живет в поселке Токсово. Преподавал историю экономических учений, философию, работал грузчиком, охранником, творческим директором. В настоящее время — литератор. Печатался в зарубежных журналах.

### *Владимир Беляев*

Родился в 1983 году в Ленинграде. Вошел в шорт-лист премии «Дебют» 2012 года в номинации «Поэзия» с подборкой стихотворений. Член Союза писателей Санкт-Петербурга.

### *Юлия Боднарюк*

Родилась в 1986 году в городе Кола Мурманской области. Окончила Мурманский государственный технический университет, в течение четырех лет работала журналистом. Живет в Мурманске.

### *Михаил Дадашев*

Родился в 1936 году в Дербенте (Дагестан). Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Член Союза писателей России с 1980 г. Автор 12 книг прозы. Лауреат I премии республики Дагестан за лучшее произведение драматургии.

### *Тарас Дрозд*

Родился 28 ноября 1953 года в поселке Усть-Омчуг Магаданской области. Прозаик. Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

### *Михаил Зарубин*

Родился 9 апреля 1946 года в деревне Кеуль Нижнеилимского района Иркутской обл. Прозаик, публицист. По служебной лестнице прошел путь от рабочего до управляющего крупнейшего ленинградского строительного треста. Член Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

### *Виктор Кирюшин*

Родился в 1953 году в Брянске. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Публиковался во многих газетах и журналах. Лауреат международных и всероссийских литературных премий. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Живет в Москве.

### *Валентин Курбатов*

Родился 29 сентября 1939 года в городе Салавани Ульяновской области. Прозаик, критик, литературовед — живет в Пскове и давно ведет книгу-дневник «Подорожник»: автографы и рисунки известных людей, друзей-писателей; многих уже нет в живых, но собственноручные строки как памятная запись остаются навечно.

### *Юрий Мудров*

Родился в 1952 году в Пскове. Искусствовед, президент Санкт-Петербургского общественного Фонда содействия развитию культуры и искусства, член Международного Совета музеев (ИКОМ), член Президиума Правления и Председатель Секции искусствоведения и критики СПб Союза художников.

***Анатолий Пантелеев***

Родился в 1949 году. Начальник Информационно-архивного отдела филологического факультета СПбГУ, действительный член Петровской академии наук и искусств.

***Марина Переяслова***

Родилась 16 сентября 1954 года в городе Новокуйбышевск Самарской области. Окончила факультет иностранных языков Самарского педагогического университета. Лауреат Международной литературной премии им. С. В. Михалкова «Облака». Дипломант премии «Хрустальная роза Виктора Розова».

***Алексей Порвин***

Родился в 1982 году. Стихи публиковались в журналах «Волга», «Нева», «Дружба народов» и др. Живет в Санкт-Петербурге.

***Валентин Распутин***

Родился 15 марта 1937 года в селе Аталанка Усть-Удинского района Иркутской области. Выдающийся русский писатель. Живет и работает в Иркутске и Москве.

***Геннадий Станкевич (Кутузов)***

Родился в 1959 году в Риге. С 1965 г. живет в Санкт-Петербурге. Посещал литобъединения поэта Глеба Семенова и прозаика Евгения Кутузова. Первая публикация в журнале «Аврора» в 1986 году. Печатался в сборниках «Молодой Ленинград», «Точка опоры».

***Дмитрий Трунченков***

Родился в 1981 году в Ленинграде. Окончил филфак СПбГУ. Как литературный критик печатался в журналах: «Прочтение», «Город-812» и других.

***Виктор Федоров-Вишняков***

Родился 19 октября 1941 г. в деревне Терино Вологодской области. Закончил театральную студию при ТЮЗе и был зачислен в труппу театра, где проработал 33 года и сыграл множество ролей. С 2003 г. занимается поэтическим творчеством и авторской песней. Заслуженный артист России.

***Владимир Шемшученко***

Родился в 1956 году в Караганде, получил образование в Киевском политехническом, Норильском индустриальном и Московском литературном институтах, лауреат международных и всероссийских премий поэзии, член СП России, живет в г. Всеволожске Ленинградской области.

***Игорь Шнуренко***

Родился в 1962 году в Великих Луках. С 15 лет живет в Санкт-Петербурге. Работал в газете «Деловой Петербург», журнале «Собака.ru» и др. изданиях.

***Елена Яблонская***

Родилась в Ялте в 1959 году. Окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького в 2012 году (семинар прозы А. В. Воронцова). Член Союза писателей России.



## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор: Валерий НОВИЧКОВ

Илья БОЯШОВ (отв. секретарь), Глеб ГОРБОВСКИЙ,  
Кира ГРОЗНАЯ (рубрика "Дебют"), Валерий ДЕСЯТОВ (редактор сайта),  
Герман ИОНИН, Анатолий КОНСТАНТИНОВ, Валентин КУРБАТОВ,  
Вадим ЛАПУНОВ, Татьяна ЛЕСТЕВА, Анатолий ПАНТЕЛЕЕВ,  
Виталий ПОЗНИН (отдел прозы), Дмитрий ПОЛЯКОВ (КАТИН),  
Игорь ПОЛЯКОВ (зам. главного редактора), Юрий СОЛОВЬЕВ,  
Лидия СЫЧЕВА, Алексей ФИЛИМОНОВ (отдел поэзии),  
Владислав ЧЕРНУШЕНКО

Компьютерная верстка: Сергей ПРОТАС  
Дизайн обложки: Андрей КОРОЛЬЧУК  
Корректор: Елена ДРУЖИНИНА

Адрес для писем и рукописей:  
197110, Санкт-Петербург, Большая Разночинная ул., д. 17-А,  
редакция Альманаха «Журнал "АВРОРА"»

тел.: (812) 757-25-66  
E-mail: [aurora\\_1969@mail.ru](mailto:aurora_1969@mail.ru)  
[www.holsto-mer.ru](http://www.holsto-mer.ru)

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.  
При перепечатке материалов ссылка на журнал «Аврора» обязательна.  
Авторы несут ответственность за достоверность своих материалов.

Учредитель: Санкт-Петербургская общественная организация культуры «Аврора».  
Альманах «Журнал "АВРОРА"»

Зарегистрирован 03.07.98 Северо-Западным региональным управлением  
государственного комитета Российской Федерации по печати.

Регистрационный № ПЗ 165

Адрес редакции, издателя и учредителя: 197110, Санкт-Петербург,  
Большая Разночинная ул., д. 17-А, домофон 17.

Подписано в печать 12.02.2014. Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная.  
Тираж 3000 экз. Печать офсетная. Усл. печ. л. 20. Заказ № 20141.

Отпечатано в типографии ГАОУ СПО «Санкт-Петербургский морской технический колледж»  
198260, г. Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения, д. 189

Цена свободная